

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"

МОСКВА-1995

СОДЕРЖАНИЕ

В В Виноградов Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования	5
Ю Д Апресян (Москва) Образ человека по данным языка попытка системного описания	37
*Т М Николаева (Москва) Теория функциональной грамматики как представление языковой данности (на материале четырех выпусков кн Теория функциональной грамматики)	68
Б А Успенский (Москва) История русского литературного языка как межславянская дисциплина	80
В М Алпатов (Москва) Литературный язык в России и Японии (Опыт сопоставительного анализа)	93
И Г Добродомов (Москва) Проблема источников для русской исторической лексикологии нового времени	117

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Я Г Тестелец (Москва) И Ш Козинский и лингвистическая типология 1970 х–1990 х годов	126
В П Недялков (Санкт-Петербург), В М Алпатов (Москва) Исаак Шаевич Козинский	141
И Ш Козинский Три заметки по типологии	144

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ -

Рецензии

О Н Селиверстова, Б П Нарумов (Москва) <i>B Pottier Semantique generale Presses Universitaires de France</i>	154
К Г Красухин (Москва) <i>A Erhart Das indoeuropaische Verbalssystem</i>	157
И М Богуславский (Москва) <i>Анна А Зализняк Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния</i>	164
Е И Коряковцева (Москва) <i>H Jelitte Die russischen Nomina abstracta des 18 und beginnenden 19 Jahrhunderts</i>	169

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	173
----------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ю Д Апресян, А В Бондарко, В Г Гак, В З Демьянков, В М Живов,
А Ф Журавлев, Е А Земская, Ю Н Караулов А Е Кибрик
Г А Климов (отв секретарь), Т М Николаева, Ю В Откупщиков
В В Петров В М Солнцев Н И Толстой (главный редактор),
О Н Трубачев (зам главного редактора), А М Шербак

Адрес редакции 121019 Москва, Г–19, ул Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала 'Вопросы языкознания

Тел 201-74-42

Зав редакцией Н В Ганнус



ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ

12 января 1995 года – столетие со дня рождения создателя журнала "Вопросы языкознания" и его главного редактора академика Виктора Владимировича Виноградова. В течение восемнадцати лет до самой кончины в 1969 году Виктор Владимирович Виноградов бессменно объединял вокруг "Вопросов языкознания" авторитетных, признанных и молодых, начинающих языковедов нашей страны и зарубежья. Тем самым он ввел "Вопросы языкознания" в круг известных мировых лингвистических периодических изданий. Имя Виктора Владимировича Виноградова стоит в ряду крупнейших русистов XX века наряду с именами А.А. Шахматова, А.И. Соболевского, Н.Н. Дурново, Н.С. Трубецкого, Л.В. Щербы. Русистика XX века благодаря трудам Виктора Владимировича Виноградова приобрела особую, "виноградовскую", тональность прежде всего в сферах истории, теории литературного языка, языка писателей, стилистики и лингвистической культурологии. Настоящий номер "Вопросов языкознания" посвящается светлой памяти его основателя.

В.В. ВИНОГРАДОВ

СЛОВО И ЗНАЧЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

I

Строй языка определяется взаимодействием его грамматики и лексики. И в той и другой выступают как органический элемент языковой структуры ее фонетические свойства и фонологические качества. Между грамматикой и лексикой тесная связь и соотношение. Так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе. Однако лексикология еще не может представить таких глубоких и разносторонних обобщений и выводов из своих исследований, как наука о грамматическом строе разных языковых систем и типов. Это несоответствие отчасти объясняется тем, что история лексического строя многих языков почти вовсе не изучена. Так, можно решительно утверждать, что историческая лексикология русского языка вообще, а литературного, в частности, еще только в зародыше. Вместе с тем для построения исторической лексикологии любого языка, в том числе и русского, необходимо установить более точные и определенные методы исторического иссле-

* Публикуемая статья представляет собой доклад, прочитанный В.В. Виноградовым на Научной сессии Ленинградского государственного университета 16–30 ноября 1945 года. Тезисы доклада были опубликованы в том же 1945 году (см.: "Тезисы докладов по секции филологических наук" Л., С. 56–58), а затем в книге: В.В. Виноградов. "Избранные труды: лексикология и лексикография" (М., 1977, с. 39). Полный текст доклада считался утерянным. Оригинал – рукопись (132 стр.) и машинопись с авторской правкой (74 стр.; страницы 6, 7, 41 и 43 отсутствуют) – хранился в архиве В.В. Виноградова. Судя по исправлениям в тексте и по многочисленным добавлениям на листках разного формата, автор предполагал продолжить работу над текстом как над отдельной статьей. В 1968 году небольшой фрагмент доклада – очерк о семантической судьбе слова *полоумный* – В.В. Виноградов опубликовал в журнале "Вопросы языкознания" в составе статьи: "Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры" (ВЯ, 1968, № 1, с. 3–22; см. также В.В. Виноградов. "Избранные труды: лексикология и лексикография", с. 281–283 и В.В. Виноградов. История слов. М., 1994, с. 956–958).

Статья с тем же названием – "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования", – подготовленная к печати по машинописному тексту, выверенному по рукописи, опубликована в названной выше книге: В.В. Виноградов. История слов (с. 5–38)**. В текст этой статьи были внесены добавления, сделанные автором позже на отдельных листках и с очевидностью относящиеся к соответствующим частям рукописи.

В предлагаемой читателям статье текст доклада представлен без последующих добавлений как документ своего времени. При подготовке к печати мы сочли возможным лишь исключить из текста очерк о семантической судьбе слова *полоумный*, который неоднократно выходил в свет. В настоящей публикации сохранены также ссылки на труды Н.Я. Марра и других последователей "нового учения о языке", опущенные в книге "История слов".

В настоящей публикации сохраняется система отсылок (исключение представляет сквозная, а не по-страничная, их нумерация в сносках), шрифтовые выделения, библиографический аппарат, а также вообще все то оформление, которое принято в книге: В.В. Виноградов. История слов. Там же читатель найдет список условных сокращений, принятых в тексте статьи при цитации литературных и других источников.

** © В.М. Мальцева, 1994 г.

© Составление и текстологическая обработка

Институт русского языка РАН: Н.Ю. Шведова, В.А. Плотникова.

дования лексической системы и слова как элемента этой системы. Попытки систематизировать и свести основные семантические процессы в истории словаря к некоторым общим категориям и закономерностям до сих пор не увенчались успехом. Поэтому в современной западноевропейской лингвистике иногда раздаются скептические уверения, что при настоящем состоянии науки о языке строго научная классификация семантических изменений слова даже невозможна¹. Между тем мышление находит свое выражение и отражение в словаре так же, как и во всем строе языка. Знание идеологии социальной среды на той или иной ступени общественного развития само по себе еще не ведет прямым путем к пониманию семантической системы языка этой среды. Идеология и язык не являются зеркальными отражениями друг друга. Известно, что в языке, наряду с отражением живых идей современности, громадную роль играют унаследованные от прошлого – иногда очень далекого – технические средства выражения. К тому же о мировоззрении давних или древних эпох обычно у историков культуры складывается или односторонне искаженное, или чересчур абстрактное представление. Мир значений, запечатленный в формах языка, имеет в разных системах свои законы связей, свои принципы построения. Наконец, для изучения истории даже отдельных слов необходимо воспроизвести полностью контексты употребления этих слов в разные периоды истории языка, а также разные виды их связей и соотношений с другими лексическими рядами. А это – цель почти неосуществимая. Вот почему Б.М. Энгельгардт остроумно отнес изучение истории отдельных слов к "заумному" плану исследования. «Изучение языка в плане "заумности" – писал он – давно уже практикуется в области лингвистики. Но там это обстоятельство не только не подчеркивается с нарочитой резкостью, а скорее скромно замалчивается. В самом деле: хотя почти во всякой работе по лингвистике общего характера мы встречаем категорические заявления о том, что слово должно изучаться непременно в его соотношении к целой фразе, фраза в связи с контекстом и т.д., что, говоря иначе, каждый отдельный элемент сложного словообразования должен рассматриваться в аспекте целого и, прежде всего, в аспекте данного смыслового единства, однако на практике принцип этот далеко не выдерживается, и элементы словесного ряда, как единой структуры, подвергаются анализу именно в своей отдельности и особенности. Ясно, что при этом момент их соотношенности к смысловому единству "содержания" отпадает, и исследование неизбежно переводится в заумный план»². Но, понятно, иллюзия охвата некоторого идеологического единства может сохраняться и при таком методе изучения истории изолированных слов.

Слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений. Но соотношение между ними – сложное. В истории материальной культуры функции и связи вещей меняются в зависимости от контекста культуры, от ее стиля. Формы мировоззрений также эволюционируют, и едва ли воспроизведение идеологических систем прошлого возможно без помощи лингвистического анализа. Язык – это не только средство выражения мысли, но и форма ее становления, орган образования мысли (как говорил Гумбольдт) – и вместе с тем сама сформировавшаяся мысль. Историческое изучение словаря невозможно без знания истории материальной и духовной культуры, но оно не должно состоять в механическом сцеплении фактов быта и мировоззрения с формами языка. Конечно, для понимания строя лексической

¹ См. статью Ф. Оберпфальцера о классификации семасиологических изменений в *Mvñµα Sborník vydaný na paměť čtyřicetiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově. 1885–1925*. Praha, 1925 (с. 339–352). Оберпфальцер предлагает разделить всю совокупность семантических изменений на четыре основных группы: 1) перенесение значений в самом широком смысле слова (метафоры, эвфемизмы, метонимии, гиперболы); 2) семантические сдвиги под влиянием причин конструктивного – языкового характера (влияние форм речи, строения предложений); 3) социальные факторы в жизни слов (переход слова из одной социальной группы в другую, заимствование значений); 4) обусловленность семантических явлений материальной и духовной культурой. Уже непосредственно очевидно, что эта классификация искусственна.

² Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литературы. 1927, С. 58–59.

системы, свойственной тому или иному периоду в развитии языка, необходимо знание типов мышления, свойственных разным эпохам, необходимо отчетливое представление исторических законов связи понятий и значений. Но тут получается своеобразный заколдованный круг. Открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка, и между прочим, истории слов и их значений. История же языка, в свою очередь, как научная дисциплина, немыслима без общей базы истории материальной и духовной культуры и прежде всего без знания истории общественной мысли. В настоящее время частые провалы и блуждания на этом пути неизбежны. Достаточно сослаться на отсутствие разработанной семантической истории таких слов как *личность, действительность, правда, право, человек, душа, общество, значение, смысл, жизнь, чувство, мысль, причина*. Правда, выяснению причин и условий семантического развития лексических систем помогает знание общих этапов и направлений истории языка в целом. История значений слова может быть воспроизведена лишь на широком фоне истории семантических систем данного языка. Еще в 90-х годах XIX в. М.М. Покровский отстаивал этот тезис: "Отдельные явления языка вполне понятны нам лишь тогда, когда мы будем изучать их не только в связи с теми специальными категориями, которым они принадлежат, но, по возможности, и в связи с общим развитием"³. Определение общих тенденций языкового развития в ту или иную эпоху содействует хронологическому приурочению отдельных семантических процессов в области лексики. Точно так же А. Мейе уже давно, еще в своей вступительной лекции к курсу сравнительно-исторической грамматики, заявил: "Языковые изменения могут быть вполне поняты лишь тогда, когда их рассматривают во всей совокупности развивающихся явлений, часть которых они составляют. Одно и то же изменение получает совершенно различный характер, смотря по процессу, который оно производит. Никогда нельзя пытаться объяснить известную частность без рассмотрения общей системы языка, в котором она является"⁴. О трудностях определить значение слова в далекую от нас эпоху и истолковать его употребление даже в известном кругу примеров писали многие лингвисты. Л.В. Щерба заметил: "Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала... Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией. При этом для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может оказаться в той или другой степени ценным для разных выводов. И далее, в живых языках каждый, произвольно множа случаи употребления данного слова, может проверить выводы составителя словаря относительно значения данного слова; в мертвых языках для проверки нужно знать все наличные случаи употребления"⁵. Но и этого мало: значения слова и круг его употребления обусловлены лексической системой языка.

Слова на той или иной стадии развития образуют внутренне объединенную систему морфологических и семантическую рядов в их сложных соотношениях и пересечениях. Отдельные слова как смысловые структуры существуют лишь в контексте этих систем, в их пределах они обнаруживают по-разному свои смысловые возможности. Все слова в составе лексической системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они соотношены друг с другом и непосредственно как члены одного и того же семантического ряда, и опосредованно как звенья параллельных или соприкасающихся семантических рядов. В сущности полное раскрытие смысловой структуры слова, т.е. не только его вещественного отношения, но и целостного "пучка" его значений, всех его грамматических форм и функций, его экспрессивных и стилистических оттенков, строя

³ Покровский М.М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. М., 1899. С. 19.

⁴ Meillet A. L'état actuel des études de linguistique générale. Leçon d'ouverture de cours de grammaire comparée au Collège de France. Lue le mardi 13 Février. 1906, Paris. P. 19.

⁵ Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 286.

его "внутренних" форм возможно лишь на фоне всей лексической системы языка и в связи с ней. Лексические системы, например, русского языка в разные периоды его истории нам неизвестны. Они не исследованы и не реконструированы. Общие закономерности их смены, исторические процессы, управляющие изменениями русской литературной семантики, еще не открыты. Несомненно, что только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся систем языка может быть воссоздана вся картина изменений значений и оттенков слова. В обычном же представлении история слова охватывает лишь небольшие отрезки, клочки общей истории языка. Она касается только единичного языкового факта и смежных явлений. Чаще всего история слова изображается как изолированный процесс, совсем оторванный от общих закономерностей исторического развития данного языка. Итак, противоречие между разнообразием живых смысловых связей и отношений слова в конкретных системах языка разных периодов его истории и между абстрактной прямолинейностью реконструируемого семантического движения слова – вот первая антиномия историко-лингвистического исследования значений слова.

Для истории слов приобретает громадную важность принципиальный вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или – что то же – вопрос о тождестве слова при многообразии его смысловых превращений. Когда изучается семантическая система языка в ее современном состоянии, то внутреннее содержание, смысловой объем слова, его строй и границы выступают на фоне всей совокупности смысловых соотношений. Слово понимается как элемент организованного целого, как член смыслового единства языка в целом. Не то – в истории языка. Слова двигаются и меняются вместе со всем языком. Изменения в общей системе отражаются на употреблении и значении отдельных слов. Между тем исследователю истории слов и значений приходится извлекать слова из исторического контекста и рассматривать их в изоляции от окружающей их семантической сферы. Слово как бы протискивается сквозь разные языковые слои, которые оставляют на нем, на его значениях, следы своих своеобразий. При таком изучении полнота значений и оттенков слова, вся широта его употребления в разные периоды истории языка невозможны. Те смысловые нюансы, которые окрашивают слово в разнообразных стилях его употребления и в разные времена, стираются. Слово раскрывается как отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает заложенные в нем потенции семантических изменений. Правда, при этом предполагается как фон некоторая общая последовательность языковых процессов и культурно-исторических изменений в быту и идеологии, отражающихся и на значениях слова. Здесь вырастает неустраняемая опасность перенести принципы понимания, свойственные одной эпохе, на другую, далекую от нее. Путь от идеологии и быта к языку – путь не прямой, а очень извилистый.

Академик Н.Я. Марр, призывая к новому пониманию языкознания и языковых отношений, писал: "Главную роль играет здесь семантика, вообще идеология (до идеологии морфологических и собственно звуковых явлений включительно) и строгие законы ее развития, а не формальные фонетические и морфологические показания; последние образуют техническую сторону. Сейчас, после преодоления строгой закономерности содержания в языке, значений слов и идеологии вообще, должна быть в корне переработана и преобразована и технологическая сторона, фонетика"⁶.

При неограниченной диктатуре семантики пучки значений, соответствующих той или иной среде мышления, являются как бы магнитным полем, к которому тянутся впоследствии далеко разошедшиеся слова. Но нетрудно заметить, что в учении Марра разнообразные пучки значений слишком свободно и произвольно вдвигаются в серию стремительно сближенных из разных языков фонетических комплексов. И это понятно.

Палеонтологическое и даже вообще историко-этимологическое изучение слова не должно быть отождествляемо и смешиваемо с изучением историко-лексикологическим.

⁶ Марр Н.Я. Безличные, недостаточные, существительные и вспомогательные глаголы // Марр Н.Я. Избранные работы. Т. 2. 1936. С. 309.

Вынесенное за пределы языковой системы, слово становится исторической абстракцией, которая объединяет все ответвившиеся от нее конкретные исторические факты. Оно, в сущности, перестает быть соотносительной единицей лексической системы, а становится отвлеченным морфолого-семантическим элементом, "корнем" многочисленной словесной поросли или сцеплением корней. Если бы можно было – без нарушения исторического правдоподобия – выдвинуть гипотезу, что все слова всех человеческих языков произошли от четырех, трех, двух или даже одного словоэлемента, то лексикология в глоттогоническом плане могла бы превратиться в повесть о четырех, трех, двух или даже одном слове. В последнем случае проблема эволюции языка целиком слилась бы с эволюцией этого слова и его видоизменений. Поэтому, если отрешиться от вопроса, правильно ли найдены первоэлементы и восстановлены пути их исторического движения, нельзя признать априорно невероятными такие, например, рассуждения Н.П. Гринковой о генезисе слова *пулагай*, "пулкаш" – мордовского обозначения поясного украшения в Пензенской области: «По семантике современного эрзянского языка это слово состоит из корня *pul* ('хвост') и послеслога *laksh*, означающего 'на'; таким образом "пулкаш" следует перевести 'нахвостник'. Корень *pul* является по своей звуковой структуре элементом В. Аналогию мордовскому слову находим в ряде случаев: армянское *ро-ւ* // древнелитературное армянское *pu-sk* 'хвост', русское *x-vo-st*, русское двухэлементное *хо-бо-т*, т.е. 'хвост', 'отросток', 'конец тела'. Исследованиями Н.Я. Марра выяснено, что одно время для 'руки', 'ноги', даже 'хвоста', как 'отростков', пользовались одним и тем же словом по семантическому положению: наречение части по целому (Н.Я. Марр. Происхождение терминов 'книга' и 'письмо', с. 51). По линии семантики противоположных значений, по линии расщепления значений находим в соответствии с русским *хо-бо-т* латинское *са-ри-т*, а рядом одноэлементное чувашское *пу-с* 'голова', татарское *баиш* из "*ba-и*" 'голова', армянское *ба-иш* 'грива' баскское *бир-и* 'голова'. По линий семантического пучка 'голова + гора + небо' находим в чувашском *пул-т* 'облако', 'туча', в латинском *не-бул-а*, греч. νέ-φε-λε 'облако'. Таким образом и данный термин поясного украшения приводит нас к космическим представлениям⁷.

С этимологической или палеонтологической точки зрения слово как конкретно историческая данность либо вовсе игнорируется, либо остается на заднем плане, в тени. Этимология воссоздает генезис и дальнейшее бытие или бытование морфологической, а не лексической единицы. Поэтому под знаком этимологического исследования одного языкового элемента она объединяет многие слова, иногда целое "гнездо" слов. Не то – в исторической лексикологии. Здесь отыскиваются законы изменения значений слов, как индивидуальных конкретно-исторических единств, как членов семантически замкнутых и исторически обусловленных лексических систем.

Границы этимологических толкований слова узки. "Этимология в первую голову есть объяснение слов при помощи установления их отношений с другими словами. Объяснить – значит свести к элементам уже известным, а в лингвистике *объяснить слово – значит свести его к другим словам*, ибо необходимого отношения между звуком и смыслом не существует"⁸. Правильная этимология раскрывает лишь мотивы зарождения слова и первые шаги его социального бытования. Но и в этих случаях этимологические разыскания чаще всего направлены на открытие генезиса лишь тех слов, которые лежат в основе многочисленной лексической группы производных образований. По существу своему этимология не имеет ничего общего с определением понятия и даже с определением первоначального значения слова. Этимологическое объяснение слова в большинстве случаев вовсе не является раскрытием предмета, обозначаемого словом. Понятно, что для правильного и продуктивного применения

⁷ Гринкова Н.П. Очерки по истории развития русской одежды // Советская этнография. 1934 № 1–2. С. 82–83.

⁸ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 173.

этимологического метода, кроме знания системы историко-фонетических соответствий между языками, опирающихся на сравнительно-историческую грамматику, кроме знания истории духовной и материальной культуры, лингвистической географии слов, необходимы также ясные и точные сведения по истории разных моделей и типов словообразования. Этимология, объясняя слова, редко сопровождает анализ их корневых элементов теорией их формативов, префиксов, суффиксов. В истории русского языка (а также в истории других славянских языков) эволюция словообразования почти совсем не изучена. И это обстоятельство создает большие трудности для надлежащего синтеза этимологических и историко-семантических исследований в области лексикологии.

Однородность морфологической структуры слов еще не говорит об одновременности их происхождения и об одинаковости их семантической истории. Напр., слова – *засилье*, *насилие* и *усилье* имели в русском литературном языке совсем разную судьбу. *Усилье* – старославянизм по своему происхождению. Его значение "труд, напряжение силы для осуществления, достижения чего-либо" приобрело лишь более абстрактный и логически определенный характер, но не подверглось ни коренной ломке, ни словесным разветвлениям в истории русского литературного языка. Почти то же можно сказать и об истории слова *насилие*, правда, более разнообразного по своим значениям и оттенкам. Это слово – тоже книжное (см. в Изборнике 1073 г.). Но оно рано укоренилось в государственном деловом языке (см. в Договоре Олега 911 г., в Летописи, в грамотах, в Слове о полку Игореве)⁹. Его основное значение – "притеснение, принуждение, применение силы". Понятно, что это значение в связи с изменением правовых норм обслаивалось новыми смысловыми оттенками (см., напр., такой оттенок значения, как: "беззаконное применение силы, злоупотребление властью"). Кроме того, слово *насилие* вступило в синонимическое соотношение с более поздним книжным словом *изнасилование*. Совсем иными путями двигалось слово *засилье*. Оно было чуждо русскому литературному языку XVIII и первой половины XIX в. Оно даже не регистрировалось ни словарями Академии Российской, ни словарем 1847 г. Его нет и в Толковом словаре Даля, хотя тут помещены глаголы: *засиливать* – "заставлять силою, против воли", *засилиться* – "усиливаться" и *засилить* – "поймать силком из рук, накинув силок". Только в Академическом словаре русского языка под редакцией акад. А.А. Шахматова приведено слово *засилье* обрисован круг его значений. Здесь указываются два значения (те же, что внесены затем и в Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова): 1) Сила, влияние, власть, насилие. 2) Достаток, богатство. Очевидно, что второе значение так и остается народно-областным, хотя оно иллюстрируется примером из "Благонамеренных речей" Салтыкова-Щедрина: "Да и *засилья* настоящего у мужиков нет – все в рассрочку да в годы". Основное литературное значение этого слова – "преобладающее влияние" – установилось не ранее 50–60-х годов XIX в. и также вышло из народной речи. В.И. Чернышев приводит такую фразу из подмосковных народных говоров: "Как *засилье* возьмет человек, – што ты с ним сделаешь". В этом значении слово *засилье* отмечено в языке Салтыкова-Щедрина и Мамина-Сибиряка. Контекст употребления этого слова, распространившегося в газетно-публицистических стилях конца XIX в., сильно изменился. Ср., напр., у Мамина-Сибиряка в романе "Золото": "Он зла-то не может сделать, *засилья* нет" или у Салтыкова-Щедрина в "Мелочах жизни": "Ах, кабы мне... вот хотя бы чуточку мне *засилия*... кажется бы, я...". В стилистической окраске слова *засилье* и до сих пор чувствуется ощутительный отголосок разговорной речи. Оно менее "книжно", чем *усилье* и *насилие*. На нем лежит яркая печать его устно-народного бытования.

Этимология слов не только уже, ограниченнее истории слов, но может быть и очень далека от этой последней. В самом деле, для этимологии центр тяжести – в родословной слова, в происхождении его элементов, в их генезисе. Этимология уста-

⁹ См. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., С. 330.

навливают, по выражению Ж. Вандриеса, "послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло"¹⁰. При всестороннем исследовании этих проблем вопрос об изменениях смысла и употреблении слов не является чуждым этимологии. Но этимология меньше всего способна раскрыть все разнообразие смысловых изменений, переживаемых словом в разной социальной среде и в разные эпохи. Последовательность и ход изменения значения слова, разъяснение тех реальных исторических условий, в которых протекали эти изменения, остаются по большей части за пределами этимологического исследования. Кроме того, этимологический анализ нередко возводит слово или его основные значения к истокам их жизни, предшествующим образованию данного языка. В этом случае этимология выступает далеко из рамок истории того или иного языка и истории слов, мыслимой в границах изучаемого языка. Будучи исторической наукой, этимология дает лишь материалы для истории культуры. Но она не стремится установить по данным языка закономерную последовательность всех этапов духовного или материального развития каждого народа в любой сфере быта и познания.

История слов на протяжении многих веков – может быть вовсе отделена от этимологии. Можно следить за историческими судьбами слова с любого момента его жизненного пути. Вместе с тем, этимология, в сущности, как уже сказано, имеет дело не со словом, как исторической реальностью, как членом живой языковой структуры, а с семантической фикцией, условно принимаемой за этимологический центр разных слов. Этимология изучает перемещения этого воображаемого центра во времени и пространстве и связанные с этим изменения его функций. А.А. Потебня заметил, как один из членов рода, «хотя может служить посылкою к заключению о свойствах родоначальника, никаким чудом не станет понятием об этом родоначальнике. Подобным образом и корень как отвлечение заключает в себе некоторые указания на свойства корня как настоящего слова, но не может никогда равняться этому последнему. Странно было бы утверждать, что родоначальник живет в своем потомстве, хотя бы и не "сам по себе", а в соединении с чем-то посторонним»¹¹. Верно и то, что этимология отдельного слова не представляет ценности сама по себе. Она имеет значение для лингвиста лишь как опора общего положения, общего вывода (см. об этом Ж. Вандриес. Язык с. 183–184). Этимология лишь тогда получает твердый научный фундамент, когда она вливается в историческую лексикологию или историческую семантику. В этом случае этимологическое исследование слов расширяется до пределов историко-семантического. По остроумному выражению Шухардта, такая этимология есть не что иное как сокращенная история слова (Schuchardt–Brevier, s. 105). В судьбах слов раскрываются законы изменения значений – на разных стадиях языка и мышления – со всеми социально-обусловленными отклонениями в развитии отдельных целей явлений. Но стоит лишь сузить границы этимологического изучения, и сразу же обнаружится резкий разрыв между этимологией и историей значений слова. "Такая этимология описывает факты, но это описание не методичное описание, ибо оно не производится в каком-либо определенном направлении. Взяв в качестве предмета для исследования какое-нибудь отдельное слово, этимология черпает информацию по поводу его из области то фонетики, то морфологии, то семантики и т.д. Для достижения своей цели она использует все те средства, которые в ее распоряжение представляет лингвистика, но при этом она не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить"¹².

В отличие от этимологии для истории значения слов, для исторической лексикологии представляют интерес все конструктивные элементы слова, все оболочки его смысловой структуры и все моменты семантического развития слова. Историко-лексикологическое изучение слова предполагает точное знание его семантических гра-

¹⁰ Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937. С. 167–168.

¹¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Ч. 1–2, 2-е изд. Харьков, 1888–1889. С. 16.

¹² Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 173.

ниц в разные периоды развития языка. Границы слова определяются его функциями в составе фраз и его местом в общей системе языка. Отграничение слова от других соотносительных с ним языковых структур – равносильно определению слова, как исторической или диахронической единицы. Эта единица, не распадаясь на самостоятельные, обособленные объекты, может изменяться и в своей фонетической внешности, и в разных элементах своего смыслового строя, в формах своих фразеологических связей.

Именно об этом писал Ф. де Соссюр: "Существует проблема диахронической единицы самой в себе: она сводится к тому, чтобы по поводу каждого события задавать вопрос, что за элемент непосредственно подвергся трансформирующему действию.... Только разрешение проблемы диахронической единицы даст нам возможность преодолеть внешнюю видимость явления эволюции и добраться до ее сути"¹³.

Изучение исторических изменений слова относится к области применения проекционного метода. Слово выносится за пределы индивидуальных и коллективных языковых сознаний, языковых систем. Оно рассматривается как исторически данный объективный факт. Оно проектируется во-вне, как своеобразная реальная сущность, условно изолируется от конкретных языковых сознаний и языковых систем, как некая независимая в своем бытии "вещь". Эта "вещь" представляется непрестанно изменяющейся и в то же время неизменно тождественной. В самом деле, одни и те же слова – в каждом новом моменте своего исторического бытия – оказываются иначе распределенными и иначе понимаемыми в результате разыгрывающихся в языке событий. Но естественно, что и такое "диахроническое" изучение истории слова не может не сопровождаться хотя бы смутным представлением об исторических соотношениях его с другими словами и словесными рядами в рамках разных семантических систем. Полная изоляция слова от контекста его применения, от его разнообразных связей, от смежных, пусть и небольших участков семантической системы невозможна. И все же семантические изменения слова в проекционном плане понимаются чаще всего не на фоне всех изменений языковой системы в целом и не в связи с ними, а более или менее отрешенно, в отрыве от них. В этой невольной или вынужденной изоляции отдельного лексического факта заключается временный порок большей части современной историко-лингвистических исследований, а не органическая черта "диахронической лингвистики". Напротив, подлинный историзм неразрывно связан с широким охватом контекста эпохи или языковой системы в целом на разных этапах ее развития. Поэтому и для исторической лексикологии исследование истории значений слова и исследование истории целостных лексических систем – задачи соотносительные и взаимообусловленные. Чем шире и ярче в истории отдельных слов раскрывается история цельных лексических систем и отражаются основные тенденции их последовательных изменений и смен, тем история значений этих слов конкретнее, реальнее и ближе к подлинной исторической действительности. Проекционно-историческое изучение слова должно учитывать не только события во времени, но и пространственные изменения в жизни слова, которые впрочем тоже сводятся к моментам исторического движения слова. Здесь "для оправдания сближения двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была"¹⁴. Такое изучение является социально-историческим и, вместе с тем, социально-географическим. Оно следит и за последовательными сменами и наслоениями значений слова в пределах одной социальной среды и за переходами слова из одного социального круга в другой. Семантическое превращение слова на первый взгляд представляется историческим событием – изолированным и глубоко индивидуальным. Ф. де Соссюру даже казалось во всех этих случаях, что "это лишь один случайный инцидент из числа регистрируемых историей языка"¹⁵. На самом деле история от-

¹³ Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. С. 166.

¹⁴ Там же. С. 96.

¹⁵ Там же. С. 98.

дельного слова не случайное, а последовательное историческое звено в общих сдвигах семантических систем, хотя многие изменения здесь могут быть вызваны частичными причинами и непосредственно не затрагивать всех элементов языковой системы. Но тем больше опасности при изучении истории отдельных слов – оторвать судьбу слова от живых и изменчивых конкретных процессов в истории языка и исказить ход семантических изменений. Такое искажение иногда вызывается внушениями современности, модернизацией языкового прошлого. В самом деле, насколько всеобщи, типичны, и на какое время действительны семантико-грамматические связи понятий? А ведь мы охотно готовы признать их однородными на протяжении всей истории русского языка. Так, значения действующего лица и орудия в русском языке легко совмещаются в одном слове. Напр.: *истребитель, разведчик, распределитель*. Но можно ли на этом основании объединять соответствующие значения в слове *наушник*, или же целесообразнее видеть здесь два омонима? В словаре Ушакова указано лишь одно слово *наушник* с такими значениями: 1) Часть теплой шапки, закрывающая ухо. Шапка с наушниками. // Отдельный футляр из теплой материи, надеваемый на ухо. 2) Прикладываемый к уху или надеваемый на ухо прибор, соединенный с звукопередающим аппаратом. 3) Тот, кто наушничает (разгов. презрит.).

Однако естественный языковой инстинкт противится такому объединению разных значений и обозначений разных предметов. Для современного сознания здесь два разных слова. Длинная цепь производных связанных с *наушником* в значении лица: *наушничать, наушничество, наушнический*, женск. *наушница*. *Наушник* как предмет связывается нами лишь с прилагательным *наушный*. Кроме того, для нас оба эти слова имеют совсем разные внутренние формы и различные экспрессивно-стилистические оттенки: *наушник* нащептывает на ухо кому-нибудь тайком разные доносы, сплетни, клевету; совсем иное дело *наушник*, надеваемый или натягиваемый на уши. Тут два разных морфологических и лексико-семантических омонима. Но всегда ли соответствующие сферы значений были резко разграничены? Слово *наушник*, хотя и не отмечено у Срезневского, но едва ли возникло позднее XVI–XVII вв. См. в "Истории о Петре I" Б.И. Куракина: "Филат Шанской... сей пьяный человек, и мужик пронырливый, употреблен был за *ушника*, и при обедах, будто в шутках или пьянстве, на всех министров рассказывал явно, что кто делает и кого обидят, и как крадут" (Русск. старина, 1890, октябрь, с. 255). С этим же звуковым комплексом *наушник* уже в XVI–XVII вв. могли сочетаться столь различные значения как: 1) Тайный клеветник, наговорщик. 2) Лопасть у шапки или шлема, покрывающая ухо. 3) Кусок плотной (шерстяной) ткани, для предохранения ушей от действия сильных морозов¹⁶. Были ли эти значения решительно дифференцированы и относились ли они и тогда к двум разным омонимам? Ведь смысловой объем слова прежде мог быть шире, и соотношение "внутренних форм" разных значений иначе направлено. Логические границы отдельных значений могли быть менее четкими и определенными. Во всяком случае без исторического исследования русской семантической системы в целом ответ на этот вопрос не может считаться предрежденным. Таким образом, изучение истории значений русских слов должно опираться на общую историю русского языка, на историю его строя и должно быть органически связано с изучением истории его лексических систем.

II

Для исторической лексикологии, для истории значений слов и словесных рядов, для истории лексических систем имеет громадную важность вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или иначе: вопрос о пределах тождества слова при многообразии его фонетико-морфологических и предметно-смысловых превращений. Единство слова не исключает различия

¹⁶ Словарь церк.-слав. и рус. яз., 2-е изд., СПб., 1867. Т. 2. С. 874.

его конкретных проявлений. Тождество слова не зависит ни от фонетической неизменности слова, ни от морфологического однообразия его, ни от его семантической устойчивости. Равенство слов само по себе не создает их тождества. Итак, единство смысловой структуры слова и потенциальное многообразие его исторических разновидностей – вот новая антиномия историко-лексикологического исследования. Проблему тождества, как основную для науки о языке, выдвигал еще Ф. де Соссюр. "Весь лингвистический механизм, – по его словам, – вращается исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние – только обратная сторона первых". Проблема тождества в языке "отчасти совпадает с проблемой сущностей и единиц, являясь ее осложненным и обогащенным развитием"¹⁷. В синхроническом аспекте тождество определяется его значимостью в системе целого. Языковое тождество похоже на тождество поезда, отходящего каждый день в одно и то же время, хотя фактически тут и паровоз и вагоны, и поездная бригада все может быть разное. Или оно похоже на тождество улицы, которая может быть уничтожена, застроена заново и все-таки остается все той же. Ведь "сущность, в ней заключающаяся, не чисто материальна; сущность ее основана на некоторых условиях, чуждых ее случайному материалу, как например, ее положение относительно других улиц. ... И вместе с тем эта сущность не абстрактна: ибо улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материального существования"¹⁸. Таково же и тождество слова. Понятие тождества здесь сливается с понятием значимости выражения в языковой системе. Слово как конь в шахматной игре. "В своей чистой материальности, вне своего места и прочих условий игры, он ничего для игрока не представляет, а становится он в игре элементом реальным и конкретным лишь постольку, поскольку он облечен своей значимостью и с нею неразрывно связан"¹⁹. Внутреннее обоснование значимостей сводится к обычаю и духовной деятельности данного коллектива – социальной группы, народа в целом. Вместе с тем совершенно очевидно, что самый акт смыслового превращения или осложнения слова не нарушает его тождества, так же, как ход коня не делает его новой фигурой. "Перемещение отдельной фигуры есть факт абсолютно отличный от предшествовавшего равновесия и от последующего равновесия. Произведенная перемена не относится ни к одному из двух состояний: значение имеют лишь состояния"²⁰. Так, по Соссюру, в системе языка нет места изменениям, происходящим в промежутках между одним состоянием и другим. Вот почему Соссюр считает вопрос о диахроническом тождестве слова, т.е. о тождестве слова в его истории, только "продолжением и осложнением" вопроса о синхроническом тождестве. "Диахроническое тождество двух столь различных слов, как *calidum* и *chaud* попросту означает, что переход от одного к другому произошел сквозь целый ряд синхронических тождеств в области речи без того, чтобы связь между ними когда-нибудь нарушилась в результате последовательных фонетических трансформаций"²¹. Однако в действительности совершенно невозможно, чтобы тождество было связано со звуком как таковым²² и определялось в силу действия фонетических законов. Установление тождества обусловлено целой системой исторических соответствий – фонетических, грамматических, лексико-семантических, позволяющих распознать в двух различных формах одну и ту же языковую единицу. Нельзя сказать, чтобы анализ понятия о диахроническом тождестве у де Соссюра был очень глубок. Соссюр слишком узко и схематично понимает синхроническое тождество. Его определение не диалектично. Ведь в состоянии уже заложены потенции дальнейшего движения. Языковое состояние нельзя рассматривать механически как инертное и пассивное. В синхроническом тождестве слова есть отголосок его прошлых изменений и намеки на будущее развитие. Сле-

¹⁷ Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. С. 109.

¹⁸ Там же. С. 110.

¹⁹ Там же. С. 111.

²⁰ Там же. С. 95.

²¹ Там же. С. 167.

²² Там же.

довательно, синхроническое и диахроническое – лишь разные стороны одного и того же исторического процесса. Динамика настоящего – порыв в будущее. Соотношение значений в современном употреблении слова, их иерархия, их фразеологические контексты и их экспрессивная оценка – всегда заключают в себе диахронические отложения прошлых эпох.

То же с т в о следует отличать от р а в е н с т в а. Ни первое еще не предполагает второго, ни второе первого. С одной стороны, предмет может называться тем же, каким он был прежде, хотя бы он за истекшее время подвергся значительным изменениям. Мы очень часто признаем т е м ж е с а м ы м предмет, который изменился. Это – тот же человек, которого я знал еще молодым и который теперь производит впечатление старика, это тот же листок, который летом был зелен, а теперь желт и т.п. С другой стороны, два предмета – как бы они ни были равны – все не один и тот же предмет, и мы нередко подчеркиваем их "нумерическое" различие, когда сходство или равенство достигает высокой степени – две одинаковых монеты, две одинаковых картины, два одинаковых слова и т.п.²³ Вместе с тем ясно, что тождество или тождественное – это не переживание, но лишь объект переживания. Метафизическим заблуждением является мнение, что мы фактически никогда не воспринимаем того же предмета, но считаем тождественными лишь такие вещи, которые практически неразличимы для нас после перерывов восприятия. Ведь Беркли учил даже о мгновенном уничтожении предметов при перерывах восприятия (*die Lehre von der Momentanvernichtung*). Тождество предмета – не иллюзия, а объективный исторический факт. Иначе говоря, одинаковые слова могут быть разными словами, омонимами (особенно в составе разных диалектов языка), а изменившееся слово чаще всего остается тем же единством.

Тождество слова иного характера, чем тождество лица и вещи. Тождество вещей устанавливается через тождество понятий, а тождество личности – через единство ее самополагающей деятельности. О двух вещах никогда нельзя в строгом смысле слова сказать, что они "тождественны", они лишь сходны, хотя бы даже и во всем, лишь подобны друг другу, хотя бы и по всем признакам. Поэтому тождество вещей может быть родовым, генерическим, по роду (*identitas generica*), или видовым, специфическим, по виду (*identitas specifica*) одним словом – п р и з н а к о в ы м – по тому или иному числу признаков, быть может, по бесконечному множеству признаков и даже по всем признакам, но все же не нумерическим, не числовым, не по числу (*identitas numerica*). Понятие о числовом тождестве неприложимо к вещам: вещь по отношению к другой – может быть лишь "такая же" или "не такая же", но никогда – "та же" или "не та же"; напротив, о двух личностях, в сущности, нельзя говорить, что они "сходны", а лишь "тождественны" или "нетождественны". Для личностей, как личностей, возможно или нумерическое тождество их или никакого. Правда, говорят иногда о "сходстве личностей", но это – неточное словоупотребление, так как на самом-то деле при этом разумеется не сходство личностей, а сходство тех или иных свойств их психофизических механизмов, т.е. речь идет о том, что хотя и в личности, но не личность²⁴.

Слово более живуче, более долговечно, чем вещь и личность, и более изменчиво, чем они. При восприятии тождества слова – невольно возникает сопоставление слова с жизненным организмом. Это – своеобразная анимизация слова. С анимистической точки зрения реальное тождество объекта опирается на непрерывную одушевляющую его жизненность. Как только положен предел одухотворению объектов, подрывается и основа, на которой покоится анимистическое понимание тождества. Тождественность той языковой единицы, которая подвергается разнообразным – фонетическим, грамматическим и лексико-семантическим – изменениям в процессе исторического развития, обычно устанавливается на основе современного представления о единстве структуры

²³ Ср. Gomperz H. Weltanschauungslehre. Bd 1. Methodologie. 1905.

²⁴ Флоренский П. Столп и утверждение истины. М. 1914. С. 79.

слова. Исследователь узнает то же слово в его разнообразных исторических видоизменениях так же, как он не сомневается в тождестве других исторических фактов или материальных вещей – при всем многообразии их исторических метаморфоз, напр., в тождестве обычая, поговорки, загадки и т.п. Но со словом и тут дело обстоит гораздо сложнее. Материальный субстрат слова – его внешняя форма не только изменчив, но и обманчив. Дело в том, что число звуковых комбинаций в языке – особенно в древнейшие периоды его жизни – очень ограничено. Следовательно, возможны частые совпадения в структуре или во внешнем изображении разных словесных знаков. Интонационные различия между однородными выражениями по отношению к древним стадиям языкового развития от нас скрыты. Поэтому опасность отождествления и произвольного объединения разных языковых знаков тут особенно велика. Ошибки и заблуждения этого рода встречаются на каждом шагу в этимологических исследованиях. Здесь они сказываются в утверждениях мнимых тождеств корней по признаку сходства и соответствия. Узнавание одного и того же слова, сохранение единства структуры слова вовсе не предполагает неизменности его внешнего облика. Больше того, при смешении двух близко родственных языков может произойти отождествление разных слов, если, укладываясь в систему воспринимающего языка, они совпадают фонологически и гармонируют, соответствуют друг другу семантически (ср. старосл. *нѣждьный* и русск. *нужный*; польск. *klęnczes* и русское народно-областн. из тюркск. *клямчить*, *клянчить* и др. под.). В историческом процессе внешняя форма слова может подвергаться и почти всегда подвергается изменениям. Нередко эти изменения создают впечатление резкого скачка – настолько меняется фонетический облик слова. Напр., из *подишва* образуются *почва* и *пошва* (ср. *подишва* из *подъшъва*); из *къдуня* (греч. *κιδώνιον*) – "дуля" (вид груши) и собств. имя *Дуня*; *Феврония* дает жизнь слову *Хавронья*; от *Филиппа* ответвляется *Филя*, *простофиля* (ср. *Филькина грамота*); *Кирилл* превращается в *Чурилу* и т.п. Таким образом, в истории языка как одно и то же слово, выражение рассматриваются материально разные объекты, звуковые комплексы, фонетическая структура которых неодинакова напр., *ѣщанъ* – *чан*, *политаवры* – *литавры*, *пѣпърьць* – *перец* и т.д.

При фонетической трансформации слова стержнем его целостности становится его смысловая структура. Самой крепкой и осязательной опорой единства слова в этом случае является сохранность, неизменность его номинативного применения. Тот предмет, на который указывало слово *чѣбанъ*, не изменился оттого, что вместо *чѣбанъ* он стал через столетие называться *жбан* (ср. *бѣчела* – *пчела*, диалект. *мчела* при украинском *бджола*; *пряник* из *пѣпъряникъ*; *гончар* из *гѣрньчаръ* и т.п.). Таким образом, тождество слова не разрушается его фонетической деформацией: с исторической точки зрения *очюньно* и *очень* – одно и то же слово. Кроме того, фонетические изменения, происшедшие со словом, могут не затронуть его фонологической структуры (если эти звуковые изменения не коснулись значимых элементов фонем, не нарушили общей фонетической модели языка и не передвинули морфологических рядов). С фонологической точки зрения звуковая форма слова может оставаться тождественной при резких фонетических изменениях в ее внешности, воспринимаемой слухом человека, чуждого данному языковому коллективу (напр., *перчатка* из *перѣцатка* – *пѣрст* – *жатъ-ка*). Ведь большая разница между тем, "каким чувствуется говорящим произносимый звук, как знаменательная единица, и каким выходит в исполнении, и произнесении, благодаря комбинаторным внешним обстоятельствам"²⁵. В связи с этим необходимо напомнить учение проф. Бодуэна де Куртене о факультативных фонемах (т.е. о переходных исторических стадиях от полного существования к исчезновению звука). На этих стадиях "имеется еще в душах говорящих воспоминание и представление изустного звука, но без необходимости исполнения, которое, таким образом,

²⁵ См. Улашин Г. Критико-библиографические заметки о некоторых исследованиях, посвященных польскому языку // Изв. ОРЯС АН, т. 12, кн. 1. 1907. С. 479.

является факультативным"²⁶. Проф. Н.М. Каринский в своих "Очерках языка русских крестьян" пишет: «Изменение реальной семантики слов в зависимости от контекста в одних случаях и сохранение старой семантики в других случаях ведет к дифференциации звукового оформления. Так в архаическом говоре обособилось наречие *с'о*, имеющее, между прочим, и временное значение (*jà с'о думају*) и наречие *с'отъки* от местоимения *в'ес'*; *фс'о*, *фс'ех* и пр. не только в смысловом, но и в звуковом отношении. Так образовались частицы *гр'и*, *гът* так же в определенном контексте из слова "говорит" в связи с тем, что слово это вместо акта говорения стало обозначать лишь указание на отношение приводимой речи к определенному лицу. С этой точки зрения необходимо рассматривать и историю образования некоторых союзов подчиненных предложений, напр. союз *что (штъ)*»²⁷.

Казалось бы, что значение закономерностей фонетического развития языка обеспечивает сознание тождества слова – несмотря на многообразие его звуковых изменений. Однако резкие фонетические превращения слова могут оторвать его от родственного морфологического ряда (напр., *очнуться* от *очутиться*; *кануть* от *капать*; ср. *каннуть* и т.п.), или же вызвать раздвоение слова, его расщепление на две единицы (напр., *ружье* и *оружие*). Фонетические изменения нередко ведут к резким семантическим сдвигам в смысловой структуре слова и разрывают его связи с другими словами, преобразуя весь его морфологический облик. Так, изменение *дощанъ* в *чан* было связано с отрывом слова *чан* от лексического гнезда *доска*, *дощаный*, *дощаник* и т.п., с морфологическим опрошением структуры этого слова, с превращением его в производное и с соответствующим его семантическим преобразованием. Границы тождества слова окажутся еще более широкими, если подойти к структуре слова с семантико-морфологической точки зрения. В этом аспекте слово, принадлежащее к категориям знаменательных частей речи, представляется системой соотносительных и взаимно обусловленных форм, выражающих или разные синтаксические функции этого слова, или оттенки – интеллектуальные и экспрессивные – его значений. Напр., в древнерусском книжном языке – *быти*, *есмь*, *еси*, *есть*, *суть*, *бы*, *буду*, *сущий*, *будучи* и другие беспредложные глагольные образования тех же корней были формами одного и того же слова. Система форм одного слова как в пределах категории глагола, так и в сфере именных категорий – величина исторически изменчивая. Так, в современном русском языке *есть*, *суть*, *сущий*, *быть* (с формами будущего и прошедшего времени), архаический канцелярский союз *буде* и частица *бы* являются разными словами. Единство смысловой структуры спрягаемого или склоняемого слова определяется всем строем языка на той или иной ступени его развития. Смещения и изменения в системах форм разных слов непрерывно колеблют устойчивость его семантических границ и ведут к раздвоению или даже распаду тождества слова. Понятно, что распад слова на две самостоятельные лексические единицы так же обнаруживается лишь на фоне всей семантической системы языка, рассматриваемой в ее движении и в ее отношении к другим языковым системам.

Вот пример из истории русского профессионально-военного диалекта. В строевом учении начала XIX в. существовала команда *весь-кругом*, и это движение батальона, фронтом назад, делалось медленно, в три приема с командой: "раз, два, три". Но потом – по прусскому образцу – стали выполнять это движение в два приема и самая команда была сокращена и произносилась *весь-гом*. Понятно, что выражения *весь-кругом* и *весь-гом* сначала воспринимались как варианты одного и того же словосочетания. Но употребление выражения *весь-гом* вышло далеко за пределы применения старой команды *весь-кругом*. Оно подверглось субстантивации и стало широ-

²⁶ Бодуэн де Куртене И.А. Лингвистические заметки // ЖМНП, 331, 1900, октябрь. С. 370–371; Е г о ж е. Лингвистические заметки и афоризмы // ЖМНП, 346, 1903, апрель. С. 319.

²⁷ Каринский Н.М. Очерки языка русских крестьян. 1936. С. 93.

ким символом фрунтового формализма и произвола. Таким образом, *весь-гом* стало новым словом, проникшим на некоторое время в стили общелитературного языка. Напр., в "Записках о моей жизни" Н.И. Греча: "Общее мнение – не батальон: ему не скажешь *весь-гом*. Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа"²⁸. О команде *весь-гом*, как о популярном военном термине рассказывает и Ф. Булгарин в своих "Воспоминаниях" (СПб., 1848, 5, с. 185–186).

Выражение *весь-гом* приобрело резкий экспрессивно-иронический характер. Напр., им воспользовались поручики Белавин и Брозе в стихотворной сатире на кампанию 1807 г. Здесь команда *весь-гом* была применена к оценке действий русской армии в борьбе 1807 г. с Наполеоном.

Где ты девалась, русская слава,
Гремевшая столь много лет?
Где блеск твой, сильная держава,
Которому дивился свет?
Померкло все! *весь-гом* проклятый,
Лишь выдуманный нам на месть,
Весь-гом, у пруссаков занятый,
Отнял у нас всю славу, честь.

Когда *весь-гома* мы не знали,
А знали только что вперёд,
Тогда мы храбро воевали,
Страшился нас галл, турок, швед.

И далее, изображая действия русских, авторы каждую строфу заключают ироническим рефреном.

И сами сделали *весь-гом*:
Мы отдали врагам Варшаву,
И сами сделали *весь-гом*
Французов – в прах было разбили,
А сами сделали *весь-гом*.
На месте тысячи поклали
И сами сделали *весь-гом*.

Аракчеев, бывший военный министр, отправил авторов этого стихотворения без шпага, т.е. под арестом, в Финляндскую армию и предписал в войне со шведами посылать их "в те места, где нельзя сделать *весь-гом*"²⁹.

Естественно, что понимание границ тождества слова во многом зависит от определения смысловой структуры слова. Для лингвиста, склонного рассматривать язык как непрерывный поток творческой деятельности и видеть в слове неповторимую, индивидуальную единицу речи, слово однозначно: "новый смысл слова есть новое слово"³⁰. "В словарях принято, для сбережения времени и места, под одним звуковым комплексом перечислять все его значения. Обычай такой необходим, но он не должен порождать мнения, что слово может иметь несколько значений. Омоним есть фикция, основанная на том, что за имя (в смысле слова) принято не действительное слово, а только звук. Действительное слово живет в словаре или грамматике, где оно хранится только в виде препарата, а в речи, как оно каждый раз произносится, причем оно каждый раз состоит из звуков единственного и одного значения (Steinthal в Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1, S. 425–428). Связью между звуком и значением служит первоначально представление; но с течением времени оно может забыться. Отношение

²⁸ Греч Н.И. Записки о моей жизни. 1930. С. 387.

²⁹ Заметки "Весь-гом" (Сатира на кампанию 1807 г.). Русск. старина. 1897, декабрь. С. 569–570.

³⁰ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 4. С. 198.

между словами однозвучными, если однозвучность их не есть только случайная или мнимая, всегда бывает таково: а) представление, первоначально связанное со звуком, может в разное время стать средством сознания различных значений; б) каждое из этих значений может, в свою очередь, стать представлением других значений. Положим, в слове *з е л ь е* представляется растение чем-то *з е л е н ы м*; значит растение служит затем представлением лекарства, лекарством представляется снадобье вообще, снадобьем представляется порох. Все эти значения – растение, лекарство, снадобье, порох – составляют не одно слово, а четыре. При появлении каждого из этих значений создается новое слово, хотя звук первого слова может и при всех последующих оставаться неизменным. Нелепо думать, что люди, называющие порох *зельем*, представляют его себе зеленым или не сознают различия между растением и порохом"³¹. Однако сам А.А. Потебня в своих разнообразных историко-этимологических разысканиях считал возможным связывать с смысловой структурой одного слова целую серию значений, внутренне связанных и развившихся друг из друга.

Строго различаются две формы генетической связи между явлениями – *п р и ч и н н а я*, где налицо отношения причины и следствия, и *э в о л ю ц и о н н а я*. Причинная форма связи не предполагает однородности явлений. Причина и следствие могут не иметь между собою абсолютно ничего общего. Причинный ряд характеризуется качественной прерывностью. Установление причинной связи в изменениях значений слова – задача чрезвычайно трудная и пока еще не разрешенная. Кроме того, поиски причин изменения значения отдельного слова лишь отвлекли бы исследователя от наблюдений за постепенным ходом семантических модификаций слова. Ведь причины этих изменений могут быть очень различны. Между однородными явлениями устанавливается эволюционная связь. Для выяснения наличия эволюционной связи требуется, прежде всего, сравнительный метод, исходной предпосылкой которого является тезис: известная, поддающаяся математическому исчислению степень сходства между двумя явлениями служит доказательством их генетической связи друг с другом. Но при установлении генетической схемы неизбежен отрыв от конкретной полноты действительных процессов. Ведь уже само рассмотрение факта лишь как отдельного звена эволюционного ряда связано с сужением конкретного содержания исторического процесса. С исторической точки зрения к одному и тому же слову относятся все разновидности его, между которыми удастся установить генетическую связь значений. Между тем, в конкретных, исторически замкнутых системах языка, многие из этих разновидностей уже перестают сближаться и расцениваются как разные слова, как омонимы. Таким образом, семантические границы слова, рассматриваемого в историческом разрезе, оказываются чрезвычайно широкими. Они не совпадают с конкретным смысловым объемом соответствующих словесных единиц в рамках той или иной языковой системы. Слово как объект исторического исследования не соответствует ни одному из тех реальных единиц языка, которые под это историческое слово подводятся. Внутреннее смысловое единство такого исторического слова оказывается "идеальным". Оно не воспроизводит реальной "сложности" и раздробленности явлений, а лишь концентрирует их в один абстрагируемый образ. Поэтому надо быть всегда настороже против этой иллюзии тождества. В ней источник многих ложных заключений. Мнимое тождество имени и его фонетическая эквивалентность может показывать глубокие семантические и структурные различия. Даже общность этимологических элементов в составе слов вовсе не является признаком их тождества. Напр., *сыскать* и *снискать* в русском литературном языке XVIII–XIX вв. были разными словами. То же самое следует сказать о таких парах, как *кануть* и *капнуть*, *обязать* и *обвязать* и т.п. Однако, в ином свете представляются соотношения слов и форм *поднимать* – *подымать*, *поднять* – *подъять*; *обнять* и *объять* (ср. *объятия*). Методика исследования тождеств еще включает в себе много спорного и неясного. Например, можно ли считать

³¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. 1941. Т. 4. С. 96.

тождественными однозвучные слова, составленные из одних и тех же морфем, но самостоятельно зародившиеся на разной социальной почве. Самозарождение однотипных и омонимных слов – такой же реальный факт, как и самозарождение мотивов, сюжетов и обычаев. При этом такие близкие по значению омонимы могут возникать не только одновременно – в разных диалектах и наречиях русского языка, но и в разные периоды развития одного и того же языка.

Морфологические элементы, очень живучие, играющие активную роль на протяжении многих периодов исторического развития языка, легко могут вступать в однородные сочетания в разное время, в разных системах языка. Ведь многие модели слов бывают продуктивны в течение нескольких столетий. В таком случае складываются одинаковые или однородные слова, графические или даже фонетические омонимы, между которыми нет ни семантической связи, ни культурно-исторической преемственности. Это вполне разные слова. Напр., в древнерусском языке слово *народъникъ* служило для передачи греч. δημότης. Напр., в Изборнике 1073 г.: "паче же *димоти*, рекъше *народъникъ* нача сѧ въ оумѣ кычити и величати"; в Панд. Никона (сл. 41): "Поставлень епископомъ *народъникъ*"³². Это слово в значении: "высший чиновник, сборщик народных податей" употреблялось в высоком славянском слого вплоть до XVII в. Так, в рукописном Житии Иоанна Предтечи (по рукописи Архива святейшего правительствующего Синода, XVII в.) в изложении чуда Крестителя Господня Иоанна в Новгородском Посаднике (л. 120–128 об.) несколько раз встречается слово *народник* в таком контексте: "Иностранцы латинския вѣры... моляху архиепископа великого нова града, посадников же и тысещников и всех града того *народников*". "Помощь же подаяше им многу мздоимныи *народник* Добрыня"... "О суге умне *народниче*, как оболстися злата дѣля мѣсто поборателя, противник зол явися Христове церкви"³³. В русском литературном языке XVIII в. слово *народник* уже не употребляется. Но в 60–70-е годы XIX в. образуется новое слово *народник* для обозначения представителей общественно-политического течения среди радикальной интеллигенции, выражавшей интересы мелкого производителя, идеализировавшего крестьянскую общину, романтически верившего в развитие России без капитализма и считавшего крестьянство единственной базой идеально-государственного устройства. Ср. *народничество*, *народнический*. Эти слова не указаны ни в одном словаре русского литературного языка до Толкового словаря Даля включительно. Необходимо еще вспомнить, что именем *народник* называли себя славянофилы. И.С. Аксаков писал проф. П.А. Висковатову: "Как вы могли нас *народников* называть славянофилами?" (Письмо от 29 февр. 1884 г.). О Лермонтове он же заметил: "По всей вероятности, Лермонтов кончил бы тем, что стал с л а в я н о ф и л о м народником, как стал им и Пушкин. Сознательным или несознательным – все равно"³⁴.

Слово *общественник* не вошло ни в один словарь русского языка до 40-х годов. Впервые оно отмечено словарем 1847 г. Здесь *общественник* определяется так: "Принадлежащий к какому-либо обществу"³⁵. Словарь Даля развивает то же определение: "*Общественник*, *общественница*, к обществу, общине принадлежащий, общник, член, собрат по сословию"³⁶. Таким образом, слово *общественник* первоначально обозначало члена какого-нибудь сословного объединения. Позднее слово *общественник* сузило свое значение и стало применяться к крестьянину, члену сельского общества. В этом значении слово *общественник* употреблялось и В.И. Лениным (1903 г., в суждении о положении деревни в царской России): «В каждой

³² Срезневский И.И. Материалы. Т. 2. С. 321.

³³ Никольский А.И. Сказания о двух новгородских чудесах из Жития св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня // Изв. ОРЯС АН Т. 12. Кн. 3. 1907. С. 107–109, 110.

³⁴ Висковатов П. В.А. Жуковский как народник // Русск. старина, 1902, август. С. 255.

³⁵ Словарь церк.-слав. и рус. яз. 2-е изд. СПб. 1867. Т. 3, С. 646.

³⁶ Даль В.И. Толковый словарь. 2-е изд. Т. 2. С. 634.

деревне, в каждом обществе есть много батраков, много обнищавших крестьян и есть богатеи, которые сами держат батраков и покупают себе землю "навечно". Эти богатеи тоже *общественники*, и они верховодят в обществе, потому что они – сила» (пример из словаря Ушакова, 2, с. 728). Современное слово *общественник* в значении: "человек, активно участвующий в общественной работе" – возникло независимо от прежнего старого омонима. Это – два разных слова (Но см. в словаре Ушакова). Ср. ранее в письме Е.Я. Колбасина к И.С. Тургеневу (от 29 сент. 1856 г.): "Да и что вы, в самом деле, за *общественник* такой, обреченный судьбой на расхищение каждого литературного поддипала!"³⁷.

К числу слов-омонимов, возникших в русском языке в XIX в., как и в других языках, относится серия слов, связанных с одним и тем же звуковым и морфологическим комплексом – *нигилизм*, *нигилист*. В русском языке лишь И.С. Тургенев, применив имя *нигилиста* к типической психологии шестидесятника, придал ему историческую устойчивость и могучую силу крылатого термина. Тургенев с полным правом мог считать себя создателем нового слова ("Литературные и житейские воспоминания", гл. 5 "По поводу отцов и детей"), хотя омонимы этого слова существовали и раньше – не только во французском и немецком, но и в русском языке. Недаром современный критик (Н.Н. Страхов) заявил, что из всего, что есть в "Отцах и детях" слово *нигилизм* имело самый громадный успех. "Оно было принято беспрекословно и противниками и приверженцами того, что им обозначается"³⁸. Прав был по-своему и П.В. Анненков, который говорил, что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, хотя вовсе и не новое, но отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили, – *нигилизм*³⁹. Как показал М.П. Алексеев⁴⁰, появление слова *nihiliste* во французском языке относится к самому началу XIX в. Оно впервые отмечено у Мерсье, автора сочинения "Картины Парижа", в его словаре неологизмов 1801 г. Здесь под словом *nihiliste* (или *rienniste*) разумеется крайний скептик, человек с опустошенной душой "который ничему не верит, ничем внутренне не интересуется". В немецком философско-публицистическом языке слово *Nihilismus* известно также с конца XVIII – начала XIX в. Здесь *Nihilismus* обозначает крайнее проявление идеализма, считающего идею первым абсолютным началом бытия и из нее выводящего весь мир действительности. В русском языке слово *нигилист* едва ли не первый употребил Н.И. Надеждин в своей нахуливающей статье 1829 г.: "Сонмище нигилистов". (Опубликовано в "Вестнике Европы" под псевдонимом Никодим Надоумко). По словам Ап. Григорьева: «Слово "нигилист" не имело у него того значения, какое в наши дни придал ему Тургенев. "Нигилистами" он звал просто людей, которые ничего не знают, ни на чем не основываются в искусстве и жизни, ну, а ведь наши нигилисты знают пять книжек и на них основываются» ("Мои литературные и нравственные скитальчества"). После Надеждина тем же образованием – *нигилизм* – пользовались и Н. Полевой для шутивно-иронической характеристики материализма, и В.Г. Белинский – для сатирической квалификации пустоты, отсутствия всякого содержания. В рецензии на "Провинциальные бредни" Дормедона Васильевича Прутикава ("Молва", 1836, № 4) сказано, что в этом произведении "нет ни идеализма, ни трансцендентализма: в них, напротив, абсолютный нигилизм с достаточной примесью безвкусыя, тривияльности и безграмотности". Любопытно, что в несколько сходном смысле употребил слово *нигилизм* и акад. П.С. Билярский в своем исследовании "Судьбы церковного языка" (СПб., 1849, ч. 2. с. 107–108), заметивший по поводу выступления И.И. Срезневского: "Это было ... только призрак утверждения

³⁷ Тургенев и круг "Современника". Неизданные материалы. 1847–1861. М.; Л., 1930. С. 275.

³⁸ Журнал "Время", 1863, янв. Ср. Страхов Н.Н. Из истории русского нигилизма. СПб., 1890.

³⁹ Вестник Европы. СПб., 1885. Т. 4. С. 505.

⁴⁰ К истории слова "нигилизм". Сб. статей в честь акад. А.И. Соболевского // Сб. ОРЯС АН СССР. М., 1928. Т. 101. № 3. С. 413–417.

и отрицания, под которым открывалось отсутствие определенного взгляда, полный, абсолютный нигилизм". Кроме того, С.П. Шевырев в "Теории поэзии" (1835) пользуется словом *нигилист* вслед за Жан-Полем – для обозначения крайних идеалистов, а М.Н. Катков в 1840 г. называет *нигилистом* – материалиста: "Глядя на мир как он есть, скорее станешь из двух крайностей мистиком, чем *нигилистом*: мы окружены отовсюду чудесами" (Отеч. зап., 1840, 12, октябрь, отд. 2. с. 17). Таким образом, одно и то же образование возникает в разное время и в разных местах, так как его компоненты были интернациональны, и наполняется разнообразным содержанием. Непрерывность историко-семантического развития этим омонимическим обозначениям была чужда. Лишь Тургеневу удалось вдохнуть в то же образование новую душу, новый исторический смысл, который оказался очень активным и живучим.

III

Симптомом тождества слова в разных системах языка является непрерывность его историко-семантического развития. Если слово, как устойчивый реальный акт, как культурно-историческая вещь, непрерывно продолжает выполнять свои функции, хотя и очень разнообразя их на протяжении нескольких веков, нескольких периодов развития языка, то историческая преемственность его значений, их внутренняя связь остается непоколебимой. Единство "вещи" сохраняется, несмотря на различие ее функций в разных исторических контекстах. Конечно, в этом случае может играть большую роль сознание тождества материального субстрата слова, его фономорфологического состава. Но понятие непрерывности семантического развития слова очень условно. Ведь только в очень редких случаях историк языка может непосредственно наблюдать самый процесс становления и развития новых значений слова – с момента его образования. По большей части он имеет дело лишь с разными состояниями или положениями слова в разных языковых системах. Ему дано лишь последовательное отношение предыдущих и последующих значений. Принципы и формы их генетической связи восстанавливаются и устанавливаются лишь интуитивно. Однако вопреки учению Ф. де Соссюра, синхронический и диахронический аспекты изучения слова взаимообусловлены и тесно между собой связаны.

Идея непрерывности развития слова соотносительна с идеей его изменяемости. Но сама непрерывность – только одна из бесчисленного множества модификаций прерывности. Непрерывность развития слова обычно лишь предполагается, постулируется. Доказательства этой идеи часто опираются на предположение непрерывного исторического движения единого коллективного сознания, т.е. на гипотезу однородности духовной структуры и духовной эволюции коллектива и личности. Но непрерывно ли коллективное движение мысли? При проекционном методе исторического исследования непрерывность развития слова вовсе не тождественна с активным его употреблением из поколения в поколение в рамках одного коллектива. В этом аспекте понятие непрерывности развития отнюдь не соотносительно с понятием единого – раскрывающегося коллективного сознания. Когда слово рассматривается как объективная вещь, как культурно-исторический факт, то учитываются не только странствования слова по диалектам, его перемещения из одного социального круга в другой, но и переходы слова от музейного бытия среди памятников письменности в живую жизнь. Все это вполне мирится с тем условным понятием культурно-исторической непрерывности, которое в данном случае восполняется представлением о длительном консервированном состоянии слова, закрепленного в письменных источниках, о его потенциальном существовании и о непрекращающейся живой возможности его бытового возрождения. Напр., слово *гостиница* к XVIII веку выходит из живого бытового употребления. Оно сохраняется лишь в рамках церковно-книжного культового диалекта. С ним связывается представление о "постоялом дворе, о доме или пристанище для путешественников" (Русск. старина, 1891, апрель, с. 2). Даже в словаре 1847 г. это слово еще рассматривается как неупотребительное "церковное". Ср. в воспоминаниях И.А. Второва "Москва и Казань в начале XIX в." (1842): "Остановился на Тверской

улице в Цареградском трактире (тогда еще не называли *гостинницами*)". Только с 30–40-х годов, в связи с ростом славянофильских тенденций, возвращается в живой бытовой язык древнерусское слово *гостиница*, ограничивая употребления слова *hôtel* и видоизменив значение слова *трактир*.

Итак, понятие тождества слова в его развитии предполагает непрерывность его исторического существования. Но эта непрерывность на деле легко мирится с многовековыми перерывами в реальном применении слова. Далеко не всегда непрерывность истории слова состоит в последовательном переходе его от одного поколения к другому в границах того же общества. Слово может блуждать по разным диалектам. Оно может быть законсервировано в памятниках письменности и затем возобновиться в общественной практике, как бы возродиться к живому, активному употреблению. Противоречие между постулируемой исторической непрерывностью слова и между прерывностью его активного употребления – новая антиномия историко-семантического изучения лексики.

Изучение непрерывности развития значений слова затруднено тем обстоятельством, что по отношению к далекому прошлому вопрос о составе активного словаря, о переходе тех или иных слов из подспудного существования или инертного состояния в живое общественное употребление почти неразрешимы. Между тем, все эти изменения в характере пользования словом, в способе его восприятия обычно сопровождаются экспрессивной переоценкой слова. Вот почему объем значений и оттенки многих слов кажутся нам неизменными, как бы окаменелыми на протяжении многих веков. Между тем, это – историческая иллюзия, обман зрения у историка слова: смысловая структура слова не оставалась неподвижной, законсервированной. Напр., слово – *тоземьць* (в другой более поздней форме *туземец*) встречается в русских памятниках, начиная с XI в. (См. Материалы И.И. Срезневского, т. 3, с. 972–973 и 1035. Ср. В.М. Истрин. Хроника Георгия Амартола, т. 1). Его значение ясно: "природный житель страны, местный житель". В словаре 1847 г. значение этого слова определяется так же: "природный житель какой-либо земли или страны, тутошний уроженец". Возникает иллюзия семантической неизменности или неизменяемости слова. Между тем, во второй половине XVIII и начале XIX в. слово *туземец* было настолько малоупотребительно, что оно не попало ни в словари Академии Российской, ни в Общий церковнославяно-русский словарь П. Соколова (1834 г.). Оно хранилось в архивном фонде языка. Г.И. Добрынин в своих "Записках" (Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина) под 1781 г. делает такое примечание к слову *туземный*: "Прошу не взыскивать за наше родное слово. Ежели мы знаем иностранец или пришлец, то должны знать и *туземец*. Так называли и писали наши праотцы славяне". При этом делается ссылка на "Российскую Вивлиофику" Новикова (Русск. старина, 1871, т. 4, с. 145).

Непрерывность исторического бытия слова во многих случаях трудно доказуема. Перерыв в употреблении слова еще не исключает его пассивного восприятия и понимания в памятниках письменности. Вместе с тем, выпадая из живого литературного лексикона, слово может сохранять свою активность в языке некоторых социальных групп, откуда снова проникает иногда в общелитературный словарь. Понятно, что при исследовании всех этих вопросов важное значение имеет морфологическая структура слова, жизненность и употребительность его модели. Напр., едва ли можно сомневаться в том, что слова *благодущие* и *благодуществовать*, получившие особенное распространение в русском литературном языке со второй половины XIX века, все-таки восходят к соответствующим книжным славянизмам. Ведь трудно было бы допустить вторичное образование этого слова или его "воскрешение" под влиянием возродившегося интереса к древнерусской письменности. В самом деле, слова *благодущие* (ср. *добродущие*) и даже глагол *благодуществовати* отмечены в памятниках древнерусской письменности XII–XVI вв. Напр., в Сборнике XVI в. "О летнем обхождении и воздушных переменах": "длъжни есмы... *благодуществовати* и

- не гнѣватися". Глагол *благодаруешествовати*, по-видимому, имел два оттенка: 1) быть бодрым; 2) находиться в радостном настроении (Срезневский, Т.3. Дополнения, с. 15). В церковно-славянском языке слова – *благодарушие* и *благодаруешествовать* широко употреблялись и в XVII–XVIII в. (ср. в посланиях Апостола Павла к Филиппийцам, 2, 19: "Да и азъ *благодарушествоую*, увѣдѣвъ, яже о васъ"). Они не чужды были высокому и среднему стилю русского литературного языка этого времени. Напр., в "Капище моего сердца" И.М. Долгорукого об архимандрите Парфении: "Он отпевал и предал земле тело меньшей дочери моей Евгении, плакал вместе со мной, когда мне бывало грустно, и *благодаруешествовал*, когда небо посылало мне отраду" (изд. "Русск. архива", с. 257). Но уже в словаре 1847 г. слова *благодарушие* и *благодаруешествовать* квалифицируются как церковные. Глагол *благодаруешествовать* был пропущен, по-видимому, в силу его малой употребительности в первом издании словаря Даля. П. Шейн в своих "Дополнениях" к словарю Даля обратил внимание на этот пропуск: "*Б л а г о д у ш е с т в о в а т ь*. Пропущено. Это слово, как мне кажется, пущено в литературный оборот Островским" (с. 8). В связи с изменением стилистических функций слова и его экспрессии, в связи с распространением его в разговорно-шутливой речи происходит сдвиг в его значении. *Благодаруешествовать* означает: "проводить время без дела и забот, находясь в мирном, невозмутимо-покойном, добродушном расположении духа" (ср. те же экспрессивные изменения в словах: *благодарушие* и *благодарушный*).

Когда живое употребление слова прерывается, то утраченное слово, закрепленное в памятниках письменности, может дать жизнь как бы новому слову с той же внешней формой, но наполненному новым содержанием. Напр., слово *тризна* в древнерусском языке означало "погребальные игры, погребальное состязание". В этом значении оно употребляется в начальной летописи. Старославянские тексты через *тризна*, *трызна* передают греческие δῆλον, παλαίστρα, ἄθλον и т.п. Следовательно, и тут *тризна*, *трызна* значило: "борьба, состязание". "Состязания в память умершего, как часть погребального обряда, до сих пор известны у осетин. Это – скачки с призами из одежды покойного, его оружия, седла, иногда из лошади, быка, денег", – заметил в связи с этим акад. А.И. Соболевский (Материалы и исследования, с. 273–274)⁴¹. Слово *тризна* в этом употреблении постепенно отмирает вместе с самим обрядом погребальных игр, состязаний. Слово *тризна* в Новгородском глоссарии XV в. (по списку 1431 г.) объясняется так: "страдальчество, подвиг". Таким образом, уже в XIV–XV вв. оно относилось к разряду "неудобь познаваемых речей". Во второй половине XVIII в. – под влиянием растущего интереса к древнерусской истории – распространяется знакомство со словом *тризна*. Постепенно входит в литературное употребление слово *тризна* в значении: "погребальный пир, поминки"⁴². Это осмысление было подсказано бытом той эпохи. Напр., у И.А. Крылова в басне "Кот и повар":

"... он набожных был правил
И в этот день по куме *тризну* правил..."

У Пушкина в "Песне о вещем Олеге" (1822)

"На *тризне*, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обagriшь
И жаркою кровью мой прах напоишь!..."

"Ковши круговые, запенясь, шипят
На *тризне* плачевной Олега..."

⁴¹ Ср. у Niederle L. (Slovanské starožitnosti. Svazek. I. Praha, 1911) изображение тризны как символической игры, сопровождаемой питьем и пением (см. рецензию М.Н. Сперанского в Этнограф. обозр., 1912, № 3–4, С. 69).

⁴² Любопытно, что и в словаре 1847 г. слово *тризна* считается старинным. Отмечены 2 значения: 1) языческое поминовение усопшего, 2) рыцарские игры при поминовении усопшего.

Ср. у Некрасова в "Размышлении у парадного подъезда":

"Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною *тризною*,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчиною,
Возвеличенный громкой хвалой!..."

На основе этого значения в поэтическом стиле первой половины XIX в. стало развиваться переносное употребление: *тризна* – в смысле: "скорбное воспоминание о ком-нибудь или о чем-нибудь утерянном, погибшем".

У Баратынского в стихотворении "Осень":

"Садись один и *тризну* соверши
По радостям земным твоей души!"

В диалектном употреблении слово *тризна* получило еще новый оттенок значения, связанный с поминальным угощением. По словам П.И. Мельникова, "На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется *тризной*". Ср. в рассказе П.И. Мельникова "Старые годы": "...–За невестами у меня дело не станет: каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, чорт с ней, – на скотнице Машке женюсь". Под эти слова стали *тризну* пить» (Мельников-Печерский, т. 1, с. 144). Если считать основным признаком тожества для слов, не имевших непрерывного употребления, непосредственную генетическую связь их реставрированного облика с их древним употреблением, то круг тожеств очень расширится. (Напр., в 40–50-х годах XIX в. восстанавливается широкое литературное употребление слова *рознь* в знач. "раздор, несогласие"⁴³. Таким образом, в историко-лексикологическом аспекте под непрерывностью исторического существования слова понимается как активное употребление соответствующего слова в разных исторически сменявшихся системах языка, так и пребывание его, иногда на протяжении целых столетий, в архивном фонде данного языка. Понятно, что в этом архивном фонде, в этой своеобразной сокровищнице исторических богатств и потенциальных ресурсов языка, хранятся не все слова когда-либо бывшие в живом употреблении, а лишь те, которыми обозначаются существенные или характерные явления и представления национального прошлого, с которыми связаны типичные черты стиля и мировоззрения известной эпохи и которые признаются в том или ином отношении ценными для выражения коренных начал народного духа.

Несомненно, что даже в этом расширенном смысле понятие непрерывности бытия в истории данного языка неприменимо к таким словам, в разновременном употреблении которых отражаются лексико-семантические процессы чужих языков. Напр., слово *прогресс* появилось в русском литературном языке в начале XVIII в. (ср. латинск. *progressus*, немецк. *Progress*). Оно обозначало: "успех" или по определению рукописного лексикона нач. XVIII в.: "прибыль, прибыток, преуспевание"⁴⁴. Ср. у Шафирова в "Рассуждении" (1717): "Войско... многия *прогрессы* (выигрыши) чинило" (с. 43). Совершенно иным содержанием наполнилось слово *прогресс* в интернациональной

⁴³ См. Грот Я.К. Зап. о сл. Даля // Зап. Имп. АН, т. 20, кн. 1, С. 18. Однако ср. указания на то же значение этого слова "раздор, несогласие" в словарях Академии Российской и в Общем церковно-славяно-русском словаре П. Соколова (1834). В словаре Академии Российской (1822). Т. V, с. 1068 "*Р о з н ь* знн, с.ж. 4 скл. *стар.* 1) Раздор, несогласие. И в людех ваших во всех *рознь*. Голиков дополнения к Истории Петра Великого. 3, 354. 2) Единчество, особенность, число несовокупное. Разойтись *в рознь*". В словаре П. Соколова помета – "старинное" – устарела; первое значение определяется так: "то же, что разность", второе: "раздор, несогласие".

⁴⁴ Смирнов Н.А. Зап. влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб. 1910 // Сб. ОРЯС. – Т. 88, № 2, С. 244.

общевропейской социально-политической терминологии (ср. франц. *progrès*, англ. *progress*), откуда это слово вновь проникает в русский литературный язык 30–40-х годов XIX столетия⁴⁵.

Точно так же не может быть признано непрерывным существованием многократно возобновляющееся образование таких производных слов, которые в индивидуальной и даже в широкой коллективной речевой деятельности самостоятельно возникают как новые слова. В советском языке на время явилась целая серия слов, произведенных от церковного славянского аллилуя (евр. *halleluja* "хвалите бога"): *аллилуйщик*, *аллилуйщина*, *аллилуйный*, *аллилуйский*. "Аллилуйщик – это человек, неумеренным восхвалением существующего положения вещей прикрывающий отрицательные явления и тем мешающий борьбе с ними" (Словарь Ушакова, т. 1, М., 1935). Имя прилагательное к этому слову может быть образовано так: *аллилуйщицкий* или более книжно *аллилуйский*. Любопытно, что слово *аллилуйский* в индивидуальной речи употреблялось раньше, но непрерывной традиции в этом употреблении установить невозможно. В письме Тургенева к Фету от (8 окт.) 26-го сент. 1871 г.: «Друг мой, обожание "Московских Ведомостей" должно быть соединено с некоторой долей самостоятельности – а то ведь как раз можно заговорить "аллилуйским" языком» (Тургенев. Письма, с. 129).

IV

Отправным пунктом исторического исследования слова является современная система его употреблений и значений. Но семантический объем живого слова на современной стадии развития языка бывает ограниченнее, уже, хотя и отвлеченнее и логически расчлененнее, чем структура слова на иных далеких от нас стадиях истории языка. То, что в современном языке стало разными словами – омонимами, генетически может восходить к одному лексическому зерну. Смысловый объем слова исторически меняется, внутренняя сущность слова также исторически изменчива. Таким образом, диспропорция между современным понятием о слове и восприятием слова на других стадиях развития создает противоречия в понимании самой лексической единицы, как объекта исторического исследования. Вопрос о единстве смысловой структуры слова в его историческом развитии упирается в вопрос о происхождении, генетической связи и эволюции значений этого слова. Анализ современной системы значений может быть лишь началом такого исследования. Напр., в современном русском языке непосредственным сознанием различаются два глагола-омонима *приписать*:

I. *П р и п и с а т ь* – *п р и п и с ы в а т ь* – 1) *что*. Написать в дополнение к чему-нибудь, прибавить к написанному прежде. *Приписать* несколько слов в письме. *Приписать* заключение к последней главе повести. 2) *кого-что*. Записав, причислить куда-нибудь, внести в списки (канц. офиц.). *Приписать* к призывному участку.

II. *П р и п и с а т ь* – *п р и п и с ы в а т ь* *кого-что кому-чему*. Счесть причиной чего-нибудь, отнести за счет кого, чего-нибудь. Долгое отсутствие письма *приписывал* неисправности почты. У Пушкина в "Капитанской дочке": "Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но *приписала* его провинциальной застенчивости". // Счесть принадлежностью кого-нибудь или счесть принадлежащим кому-нибудь, *Приписывал* ей всяческие добродетели. Ср. у Пушкина: «"Вампир", повесть неправильно *приписанная* лорду Байрону» (В словаре Ушакова оба омонима слиты в одно слово).

Можно ли оба эти омонима возводить к одному слову, видеть в них продукт семантического распада единой смысловой структуры? Без историко-семантического

⁴⁵ См. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 1938. С. 389.

исследования сразу ответить на этот вопрос невозможно. Легко заметить, что второй омоним соответствует по своему морфологическому строю и по смыслу немецкому: "Jemand etwas zuschreiben". Ср. в письме знаменитого фельдмаршала Барклая де Толля (от 15-го января 1813): "Wenn ich Ihnen nicht früher geantwortet habe, so *schreiben* Sie es dem Meere von Geschäften die mich belagern zu" ("Если я вам не отвечал ранее, то *припишете* это морю дел, осаждавших меня") (Русск. старина, 1888, октябрь, с. 265). Эта калькированная передача немецкого *Zuschreiben* возникла в русском деловом языке XVIII в. Во всяком случае, в словарях Академии Российской все современные значения обоих омонимов уже зарегистрированы и объединены в одном слове: *Приписывать, приписать*, – 1) Прибавлять что к написанному. *Приписать* к чему статью, строку... 2) Письменно утверждать что за кем во владение или в ведомство. *Приписать* крестьян к какому уезду, к заводу. 3) Придавать кому по свойству, качеству наименование. *Приписывать* кому добродетели. 4) Относить что к кому или почитать кого или что причиною, главным орудием чего. Победу сию *приписывают* храбрости, искусству и прозорливости полководца. 5) Относительно к сочинениям: посвящать кому какую книгу. Иногда обе конструкции, связанные с глаголом *приписать*, в русском языке смешиваются. Напр., у И.А. Второва в воспоминаниях "Москва и Казань в начале XIX в.": "Добродетели твои *приписывали* к корыстным видам, а слабости, свойственные всем людям, низким порокам" (Русск. старина, 1891, апрель, с. 22). Таким образом, есть основания утверждать, что в русском литературном языке XVIII в. и первой половины XIX в. внутренняя объединенность разных значений, связанных с одним и тем же звуковым комплексом – *приписать*, – считалась непосредственно очевидной и что тенденции к распаду их на две омонимных лексических единицы еще не было. Естественно, что процесс расхождения двух рядов значений: *приписать* – "написать дополнительно к чему-н." или "записать к какому-нибудь разряду" и *приписать* – "счесть что-н. причиной чего-н." или "счесть принадлежностью чего-н." был связан с дифференциацией их морфологической структуры: в одном глаголе сохранялись отчетливые семантические признаки префиксального словопроизводства (*приписать* – "написать при", т.е. "дополнительно к", ср. *приписка*, в другом – приставка *при* – все больше теряла значение особой морфемы, и крепло ощущение непроемкости основы (*приписать* – "признать причиной").

Идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого часто приводят к искажению смысловой перспективы в истории слова. Истории слова грозит опасность превратиться в легенду о слове, предсказываемую господствующей теорией современности. Истории материальной культуры и общественных мировоззрений не всегда устраняют этот элемент легендарности, так как сами несвободны от влияния "злобы дня". Проектор современного освещения далеко не всегда разгоняет туман или мрак прошлого. Очень часто он вызывает лишь иллюзию ясности. Итак, противоречия между реально-историческими основами прошлых идеологий и между односторонностью современных теорий исторического познания могут стать препятствием к адекватному постижению действительности. Интерпретация старинного употребления слова обычно опирается или на архаические пережитки его применения в современных областных народных говорах, или на подстановку современных понятий под свидетельства древних текстов. В обоих случаях происходит исторически неправомерный перевод на современный язык, приноровление к современной системе понятий. Еще Лейбниц заметил: "Если трудно понять значение слов у наших современников, то тем более трудно это в отношении авторов древних книг"⁴⁶. История чаще всего осмысливает действительность прошлого под влиянием господствующих идей современности. Придавая образ, значение и внутреннее единство давно минувшим явлениям, история в той или

⁴⁶ Лейбниц Г Новые опыты о человеческом разуме. 1936 / Пер. П.С. Юшкевича. С. 295.

иной мере творит из них легенду. Каждая эпоха имеет свой образ прошлого, свою легенду о нем. Г. Шухардт писал: "Сторонник исторической науки прежде думал иной раз из тесноты настоящего убежать в простор прошлого. Теперь настоящее нам кажется просторнее, чем прошлое... Именно настоящее вообще и всегда важнее для науки, чем прошлое. Ее задача – постичь действительность, и эта задача всего успешнее может быть выполнена нами, когда мы имеем возможность непосредственно наблюдать факты"⁴⁷.

Не подлежит сомнению, что идеологическая модернизация прошлого, его тенденциозное освещение в духе той или иной теории искажает историческую перспективу развития значений слова. Примером одностороннего освещения семантических процессов могут служить такие историко-лексикологические рассуждения И. Прыжова в "Истории кабаков в России в связи с историей русского народа" (1868): «Древнеславянский *муж* получает в Москве бранное имя *мужика*, которое переходит в это время и в Малороссию, и брань: *подлинной ты мужик*, повторяясь чаще и чаще, сокращается в новое, модное в XVIII в. слово – *подлый*, прилагательное ко всему народному... Имя *человек*, высокое по понятию народа (малор. *чоловік* – домохозяин), спускается до названия холопа, лакея: общественное название лакеев: *человек*, *люди*. Вообще слово *люди*, служившее некогда названием всего народа, получило с этого времени какое-то злое значение: "люд! экой люд!"». (с. 245). Тут звучит голос негодующего на социальное неравенство народника – революционера 60-х годов, в угоду агитационным задачам сильно изменяющего историю значения слов – *человек* (первоначально "самец, мужчина, муж"), *люд*, *подлый*, *мужик*.

Наш современник А.А. Дементьев в таком виде представляет семантическую историю слова *мужик*: "Можно предполагать, что слово *мужик* когда-то имело умалительно-пренебрежительный оттенок в значении и противопоставлялось слову *муж*. Другими словами, с одной стороны, были *мужи* – представители правящих верхов общества, с другой – *мужики* – представители низших сословий. Такая догадка находит себе некоторое подтверждение и в том, что в древних памятниках письменности, большею частью судебно-юридического содержания, жена боярина и вообще знатного человека того времени и жена человека из низших сословий называются по-разному. В первом случае *жена*, во втором, наряду с *жена*, – часто *жёнка*". Далее отмечается употребление слова *мужик* со значением "крестьянин" в Летописи по Никонову списку под 7064 (1556 г.): "И *мужики* многими иски отыскивались"⁴⁸. И эти семантические догадки в гораздо большей степени опираются на общие историко-социологические соображения, чем на конкретные лингвистические факты. Не исследуется ни акцентологический тип слова, ни его древнерусское употребление хотя бы на протяжении XVI и XVII веков, ни его отношение к слову – *крестьянин*, возникшему, по мнению П.Б. Струве, в связи с древнерусским церковным землевладением в XIV–XV вв.⁴⁹

В конце 80-х годов XIX в. на страницах Русского Архива происходила оживленная полемика по вопросу об историческом значении слова *кормление*. Первым выступил Д.Д. Голохвастов со статьей "Историческое значение слова *кормление*". Он доказывал, что *кормление* в старинном языке означало не "питание", а "правление". Слова *корма*, *кормило*, *кормчий*, *кормчая книга*, – писал Д. Голохвастов, – несомненно одного корня со словом *кормление*; но в них, очевидно, нет ничего общего с понятием о *питании*; об эксплуатации в свою личную, частную пользу, и все они прямо указывают на понятие *об управлении*" (Русск. архив, 1889, № 4, с. 650). "Дать кому-либо город

⁴⁷ Schuchardt-Brevier H. Halle. 1928. S. 268–269.

⁴⁸ Дементьев А.А. Суффикс -ик и его производные // Уч. зап. Куйбышевск. гос. пед. ин-та, 1942. Кафедра языкознания. Вып. 5. С. 42.

⁴⁹ Это мнение П. Струве высказал в докладе на 4-ом съезде русских ученых в Белграде в 1928 г. (см. Slavia, 1930, гоѣн. IX, сеѣ. I, с. 213).

или область *в кормление* – значит поручить ему управление этой местностью или, как сказали бы теперь, сделать его губернатором" (там же). Известно, что еще К.С. Аксаков выражал сомнение, правильно ли поступал С.М. Соловьев, понимая слово *кормиться* "в современном разговорном значении без исследования исторического". "Знакомство с памятниками показывает нам совсем другое"⁵⁰. Несомненно, что истолкование слова *кормление* (применительно к боярской деятельности) зависело от общей концепции древнерусского социально-исторического процесса. Классовые основы понимания термина *кормление* в значении "управление" раскрываются в таких заявлениях П.Д. Голохвастова, выступившего со статьей "Боярское кормление" в защиту мнения Д.Д. Голохвастова: "Назывались ли бояре *кормленщиками* от прирожденного права как можно сытнее *кормиться* народонаселением, т.е. буквально *миро-едствовать* или же от прирожденной обязанности, с дворцом во главе, *кормить-ствовать* землю [т.е. управлять землей. – В.В.] вот ведь в чем вопрос" (Русск. архив, 1890, № 6, с. 242). «Как же историки-то, Иловайские, Ключевские... как же могут они, изучившие книгу бытия Руси изначала даже и доднесь, не спохватиться, в чем вся *raison d'être*, вся причинная суть этой, будто бы "достаточно выясненной", так называемой системы кормления? Ведь очевидно же, вся она единственно в модности, еще Пушкину столь претившей, но тогда еще только буржуазной, теперь уже уличной, бесстыже-оголтелой модности ляганья... Геральдического льва Демократическим копытом» (там же, с. 218).

В сущности, другими словами, но ту же мысль выражал и Д.Д. Голохвастов в указанной выше статье: "Если бы неверно истолковывалось другое слово, это могло бы не иметь значения, но тут искажается весь смысл нашей истории. Если бы лучшие слуги действительно заботились прежде всего о своих личных выгодах, а государственные дела откладывались; если бы наши московские великие князья и цари, после стольких усилий и таких жертв народной кровью, не умели сделать ничего лучшего из вновь завоеванного царства, как отдать его на растерзание этим алчным боярам, то не доросло бы Московское княжество до размеров России" (Русск. архив, 1889, № 4, с. 655). Ключевский иронизировал по этому поводу: "Как! Толкованием одного слова можно исказить весь смысл нашей истории?... замечательно лаконичен смысл нашей истории: он весь в одном слове – *кормление*" (Русск. архив, 1889, № 5, с. 145).

П. Голохвастов свое понимание слова *кормление* в значении "управление" обосновывает ссылкой на выражение *держать кормление*, на глаголы *кормить-ствовать* "управлять", на фразеологические контексты употребления слова *кормление* в древнерусских грамотах XIV–XVI вв. (*кормление с правдою*, т.е. с правом на суд и пошлину; *кормление по исправе* и т.п.), на общую этимологическую судьбу лексического гнезда, связанного с глаголом *кормити*. П. Голохвастов готов допустить, что *кормить* – *nutrire* "питать" и *кормить* – *gubernare* "управлять" две ветви одного корня и что «живы еще отпрыски дичка, в которых *кормилец* – "питатель" и *кормилец* – "властитель" почти неразличимы». Но "обе [эти] корневые ветви разрослись... далеко врозь". Поэтому толковать боярское *кормление* как "питание" невозможно вопреки таким историкам, как С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, Д. Иловайский, В. Ключевский и др. "И никому им в голову не приходит, что ведь этою этимологией *кормления* ... они eo ipso отрицают у себя правление, как факт и как понятие, у них не существующие, им чуждые, им – т.е. всей России времен кормления, с Рюрика до Михаила Федоровича, по г. Чичерину, до Петра, по г. Иловайскому. Признавая себя (страну) – живым кормом (бояре – потребителями, а государя – распорядителем кормежки), они отрицают себя как государство, признают себя за стадо, которое жалует волкам пастырь-наемник, пастырь-волк в овечьей шкуре" (Русск. архив, 1890, № 6, с. 238–239). По мнению П. Голохвастова, только с половины XVI и особенно в XVII в.

⁵⁰ Аксаков К.С. Соч. Т. 1. М., 1861. С. 139.

начинает забываться древнерусский смысл термина *кормление* и глагола *кормити*. *Кормить* – *кормление* начинают смешивать с *кормить* – *питать* и производными. "Разумеется, такова судьба не одного *кормления*: забывались или обесмысливались и многие другие слова" (там же, с. 247–248).

Между тем, еще Б.Н. Чичерин в своем труде "Областные учреждения России в XVII в." (М. 1856, с. 2 и след.) так характеризовал *систему кормления*, органически связанную с характером управления князя – вотчинника: "...доходы жаловались в кормление княжеским слугам... Суд отдавался в кормление наместникам и волостелям... Душегубство вместе с остальным судом бывало в кормлении за волостелями. Все это определялось не правительственными соображениями, а ... расположением князя к тому или другому *кормленщику*". "Штрафование было произвольное; судья извлекал из преступника все, что мог. ... Имелось в виду не столько преступление, сколько доходное действие. ... Преступление составляло как бы собственность судьи"⁵¹. Этот взгляд на кормление как на способ вознаграждения наместников и волостелей за государственную службу был принят затем и С.М. Соловьевым. В "Истории России" он писал: "За свою службу князю, придворную, думную и ратную, бояре в этот период стали получать вознаграждение в трех видах: кормления, вотчины и поместья. Первый вид был связан с должностями наместников и волостелей. Назначая наместников в свои города, князь давал областям правителей и судей; в то же время он давал своим боярам возможность кормиться на счет жителей, т.е. пользоваться как судебными пошлинами, так и разными поборами натурою" (т. 11, с. 363).

По вопросу о значении слова *кормление* в связи с заметкой Д. Голохвастова выступили со статьями Д.И. Иловайский и В.О. Ключевский. Д.И. Иловайский как в своей статье о казанских делах при Грозном (Русск. архив, 1889, кн. 1), так и в ответе "Моим возражателям" (там же, 1889, кн. 5) считал смысл термина *кормление* вполне раскрытым в русской исторической литературе: "...вопрос о кормлениях достаточно выяснен в Русской истории, и никакие открытия ... тут невозможны" (там же, с. 131). В обоих судебных Ивана III и Ивана IV упоминаются "кормления с судом боярским" и "кормление без боярского суда". О *кормлениях* говорится и "в связи не столько с управлением, сколько с судопроизводством, и преимущественно с пошлинами или с судебными доходами в пользу кормленщиков"⁵². Иловайский рекомендовал Д. Голохвастову за более подробными справками о значении слова – *кормление* – обратиться к трудам по истории русского права, каковы напр. труды Неволлина, Калачова, Чичерина, Дмитриева, Сергиевича, Градовского, Владимирского-Буданова и др.

Более филологический характер носила статья В.О. Ключевского «По поводу заметки Д. Голохвастова об историческом значении слова "кормление"». Ключевский напоминает, что «*кормлениями* ... назывались в древней Руси судебно-административные должности, соединенные с доходом в пользу должностных лиц, который получался ими прямо с управляемых... Этот доход носил общее название *корма*, соответствующее нынешнему канцелярскому термину "содержание"; отсюда и доходная должность получила название *кормления*. Так понимали это слово, если я не ошибаюсь, все ученые исследователи русской истории» ("Письмо к издателю" // Русск. архив, 1889, № 5, с. 138). Ключевский считает, что глаголы *кормить* – "питать" и *кормить* – "управлять" – омонимы, хотя, быть может, и восходящие к одному корневому элементу. Но "ведь мы трактуем не об этимологическом происхождении, а об историческом значении слова *кормление*. Лингвисты вольны производить это слово от каких им угодно корней... Для объяснения исторического значения слова у нас есть под руками более надежное и привычное для нас орудие, чем мудреный корнесловный словарь: это орудие – исторический документ" (с. 139–140). "... нужны древние

⁵¹ Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. С. 2 и след., с. 3–5, с. 10–11.

⁵² См. Иловайский Д.И. История России. Т. 2. М., 1884. С. 522.

документальные тексты, которые достаточно явственно вскрывали бы древний смысл слова кормление" (с. 142). "Этот административный термин ... является уже в памятниках XIV века, притом в таких контекстах, которые явственно изобличают значение, тогда ему принадлежавшее" [в договорной грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича 1362 г.]. «В конце XV в. боярам Судимонту и Якову Захарьину дана была в *кормление* Кострома с разделением города пополам между обоими: один из *кормленщиков* жаловался в Москве, что им обоим "на Костроме сытым быть не с чего". На языке XIV в. *сидеть на кормлении* значило "есть хлеб"» (с. 143). Ключевский заключает свое письмо такими словами: "Жутко работать русскому ученому, когда всякий почтенный согражданин может печатно обвинить его за всякое слово во всем, что ему вздумается, и только обвинить, а не опровергнуть" (с. 145).

Полемика о *кормлении* завершилась "Историко-критическими заметками" Д.И. Иловайского, помещенными в "Русской старине" (1890, ноябрь). Здесь был приведен новый исторический материал, в пользу установившегося понимания термина *кормление*; было указано, что слово *кормление* для обозначения "пользования сборами", "кормами" употреблялось не только в Московском княжестве, но и в Новгородском народоправстве с XIV в. «Новгородская летопись под 1383 г. говорит, что из Литвы приехал князь Патрикий Наримонтович, и новгородцы "даша ему *кормление*, пригороды Орехов и Корельский, и пол-Копорья городка, и Муское село"» (с. 428–429). Иловайский, иронически называя теорию Голохвастова "губернаторской", замечает: "Ничего не может быть антиисторичнее, как древним бытовым формам навязывать понятия и отношения нам современные и давно прошедшие явления оценивать с точки зрения новейшей культуры" (с. 435). По мнению Иловайского, г.г. братья Голохвастовы в вопросе об историческом значении слова *кормление* "вооружились не изучением предмета и серьезным к нему отношением, а одним мнимопатриотическим взглядом на наше прошедшее (с. 435).

В заключение проф. Иловайский, допуская возможность происхождения разных омонимов: *кормити*, *корм*, *корма*, *кормило* и т.п. от одного корня, отказывается от всяких "этимологических упражнений" в этом направлении: "Объяснить, какими путями образовались в народном языке разнообразные выражения, пошедшие от одного известного корня, или разные оттенки одного и того же слова, – это такая задача, которая часто не под силу и записным филологам" (с. 436).

В самом деле генетическая связь, устанавливаемая между разными значениями одного и того же слова в разные периоды его истории, – не дана в материале. Она открывается самим исследователем. Следовательно, в ее понимании всегда может быть та или иная степень индивидуального произвола. Легко найти генетическую связь значений одного слова там, где лишь простое сосуществование или самостоятельное зарождение двух одинаковых по внешности, но разных по существу слов. Опасность принять разные производные словообразования, самостоятельно вырастающие из одних и тех же морфем, за генетически связанные разновидности одного и того же слова – является тем подводным рифом, на который часто насккивает ладья лингвиста, плавающего по безбрежному океану слов.

Ф. де Соссюр указывал, что при применении проекционного метода к изучению языковых фактов необходимо различать две перспективы: "перспективную, следующую за течением времени", соответствующую действительному развитию событий, и другую, "ретроспективную, направленную вспять". Но, вопреки Соссюру, линии их должны пересекаться и совпадать. Перспективное воспроизведение языкового процесса основывается на "множестве фотографий языка, снятых в каждый момент его существования", т.е. оно базируется на документах и на их интерпретации. По словам Ф. Соссюра, часто оно сводится к "простому повествованию и целиком опирается на критику документов". Напротив, ретроспективное исследование "требует метода реконструкции, основанного на сравнении". Оно предполагает серию однородных явлений – сопоставимых в изучаемом отношении в своей совокупности

ведущих к обобщению. "Чем многочисленнее опорные моменты сравнения, тем точнее оказывается эта индукция"⁵³. В истории слов и выражений связь этих обеих перспектив теснее, чем где-нибудь в другой области языкознания. Правда, возможны и резкие расхождения их по разным направлениям или только кажущиеся совпадения. Отсутствие надлежащей документации очень часто придает проспективному рисунку изменений слова иллюзорный, крайне гипотетический или очень внешний характер. Понимание тех скрытых исторических процессов, которые отражались в современных формах и функциях слова, нередко бросает яркий свет и на его далекое прошлое. Дело в том, что история слова, опирающаяся только на документы и на показания памятников, может отражать, и то до некоторой лишь степени, последовательность литературных употреблений слова, а вовсе не смену и не развитие его значений.

Более древние и первоначальные значения слова часто находят очень позднее отражение в литературной традиции, а иногда и вовсе не проникают в нее, будучи, однако, очень живыми и действенными в современной устной речи. Понятно, что как проспективное, так и ретроспективное исследование слов и выражений всегда опирается на общее представление о последовательных рядах семантических превращений, об исторических закономерностях семантического развития, на историческую науку о развитии мышления, материальной культуры и общественных мировоззрений.

V

Восстанавливаемая историческим исследованием схема изменений значений слов не совпадает с живыми представлениями говорящих или говоривших о функциях и употреблении этого слова. Вот почему субъективные свидетельства современников о семантическом строе слова, о восприятии его в ту или иную эпоху должны быть процежены через сито исторических фактов. Они должны быть проверены и осмыслены с объективно-исторической точки зрения. Противоречия между субъективным историческим пониманием слова, присущим коллективу как отдельным его представителям, и между субъективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого слова – вот новая антиномия исторического исследования.

Общественная оценка новизны слова, ощущение слова, как неологизма, в литературном сознании того или иного времени – отнюдь не является объективно достоверным и окончательным свидетельством о времени "рождения" слова. При проекционном исследовании субъективные показания этого рода имеют лишь вспомогательное значение. Они играют только направляющую роль, служа средством ориентировки. Вопроса о том, не существовало ли раньше того же слова в другой среде, в другом стиле, не было ли оно законсервировано в памятниках старой письменности, хотя бы в других значениях, эти показания не решают. Напр., Я.К. Грот считал, что слово *даровитый* относится к числу "новых словообразований" послекарамзинского периода...⁵⁴. Между тем, в начале XIX в. (в 20–30-х гг.) развилось лишь пассивное значение этого слова: "одаренный, обнаруживающий дарование". В значении же: "любящий дарить, щедрый", слово *даровитый* истари употреблялось в высоком стиле книжного языка и лишь к XIX в. это словоупотребление сильно заглохло в связи с распадом старой системы высокого стиля (Ср. словарь 1867–1868, 1, с. 641).

Н.И. Греч (Чтения о русском языке, 2) и Я.К. Грот (Филологические розыскания. Труды, 2, с. 14) относили образование таких слов, как *возникновение* и *исчезновение* к 30–40 гг. XIX в. И, действительно, эти слова не помещены в словаре 1847 г. Даль склонен был считать слово *возникновение* ненародным, нерусским: "Если ... нас заставляют читать: при *возникновении* литературы, то неужели еще полагают вдобавок уверить нас, что это по-русски, или что нельзя было обойтись без этого

⁵³ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 96, 192.

⁵⁴ Грот Я.К. Записка о Толковом Словаре Даля // Зап. Имп. Акад. наук. 1871. Т. 20. Кн. 1. С. 18.

бесподобного оборота, по недостатку на языке нашем слов, для пояснения самобытных мыслей писателя"⁵⁵. Между тем, слово *возникновение* – едва ли не старославянизм. Во всяком случае, оно находится в словарях церковнославянского языка Миклошича (с примером из Патерика XIV в.) и Востокова. А.Н. Попов отметил слово *возникновение* в "Чтении на Крещение Господне" (по сербскому списку XIV в.)⁵⁶.

И все-таки субъективные свидетельства о словах, об их значениях и стилистических качествах, об их внутренних формах, об общих свойствах лексической системы литературного языка в ту или иную эпоху, о составе и функциях словаря отдельных стилей имеют громадную историческую ценность. Но, как и всякие исторические документы и личные впечатления, они подлежат суду исторической критики. Скрытое в них зерно объективной языковой действительности может быть чрезвычайно ценным. Очень часто они помогают исследователю глубже проникнуть в имманентную систему лексико-семантических категорий и отношений, свойственных языку той или иной эпохи. Вот пример. Слово *возраст* до XVIII в. обозначало "рост, величину". В переносном и расширенном значении оно издавна могло указывать на период, степень в развитии человека: *возраст младенческий, отроческий, юношеский, мужеский*, позднее и *старческий*. Для этого переносного значения был далеко не безразличен вопрос, осознается ли связь слова *возраст* с глаголом *возрастать* – "прибавлять в росте, увеличиваться". Пока это связь была жива, применение слова *возраст* к периоду увядания человека оказывалось затруднительным. Это словоупотребление могло укрепиться лишь тогда, когда основное значение слова *возраст* – "рост, величина" вышло из литературного употребления и сохранилось в церковном языке (ср. определение знач. слова *возраст* в словаре Академии Российской и в словаре 1847 г.). Характерно, что выходец из духовной среды Г.И. Добрынин в своих "Записках" (конца XVIII начала XIX в.) все время иронизирует над академическим применением слова *возраст* к периоду старческой жизни. "Видно было по всему, что он силился шаг свой сделать твердым, осанку горделивою; в самом же деле, на зло бодрости, волочил ноги, хотя и не очень был сед; а когда зачитал молитву, то еще больше дал приметить, что шестьдесят третий год его жизни требует принадлежащей себе дани". К слову *жизни* сделано примечание: "По-академически: *его возраста*". Но дядя мой, не уважая академического смысла, давно уже понижался, а не *возрастал*" (Русск., старина, 1871, № 4, с. 205). Ср.: "Нет сомнения, что он скончался, по счету моему на 60-м году *своего века*, или по-академически – *своего возраста*" (Там же, с. 217–218). "Я старше многих в моем отечестве университетов и *веком* и службою". К слову *век* сделано примечание: "По-ученому: *возрастом*, но мне уже без мала 40 лет, как я *вырос*, и более не расту" (Там же, с. 345). Ср. в языке А.Н. Островского: *прийти, вступить в возраст* – "стать взрослым". В комедии "На бойком месте": "*Приходит* девушка в *возраст* и нам должно". В пьесе "Красавец-мужчина": "*Я вступила* в совершенный *возраст*". Ср. "У тебя сестра девка на *возрасте*" ("Семейная картина").

Значение "рост" поддерживалось в слове *возраст* употреблением прилагательного *возрастный* в знач.: "взрослый, выросший" (ср. *великовозрастный*). Напр., в романе В.Т. Нарезного "Бурсак": "Асклиада вышла за Марсалия и теперь мать многих *возрастных* детей".

Ф. де Соссюр утверждал, что субъективный анализ языковых единиц, ежеминутно производимый говорящими субъектами, и объективный анализ их, опирающийся на историю, соотносительны. И тот и другой основаны на одинаковом приеме – на сопоставлении рядов, в которых встречается тот же элемент. Исторический анализ – лишь производная форма непосредственного анализа самих говорящих субъектов.

⁵⁵ Даль В.И. Полтора слова о русском языке // Собр. соч. Т. 10. С. 577.

⁵⁶ Библиографические материалы... Чтения в Общ. Истор. и Древн. Российск. 1880. Кн. 3. С. 283.

"Он, в сущности, состоит в проецировании на единой плоскости построений разных эпох"⁵⁷, в объединении тождеств и в установлении между ними генетической связи.

Общеизвестно, как искусно пользовались субъективными показаниями говорящих, их живым языковым опытом, их пониманием живых категорий языка И.Я. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Радлов, Л.В. Щерба. Особенно ценны эти свидетельства живых носителей языковой системы, принадлежащие тонким и глубоким "природным лингвистам", когда они относятся к стилистическому употреблению слов, к их экспрессии, к их внутренним формам и к объему и связи их значений. Ведь объем и содержание слова – при кажущемся единстве его номинативной функции – исторически изменяются. «Представление какого-нибудь человека может испытывать прирост, хотя знак этого представления остается без изменения. Слово "земля" оставалось неизменным в течение столетий, а понятие становилось все богаче из поколения в поколение»⁵⁸.

© 1995 г.

СОВРЕМЕННОСТЬ КЛАССИКИ

За неполное десятилетие с середины 40-х до начала 50-х годов академик В.В. Виноградов опубликовал серию программных работ о типах лексических значений слова, синтаксисе словосочетаний, основных понятиях фразеологии, категории модальности, предмете словообразования и многом другом, целиком сохранившем свою актуальность в наши дни. Каждая из них либо закладывала основания новой лингвистической дисциплины, либо давала новый мощный импульс исследованиям в соответствующей области. К их числу относятся и работы о предмете исторической лексикологии, в частности, прочитанный в ноябре 1945 г. на научной сессии в ЛГУ доклад "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования", впервые полностью опубликованный в недавно вышедшей книге: В.В. Виноградов. История слов. М., 1994, Изд-во "Толк".

Этот доклад, конечно, несет на себе стилистическую печать своего времени. Однако сформулированные в нем (как, впрочем и в ряде других примыкающих к нему работ) принципы исторического изучения лексики оказались настолько глубоки и жизнеспособны, что прошедшее пятидесятилетие ни на йоту не сдвинуло их в область истории. Это касается и полученных В.В. Виноградовым конкретных результатов, и самого подхода к исследуемому материалу.

Главные тезисы этой исключительно богатой мыслями и логически очень стройной работы (хотя внешне она кажется почти не структурированной) можно свести в следующие три тесно связанные друг с другом рубрики: 1) элементы общего учения В.В. Виноградова о языке; 2) философия истории языка; 3) возникающие в связи со сложностью устройства языка и перипетиями его развития трудности его историко-лексического изучения.

В общем лингвистическом учении мне бы хотелось выделить два взаимосвязанных тезиса, которые отличают виноградовскую философию языка от некоторых других популярных в ту эпоху общелингвистических теорий.

1. "Строй языка определяется взаимодействием его грамматики и лексики". При этом грамматика языка в высокой степени лексикализована (ср. рассуждения В.В. Виноградова о распадении прежде единого глагола-связки *быть* на самостоятельные слова *есть*, *быть*, *суть*, *сущий*, *буде*), а лексика – грамматикализована (например, потому, что значение слова формируется, среди прочего, его "функциями во фразе").

2. "Так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе", "лексической с и с т е м е, (разрядка моя. – Ю.А.), свойственной тому или иному периоду в развитии языка". Лексическая система языка в целом складывается из более мелких лексических систем – "семантически замкнутых" рядов слов. Элементы таких рядов объединены общностью значения и поэтому подвержены действию одинаковых исторических закономерностей.

⁵⁷ Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики. С. 168.

⁵⁸ Mauthner Fr. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 1, 1901, S. 129.

Попытаемся поставить эти утверждения в правильный проспективный контекст и оценить заложенный в них потенциал. Для этого надо будет вспомнить, что даже 20 лет спустя влиятельные школы лингвистики считали только грамматику достойной научного изучения, исповедовали идею "автономного синтаксиса" (независимого от лексического наполнения синтаксических конструкций), а лексику языка, вслед за Л. Блумфильдом, считали "списком основных нерегулярностей", или, как метко сказал Г. Глисон в своей критической статье о лексикографических взглядах дескриптивистов, "отбросами лингвистического описания".

Виноградовская философия истории языка прямо опирается на его общелингвистическое учение, в особенности на положение о системности лексики.

Известен тезис Ф. де Соссюра о том, что только синхронии свойственна системность. Диахрония асистемна и представляет собою историю превращений изолированных, отдельно взятых единиц языка.

В 60-е годы в учение Ф. де Соссюра о диахронии и синхронии были внесены существенные поправки. Диахрония стала рассматриваться как серия последовательных превращений систем, каждая из которых представлена определенным синхроническим срезом.

Достоин внимания то обстоятельство, что в докладе В.В. Виноградова содержались все ключевые элементы новой концепции. Более того, под пером В.В. Виноградова эти в сущности очень естественные мысли предстали в более интересном свете. Он четко разграничил этимологическое и историко-лексикологическое изучение языка. Цели собственно этимологического исследования достигаются, если раскрыт генезис слова, его и н д и в и д у а л ь н а я история, т.е. мотивированные фонетическими законами и подтвержденные правдоподобными семантическими соображениями этапы его развития из этимона. "Не то в исторической лексикологии. Здесь отыскиваются з а к о н ы изменения значений слов, как индивидуальных конкретно-исторических единств, как ч л е н о в семантически замкнутых и исторически обусловленных лексических с и с т е м" (ср. данное выше определение системы; разрядка моя. – Ю.А.). Разграничив два типа исследований, В.В. Виноградов указал на естественную связь между ними. Этимология "лишь тогда получает твердый научный фундамент, когда она вливается в историческую лексикологию или историческую семантику".

Итак, в историко-лексикологическом анализе, в отличие от чисто этимологического, объектом являются не отдельные слова и даже не гнезда слов с единым этимоном, а целые лексические системы. Их изменение мотивируется действием огромного количества языковых и внеязыковых факторов. В связи с этим возникают специфические трудности историко-лексикологического изучения языка. В.В. Виноградов формулирует их в виде нескольких антиномий, с которыми имеет дело всякий историк лексики и которые он обязан разрешать в своем исследовании конкретного материала. Вот некоторые из них: а) "противоречие между разнообразием живых смысловых связей и отношений слова в конкретных системах языка разных периодов его истории и между абстрактной прямолинейностью реконструируемого семантического движения слова"; б) "единство смысловой структуры слова и потенциальное многообразие его исторических разновидностей"; в) "идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого"; г) "противоречие между субъективным историческим пониманием слова... и между объективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого слова".

Таковы главные идеи доклада В.В. Виноградова. Но особую красоту этой его работе (как и другим работам того же жанра) сообщают многочисленные конкретные наблюдения над словами и группами слов, образующие эмпирический фундамент воздвигаемого В.В. Виноградовым здания. Замечательны, например, лексикологические миниатюры, посвященные словам *наушник*, *туземный*, *кормление*, *народник*, *общественник*, *нигилизм*, *приписывать* и другие.

Нельзя не обратить внимания и на приводимый В.В. Виноградовым список слов, историю которых он считал критической для реконструкции истории материальной и духовной жизни народа. В него входят такие культурные концепты, как *личность* (около того же времени удостоенная специальной статьи), *действительность*, *правда*, *право*, *человек*, *душа*, *смысл*, *чувство*, *мысль*, *причина* и другие. Все они – безошибочно выбранные доминанты той языковой "картины мира", которая формирует всю систему лексических и грамматических значений. Эти слова-концепты стали предметом собственно языковедческих исследований лишь в самое последнее десятилетие и именно в рамках "языковой картины

мира". Последнее обстоятельство позволяет по достоинству оценить лингвистическую прозорливость В.В. Виноградова.

Масштаб ученого можно измерять временем, на которое он опережает свою эпоху. Если с этой меркой подойти к В.В. Виноградову, то окажется, что его открытия – в столетнюю годовщину со дня его рождения, через полвека после того, как они были сделаны, и через 25 лет после смерти автора – по-прежнему в полной мере принадлежат нашему времени. Это в значительной степени объясняется универсализмом Виктора Владимировича, необъятностью его знаний во всех областях филологии и смежных с ней наук, абсолютностью его лингвистического слуха и зрения. Он одинаково уверенно чувствовал себя в любой исторической и географической точке языка, в различных его подсистемах, в литературе и всей духовной культуре народа. Он умел мыслить каждый факт как точку приложения разнообразных внутриязыковых и внеязыковых сил, ответственных за формирование лексических значений.

Даже для своей эпохи – последней эпохи ученых-энциклопедистов – он был уникален. Доклад "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования" – красноречивое этому свидетельство.

Ю.Д. Апресян

© 1995 г. Ю.Д. АПРЕСЯН

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА: ПОПЫТКА СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ*

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Человеком на протяжении сотен лет занимались физиологи, психологи, философы и лингвисты, не говоря о социологах. Только в последние два – три десятилетия вышли десятки книг и сотни статей, посвященных его мыслям, желаниям, чувствам и речевым актам. Ни учесть эту литературу, ни хотя бы назвать ее в этой статье нет никакой возможности. Поэтому ограничимся ссылками на книги [1, с. 93–111, 2, с. 101–199, 3–5] и обзор [6], содержащие обширную библиографию.

Из предшествующих исследований выделим лишь несколько наиболее нам близких. Это прежде всего ранние работы Московской семантической школы [7–12], а также уже упоминавшиеся книги Анны Вежибицкой и Н.Д. Арутюновой. В частности, излагаемые здесь представления об "устройстве человека" имеют много общего с тем, что говорится в [2] о перцептивном, ментальном, эмотивном и волитивном "модусах", их разновидностях и взаимопроникновении. Однако запротоколировать все такие сходства, равно как не менее многочисленные различия и в общих идеях, и в конкретных оценках языковых фактов в рамках журнальной статьи было бы невозможно. Разумнее объяснить, зачем понадобилась еще одна работа по вопросу, и без того имеющему огромную литературу, и чем эта работа отличается от прочих. Назовем четыре отличия.

1. "Образ человека" реконструируется исключительно на основании языковых данных. Мы в максимальной мере стремились к тому, чтобы это была именно "языковая" (а, например, не литературная, не общесемиотическая или общекультурная, не философская) картина человека.

2. Реконструкция каждого фрагмента картины считалась мотивированной только тогда, когда реконструированный фрагмент подтверждался не разрозненными данными, а большой совокупностью фактов, позволявших построить цельный и непротиворечивый образ какого-то объекта. Реконструкции типа 'время мыслится как жидкость' (потому что оно *течет*), 'как эластичная вещь' (потому что оно *тянется*), 'как ценная вещь' (потому что его можно *тратить*), 'как летающее существо' (ср. *Время летит*), 'как человек' (ср. *Время торопит (не ждет)*) и т.п. (см. [13, с. 101 и сл.]) не допускались.

3. Язык, на котором фиксируется картина человека, – это в той или иной мере язык толкований; он считается наиболее ясным и формализованным языком современной семантики (о последней версии этого языка см. [14]).

4. Вся работа была предпринята с одной целью – подвести теоретический фунда-

* Данная работа стала возможной в результате присуждения автору премии Фонда А. Гумбольдта и приглашения на кафедру проф. П. Хельвига в Гейдельбергский университет. Автор благодарит коллег из Фонда и проф. П. Хельвига за идеальные условия работы. Автор считает своим приятным долгом поблагодарить также В.Ю. Апресян, М.Я. Гловинскую, Л.Л. Иомдина, Л.Н. Иорданскую и И.А. Мельчука, которые прочитали рукопись данной статьи и сделали ценные критические замечания, и участников семинара Н.Д. Арутюновой, на котором эта работа была доложена.

мент под системную лексикографию и, более конкретно, под новый объяснительный словарь синонимов русского языка (см. о нем [15–16], ср. также [17]), который составляется под руководством автора в Институте русского языка РАН. Главным понятием системной лексикографии является понятие лексикографического типа – группы лексем, имеющих хотя бы одно общее свойство (семантическое, прагматическое, коммуникативное, синтаксическое, сочетаемое, морфологическое, просодическое и т.п.), к которому обращаются одни и те же правила лингвистического описания ("грамматики" в широком смысле) и которое требует поэтому единообразного описания в словаре. Не имея возможности предложить перечень лексикографических типов для всего русского языка, мы решили начать эту работу с наиболее важного его участка, каким, безусловно, является лексика, описывающая человека.

В соответствии со сказанным в данной статье сначала рассматривается общая идея "наивной", или языковой картины мира (раздел 2). Затем предлагается реконструкция образа человека как важнейшего ее фрагмента (раздел 3) и дается более подробный разбор одной из восьми систем человека, а именно, его эмоциональной системы (раздел 4). В последнем, пятом разделе дается набросок общей схемы характеристики человека как основы системной лексикографии. На этом материале мы пытаемся продемонстрировать связь между положениями лингвистической теории и принципами описания лексикографических типов в толковых и синонимических словарях.

2. НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА

Не предпринимая экскурса в историю вопроса (В. Гумбольдт и неогумбольдтианство, американская этнолингвистика, гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа, теория семантических полей и т.п.), мы коротко охарактеризуем его современное состояние.

Исследование наивной картины мира идет в двух основных направлениях.

Во-первых, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты, своего рода лингво-культурные изоглоссы и пучки изоглосс (см., например, [18–25]). Это прежде всего "стереотипы" языкового и более широкого культурного сознания; ср. типично русские концепты *душа, тоска, судьба* [22], *задушевность, удаль, воля (вольная), поле (чистое), даль, авось* [23, с. 117 и сл.]. С другой стороны, это специфические коннотации неспецифичных концептов; ср., например, многократно описанную символику цветообозначений в разных культурах¹.

Во-вторых, ведется поиск и реконструкция присущего языку цельного, хотя и "наивного", донаучного взгляда на мир. Развивая метафору лингвистической географии, можно было бы сказать, что исследуются не отдельные изоглоссы или пучки изоглосс, а диалект в целом. Хотя национальная специфика и здесь учитывается со всей возможной полнотой, акцент ставится именно на цельной языковой картине мира. Ниже мы тезисно суммируем основные положения этого подхода, поскольку только он будет интересовать нас в дальнейшем.

1. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и

¹ В [26, с. 17] приводятся любопытные данные о различиях в культурных ассоциациях и реакциях на тот или иной цвет, экспериментально установленные при эксплуатации компьютеров с цветными экранами. Красный в США – опасность, во Франции – аристократия, в Египте – смерть, в Индии – жизнь и творчество, в Японии – гнев и опасность, в Китае – счастье, голубой в США – мужественность, во Франции – свобода и мир, в Египте – вера, добродетель и истина, в Японии – подлость, в Китае – небо и облака, зеленый в США – безопасность, во Франции – преступление, в Египте – плодородие и сила, в Индии – плодородие и процветание, в Японии – будущее, юность и энергия, в Китае – династия Мин, небо и облака, желтый в США – трусость, во Франции – временность, в Египте – счастье и процветание, в Индии – успех, в Японии – грация и благородство, в Китае – рождение, богатство и власть, белый в США – чистота, во Франции – нейтральность, в Египте – радость, в Индии – смерть и чистота, в Японии – смерть, в Китае – смерть и чистота. Эти культурные различия в реакциях на цвет настолько важны, что их приходится учитывать при конструировании экранов компьютеров, предназначенных для использования в различных обществах Запада и Востока.

организации (= концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Когда-то грамматические значения противопоставлялись лексическим как подлежащие обязательному выражению, независимо от того, важны они для существования конкретного сообщения или нет. В последние десятилетия было обнаружено, что многие элементы лексических значений тоже выражаются в обязательном порядке.

2. Свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков.

3. С другой стороны, он "наивен" в том смысле, что во многих существенных деталях отличается от научной картины мира. При этом наивные представления отнюдь не примитивны. Во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, например, наивные представления о внутреннем мире человека. Они отражают опыт интроспекции десятков поколений на протяжении многих тысячелетий и способны служить надежным проводником в этот мир.

4. В наивной картине мира можно выделить наивную геометрию, наивную физику пространства и времени (ср., например, вполне релятивистские, хотя и донаучные понятия пространства и времени говорящего и понятие наблюдателя – см. [27]), наивную этику, наивную психологию и т.п. Так, из анализа пар слов типа *хвалить* и *льстить*, *хвалить* и *хвалиться*, *обещать* и *сулить*, *смотреть* и *подсматривать*, *слушать* и *подслушивать*, *смеяться* (над кем-л.) и *глумиться*, *свидетель* и *соглядатай*, *любопытность* и *любопытство*, *распоряжаться* и *помыкать*, *предупредительный* и *подобострастный*, *гордиться* и *кичиться*, *критиковать* и *чернить*, *добиваться* и *домогаться*, *показывать* (свою храбрость) и *рисоваться* (своей храбростью), *жаловаться* и *ябедничать* и др. под. можно извлечь представление об основополагающих заповедях русской наивно-языковой этики. Вот некоторые из них: "нехорошо преследовать узкокорыстные цели" (*домогаться*, *льстить*, *сулить*); "нехорошо вторгаться в частную жизнь других людей" (*подсматривать*, *подслушивать*, *соглядатай*, *любопытство*); "нехорошо унижать достоинство других людей" (*помыкать*, *глумиться*); "нехорошо забывать о своих чести и достоинстве" (*пресмыкаться*, *подобострастный*); "нехорошо преувеличивать свои достоинства и чужие недостатки" (*хвастаться*, *рисоваться*, *кичиться*, *чернить*); "нехорошо рассказывать третьим лицам о том, что нам не нравится в поведении и поступках наших ближних" (*ябедничать*, *фискалить*); и т.п. Конечно, все эти заповеди – не более чем прописные истины, но любопытно, что они закреплены в значениях слов. Отражаются в языке и некоторые положительные заповеди наивной этики.

Сверхзадачей системной лексикографии является отражение воплощенной в данном языке наивной картины мира – наивной геометрии, физики, этики, психологии и т.д. Наивные представления каждой из этих областей не хаотичны, а образуют определенные системы и, тем самым, должны единообразно описываться в словаре. Для этого, вообще говоря, надо было бы сначала реконструировать по данным лексических и грамматических значений соответствующий фрагмент наивной картины мира. На практике, однако, в этом, как и в других подобных случаях, реконструкция и (лексикографическое) описание идут рука об руку и постоянно корректируют друг друга.

3. НАИВНАЯ КАРТИНА ЧЕЛОВЕКА

В основе предлагаемых ниже реконструкций лежит одна общая схема "состава" человека. Человек мыслится в русской языковой картине мира (только ею мы и занимаемся, хотя допускаем, что в ней много универсальных черт) прежде всего как динамичное, деятельное существо. Он выполняет три различных типа действий – физические, интеллектуальные и речевые. С другой стороны, ему свойственны опре-

деленные состояния – восприятие, желания, знания, мнения, эмоции и т.п. Наконец, он определенным образом реагирует на внешние или внутренние воздействия.

Каждым видом деятельности, каждым типом состояния, каждой реакцией ведаёт своя система. Она локализуется в определенном органе, который выполняет определенное действие, приходит в определенное состояние, формирует нужную реакцию. Иногда один и тот же орган обслуживает более одной системы, а одна система обслуживается несколькими органами. Любопытно, например, что в душе локализуются не только эмоции, но и некоторые желания.

Функционирование каждой системы в большинстве случаев описывается семантическим примитивом или – если система разбивается на подсистемы – примитивами.

Помимо этих систем в человеке независимо от них действуют определенные силы, или способности. Вообще говоря, в человеке, как и в другом живом организме, таких сил может быть несколько, но в обязательном порядке должны быть представлены по крайней мере две: одна приводит какую-то систему в действие, другая останавливает её.

Раздел 3.1 посвящен рассмотрению этих сил (способностей). В разделе 3.2 рассматриваются системы человека, а также особенности их устройства и функционирования.

3.1. Воля и совесть – приведение в действие и торможение

Стимулом к активному функционированию человека являются желания. Человек реализует их с помощью силы, которая называется *волей*²; воля, собственно, и есть способность приводить в исполнение свои желания. *Воля* в русской языковой картине ассоциируется с твердостью, натиском, непреклонностью, может быть, даже агрессивностью; ср. *сила воли, сильная (железная) воля, непреклонная (несгибаемая, непоколебимая) воля, всесокрушающая воля, воля к победе (к жизни, к подвигу), волевой напор, волевой человек, сильная личность* (человек, воля которого настолько сильна, что он может переломить ход событий).

Желания могут быть как разумными и моральными, так неразумными и аморальными: воля сама по себе вне морали, она может быть и *доброй* и *злой*. Поэтому действие воли уравнивается в человеке действием другой силы, которая называется *совестью*. Если желания и воля являются инициаторами деятельности человека, то совесть в русской языковой картине мира мыслится как нравственный тормоз, блокирующий реализацию его аморальных желаний или побуждений. Ср. *Совесть не позволяет (совестно) (делать что-л.), Если у него есть хоть капля совести, он этого не сделает, Совесть восстает (против чего-л.)*.

Вообще говоря, *совесть*, в отличие от *воли*, мыслится не только в образе силы, пусть потенциальной (т.е. способности). Она одновременно представляется и как некое существо внутри человека. Это – строгий внутренний судья (ср. *отвечать за что-л. перед своей совестью, быть чистым перед собственной совестью*), всегда нацеленный на добро, обладающий врожденным безошибочным чувством высшей справедливости и дающий человеку предписания (ср. *голос совести, веление совести*), непосредственно опирающиеся на представление о том, что в данной ситуации есть подлинное добро.

² Представление о воле как о силе (а не как об органе) заимствовано нами из давней, но очень интересной работы [9, с. 56–60], посвященной "лексике воли". Однако в некоторых существенных деталях наша картина "воли" отличается от предложенной Ю.К. Щегловым. У Ю.К. Щеглова есть понятие "аппарата воли", который состоит из разума, чувств, собственно воли и других органов, выполняющих некую программу поведения. Нам представляется, что скорее имеет место обратное соотношение: воля входит в "аппарат разума" (если, конечно, пользоваться этой метафорой). Кроме того, в картине, нарисованной Ю.К. Щегловым, не упоминается совесть, хотя она тоже принимает участие в формировании поведения человека как моральный регулятор.

Как всякий судья, *совесть* может наказывать или миловать. Если человек *слышит голос совести, прислушивается к нему, поступает по совести* (как подсказывает *совесть*), то наградой ему является *спокойная (чистая) совесть*. Если же он *не слышит голоса совести*, в угоду желаниям *заглушает его в себе, поступает против совести*, тогда *совесть* его наказывает: она его *мучит (не дает покоя, терзает, гложет)*, неправильный поступок *лежит тяжелым грузом на его совести*, он *испытывает угрызения (муки) совести* и т.п. *Совесть* – начало неистребимое, и если человеку удастся *заглушить в себе ее голос*, то через некоторое время она снова может *проснуться (пробудиться)* и *заговорить* в нем.

Замечательным свойством этого внутреннего судьи является его полнейшая беспристрастность: всем без исключения людям в одинаковых ситуациях *совесть* диктует одно и то же, единственно справедливое, решение. Этот внутренний голос парадоксальным образом оказывается и общим достоянием людей. Именно поэтому мы можем считать какого-то человека, известного своим нравственным бесстрашием, *нашей совестью*. По той же причине мы можем *вызывать к совести* другого человека: мы делаем это в уверенности, что в конечном счете он руководствуется теми же нравственными истинами, что и мы. *Совесть*, таким образом, выводит мировосприятие человека за пределы его собственных интересов и заставляет его взвешивать свои действия и действия других людей на весах высшей справедливости³.

Из сказанного следует, что *совесть* выступает как объединяющее и альтруистическое начало, между тем как *воля* – начало скорее обособливающее, эгоистическое и капризное; ср. *своеволие, волею судеб* ($\approx$ 'по прихоти случая', а также *воля* 2 ($\approx$ 'свобода, основывающаяся только на собственной воле')). С другой стороны, *совесть* – менее активное начало, чем *воля*. Она лишена того напора, который есть у *воли*. Поэтому-то и можно *заглушить ее голос и пойти на сделку с ней*.

Итак, главная функция *воли* – креативная, деятельная, а главная функция *совести* – сдерживающая, блокирующая. Разумеется, действуя по приказам сознания, *воля* может использоваться человеком и как тормозное или блокирующее устройство, с помощью которого человек сдерживает свои неразумные желания. С другой стороны, *совесть* может действовать как нравственный стимул, подталкивающий человека к активной защите справедливости, независимо от того, где он видит ее нарушение – в своих собственных мыслях и поступках или в мыслях и поступках других людей. Однако это – вторичные функции *воли* и *совести*.

Интересна асимметрия этих двух начал: добра в человеке, в соответствии с русской языковой картиной, в целом больше, чем зла, потому что по другую сторону от нейтральной *воли* нет антагонистичного *совести* злого начала.

³ Предложенная нами реконструкция, дающая целостный образ совести, основана исключительно на данных языка. Этот наивно-языковой образ оказывается неожиданно близким к понятию совести, развиваемому в русской религиозной философии. Ср. "Наряду со всем тем, что человек сам *хочет* и *может*, наряду со всеми стремлениями, вытекающими из эмпирической природы человека и ее составляющими, на человека действует идеальная сила *должного*, голос совести – призыв, который он испытывает как исходящий из высшей, превосходящей его эмпирическую природу и ее преобразующей инстанции; и только в исполнении этого призыва, в выходе за пределы своего эмпирического существа; человек видит подлинное осуществление своего назначения, своего истинного внутреннего существа" [28, с. 331–332]. Ср. принципиально иную реконструкцию концепта 'совести', по данным языка и художественных текстов, в [1, с. 95–97]: "представление о совести как о когитистом и острозубом существе, находящемся во вражде с желаниями и чувствами человека", "маленький грызун", образ совести как "докучного собеседника", "образ совести как врага, преследователя и мучителя человека", "представление о совести как о некоторой поверхности, своего рода *tabula rasa*", со следующим выводом: "Очевидно, что сочетаемость слова *совесть* не моделируется на основе целостного представления. Она возникает путем объединения и скрещивания ряда несовместимых с точки зрения естественных законов мироздания образов" (стр. 97). Отметим национальную специфичность концепта совести. Похожий концепт есть в немецком языке (*Gewissen*), но, например, не в английском или французском: *conscience* обозначает нечто среднее между 'совестью' и 'сознательностью'.

3.2. Основные системы человека

Ниже мы назовем основные системы, из которых складывается человек; органы, в которых они локализируются, в которых разыгрываются определенные состояния и которые выполняют определенные действия; и семантические примитивы, соответствующие этим системам, органам, состояниям или действиям. Отметим, что почти все наши примитивы, за исключением 'воспринимать' (см. [38, с. 102 и сл.]), имеют прямые соответствия в списке А. Вежбицкой (см. [4, с. 10]); о примитивах как они понимаются в данной работе см. [14].

1) Физическое восприятие (*зрение, слух, обоняние, вкус, осязание*). Они локализируются в органах восприятия (*глаза, уши, нос, язык 1, кожа*). Семантический примитив – 'воспринимать'.

2) Физиологические состояния (*голод, жажда, желание* = 'плотское влечение', *большая и малая нужда, боль* и т.п.). Они локализируются в разных частях *тела*. Семантический примитив – 'ощущать'.

3) Физиологические реакции на разного рода внешние и внутренние воздействия (*бледность, холод, мурашки, краска, жар, пот, сердцебиение, гримаса отвращения* и т.п.). Реагируют различные части тела (*лицо, сердце, горло*) или *тело* в целом. Семантического примитива нет. В частности, смысл 'реагировать' не может претендовать на эту роль, поскольку безусловно может быть представлен через следующие более простые смыслы: 'А реагирует на В' $\approx$ 'Фактор В в момент t_1 воздействовал на организм А [пресуппозиция]; А воспринял это воздействие и в момент t_2 , более поздний, чем t_1 , каким-то образом изменил свои свойства или поведение; факт восприятия воздействия был единственной причиной изменения в свойствах или поведении А'.

4) Физические действия и деятельность (*работать, отдыхать, идти, стоять, лежать, бросать, рисовать, ткать, рубить, резать, колоть, ломать* и т.п.). Они выполняются *конечностями* и *телом*. Семантический примитив – 'делать'.

5) Желания (*хотеть, стремиться, подмывать, не терпеться, воздерживаться, вынуждать, искушать, соблазнять, предпочитать* и т.п.). Они локализируются либо в *теле*, либо в *душе*. В теле локализируются первичные, простейшие желания, связанные с удовлетворением физиологических потребностей; ср. *хотеть есть* (*пить, спать*). По-видимому, они являются общими для человека и животных. В душе локализируются окультуренные желания, связанные с удовлетворением духовных потребностей; ср. *В душе ей хотелось какой-то необыкновенной любви; От всей души желаю, чтобы они [праздники] скорее кончились* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Последние, составляющие безусловное большинство желаний, реализуются с помощью *воли*, деятельность которой корректируется *совестью*. Семантический примитив – 'хотеть'.

6) Мышление, интеллектуальная деятельность (*воображать, представлять; считать, полагать; понимать, осознавать; интуиция, озарение; доходить, осеять; знать, ведать; верить; догадываться, подозревать; помнить, запоминать, вспоминать, забывать; и т.п.*). Интеллектуальная деятельность локализуется в *сознании* (*уме, голове*) и выполняется ими же. Семантические примитивы – 'знать', 'считать' и, может быть, еще некоторые. *Понимать* и *верить* – не примитивы; толкования этих глаголов см. в [14].

7) Эмоции (*бояться, радоваться, сердиться, любить, ненавидеть, надеяться, отчаиваться* и т.п.). Они тоже делятся на первичные, общие для человека и животных (*страх, ярость*), и окультуренные (*надежда, отчаяние, удивление, возмущение, восхищение* и т.п.). У человека все эмоции локализируются в *душе, сердце* или в *груди*. Семантический примитив – 'чувствовать'.

8) Речь (*сообщать, обещать, просить, требовать, приказывать, запрещать, предупреждать, советовать, объявлять, ругать, хвалить, хвастаться, жаловаться* и т.п.). Она обслуживается языком 2. Семантический примитив – ‘говорить (кому-то, что Р)’. Попытки истолковать этот глагол в указанном значении, как кажется, приводят к кругу⁴.

Структура и функционирование перечисленных систем имеет следующие особенности: каждая система имеет определенную внутреннюю организацию (3.2.1); системы образуют иерархию (3.2.2); органы этих систем тоже образуют иерархию (3.2.3); системы взаимодействуют друг с другом (3.2.4); системы разбиваются на подсистемы (3.2.5); с другой стороны, они объединяются в более крупные классы и подклассы на основе принципа дублирования (3.2.6).

3.2.1. Внутренняя организация систем

Из-за ограниченности места мы сумеем рассмотреть этот вопрос на примере только одной системы – восприятия. Наш выбор определяется, во-первых, относительной простотой этой системы и, во-вторых, тем, что она достаточно хорошо организована и дает возможность продемонстрировать внутреннюю связь между тем или иным способом концептуализации действительности и лексикографическим типом (ЛГТ).

Первичная ситуация восприятия включает двух основных участников. Первый – тот, кто воспринимает, второй – то, что воспринимается. Поэтому можно предсказать существование по крайней мере двух серий глаголов (или других предикатных слов), называющих состояния первого и второго актантов ситуации восприятия соответственно. Одну образуют глаголы, первая семантическая валентность которых заполняется именем субъекта восприятия, а вторая – именем воспринимаемого объекта, ср. *Из траншеи мы видели узкую полосу берега*⁵. Другую образуют конверсные им глаголы или глагольные выражения, первая семантическая валентность которых заполняется именем воспринимаемого объекта, а вторая – именем субъекта восприятия; ср. *Из траншеи нам была видна узкая полоска берега*.

Субъект восприятия может не только пассивно воспринимать какой-то объект, но и активно использовать соответствующий орган восприятия для того, чтобы получить нужную информацию о мире. Поэтому в принципе возможна еще одна серия глаголов – типа *смотреть*. В результате получается тернарная оппозиция смыслов:

⁴ Ср., например, следующее толкование: X *говорит* 1 Y – у Z = ‘Человек X произносит созданный им текст, содержащий смысл Z, для того, чтобы Y воспринял смысл Z’ [29, с. 71]. Если *текст* в этом толковании – слово метаязыка, то в его значение должно входить указание на язык: *текст* – это прежде всего последовательность знаков на каком-то языке. *Язык* в свою очередь должен быть определен как средство, с помощью которого люди *говорят* 2 друг с другом. Наконец, двунаправленный процесс обмена репликами (*говорить* друг с другом) естественно определить через более простой, однонаправленный процесс сообщения своих мыслей собеседнику, т.е. через *говорить* 1. Получается круг. С другой стороны, можно допустить, что *текст* в составе этого толкования – лексема русского языка, обозначающая ‘то, что написано’. Но и тогда через один-два шага в нем откроется тот же смысл ‘говорить 1’: то, что написано, – это другая, культурно более сложная форма того, что могло бы быть сказано 1.

⁵ Субъект состояния (ср. *Охотник видит лису, Он боится этого человека*), события (ср. *Он поскользнулся и упал*), процесса (ср. *Он долго болел, Он выздоровел*) и т.п. иногда называется объектом. Так, по мнению О. Есперсена, в примере *Он боится этого человека* “грамматический именительный падеж обозначает предмет, подвергающийся действию, а винительный падеж – источник воздействия” [30, с. 179]. Ср. похожие мысли в [31–32] и других современных работах. Строго говоря, объекта ни в одном из этих случаев нет, потому что нет воздействия какой-либо силы на человека. На самом деле для описания семантических ролей актантов в рассматриваемом круге ситуаций надо иметь четыре разных понятия: агенса (активного деятеля), субъекта (пассивного испытывателя), объекта (того, что испытывает реальное воздействие) и предмета (того, что просто находится в фокусе внимания субъекта или агенса, ср. *видеть картину, уважать старших, смотреть на картину, Пальто стоит 500 рублей*). В этой работе, однако мы не можем предпринять такой глубокой ревизии семантических ролей и поэтому пользуемся более или менее традиционными обозначениями.

‘воспринимать’ – ‘восприниматься’ – ‘использовать способность восприятия’. В принципе можно допустить необходимость четвертой серии глаголов, обозначающих активное воздействие объекта на орган чувства; ср. *бросаться в глаза* для зрения, *доноситься* для слуха, *шибать (в нос)* для обоняния. Однако эта серия во всех отношениях менее регулярна, чем первые три, и мы ее пока не включаем в рассмотрение.

Поскольку есть пять подсистем восприятия (*зрение, слух, обоняние, вкус, осязание*), каждая из которых в идеале должна обслуживаться тройкой глаголов (не считая, конечно, их синонимов), восприятие в целом может быть представлено таблицей (семантической парадигмой) $3 \times 5 = 15$. Она-то и задает основной ЛТ в сфере лексики восприятия.

В русском языке этот ЛТ представлен следующими пятью тройками: *видеть – быть видным (кому-л.) – смотреть, слышать – быть слышимым (кому-л.) – слушать, обонять (чуть) – пахнуть – нюхать, ощущать вкус – быть на вкус* (ср. *На вкус ничего, но пахнет неважно*) – *пробовать, осязать – быть на ощупь – ощупывать*. Ср. *Когда же мальчик ощупывал его лицо, то ощущал своими чуткими пальцами его глубокие морщины* (В.Г. Короленко, Дети подземелья).

Одна из особенностей этого ЛТ состоит в том, что клетки таблицы далеко не всегда заполняются единообразно. В принципе все 15 клеток должны были бы обслуживаться глаголами. Однако в русском языке так обстоит дело только с обонянием (см. выше), да и то для понятия ‘воспринимать носом’ нет нейтрального слова: одно (*обонять*) чересчур научное, а другое (*чуть*) – чересчур просторечное. Хуже всего обслужена глаголами серия ‘восприниматься’ – в ней есть только один глагол (*пахнуть*).

В русском языке все клетки семантической парадигмы, для которых отсутствуют однословные выражения, заполняются свободными или полусвободными словосочетаниями. Чтобы понять ее своеобразие, полезно сопоставить ее с соответствующей парадигмой английского языка. Там нехватка словесного материала для заполнения всех клеток таблицы компенсируется не столько за счет словосочетаний, сколько за счет многозначности. Ср. *to see – to be visible – to look* для зрения, *to hear – to sound – to listen* для слуха, *to smell – to smell – to smell* для обоняния (ср. *I can smell apples – Apples smell good – He bent over to smell a flower*), *to taste – to taste – to taste* для вкуса (ср. *I can taste something very spicy in the food – The meat tastes delicious – He raised the glass to his mouth to taste the wine*), *to feel – to feel – to feel* для осязания (ср. *I could feel the rough surface of the table – The water feels warm – Feel the bump on my head*).

Не имея возможности охарактеризовать этот сложный ЛТ целиком, назовем некоторые особенности глаголов основной серии (*видеть, слышать, обонять, осязать*). а) Они принадлежат к классу стативов и имеют все характерные для стативов морфологические, синтаксические и семантические проявления (см. о них [14]), которые, естественно, в той или иной форме должны быть отражены в словаре. б) Они обладают свойством полуфактивности, в частности, способностью нести главное фразовое ударение и способностью управлять предложениями, вводимыми относительными союзными словами типа *кто, что, где, куда, откуда, когда, сколько, как* и т.п. Ср. *Я видел, кто открыл дверь* (что он принес, куда он пошел, где приземлился самолет, сколько вина он выпил); *Я слышал, кто его звал* (что он говорил, откуда донесся звук, как он на тебя кричал). Любопытно, что разнообразие способов введения придаточного предложения падает при переходе от *видеть* к *слышать* и от *слышать* к *обонять, осязать*. в) Они обладают способностью управлять предложениями, вводимыми союзами *что* и *как*, с характерным для этих союзов противопоставлением события (факта) и действия. К тому, что наблюдается на эту тему Н.Д. Арутюновой (см. [2, с. 115–117]), надо добавить, что первый союз описывает событие, даже если глагол придаточного предложения имеет форму НЕСОВ; ср. *Я видел, что он переходил на ту сторону улицы* (фиксируется только факт перехода). Второй союз описывает процесс, даже если глагол придаточного предложения имеет

форму СОВ; ср. *Я видел, как он перешел на ту сторону улицы* (фиксируются, даже в форме СОВ, какие-то фазы процесса пересечения улицы).

Все указанные и многие другие особенности глаголов восприятия должны быть приняты во внимание, чтобы получилось единообразное описание данного ЛТ в словаре.

3.2.2. Иерархия систем

Указанные восемь систем иерархизованы по сложности (именно в порядке нарастания сложности они перечислены выше). Самой простой является восприятие: оно объединяет человека со всей остальной живой природой. В частности, даже растения воспринимают такие факторы, как свет и тепло, потому что они на них реагируют. Самой сложной является речь: она отличает человека от всей остальной живой природы.

Лингвистически относительная сложность системы определяется несколькими факторами.

Первый фактор – число лексем и грамматических единиц, которые ее обслуживают. Чем оно больше, тем сложнее система. Точными данными на этот счет мы не располагаем, но априорным лингвистическим оценкам предложенный выше порядок систем более или менее соответствует. Единственное исключение составляет система физических действий, лексика которой по богатству превосходит все другие системы. Однако четыре "духовные" системы (желания, интеллектуальная деятельность, эмоции и речь) намного превосходят систему физических действий по числу обслуживающих их грамматических единиц. Ср. дейктические морфологические категории (например, глагольное время, исчисляемое относительно момента *р е ч и*), а также такие синтаксические конструкции, как императив и опитатив (желания), условные и ирреальные предложения (интеллект), многочисленные экспрессивные конструкции малого синтаксиса (желания и эмоции), вводные конструкции (в их значение всегда входит представление о говорящем и, следовательно, о речи).

Во-вторых, сложность системы C_i относительно системы C_j определяется числом принадлежащих C_i лексем, в толкование которых входят единицы системы C_j . Чем больше число таких единиц, тем C_i сложнее относительно C_j . В этом отношении эмоции и речь существенно сложнее, чем, например, восприятие и даже желания, потому что в толковании большинства эмоциональных состояний и речевых актов присутствуют ссылки на восприятие и желания, между тем как обратное неверно.

В-третьих, сложность системы определяется ролью ее понятий в организации высказывания. В этом отношении у речи нет конкурентов. Достаточно указать на центральную роль говорящего как фигуры, организующей дейктическое пространство высказывания⁶.

3.2.3. Иерархия органов

Органы этих систем тоже иерархизованы, но по другому признаку, а именно, по их роли в организации поведения человека. Вершиной иерархии является сознание (ум). В наивной картине мира именно ему отводится ключевая роль регулятора физического, эмоционального и речевого поведения человека. Именно оно, с помощью сил воли и совести, держит поведение человека в пределах нормы, даже когда другие его

⁶ Об исключительной сложности речи свидетельствует сама семантическая структура речевых актов как она описана, например, в работах [3, 33]. В частности, именно этот материал дал основание для выделения такого важного нового компонента смысла, как мотивировки (наряду с пресуппозициями и ассерциями). Мотивировку можно определить как объяснение того, для чего предпринимается данный речевой акт. Она связывает ассерцию в качестве результата с одной из пресуппозиций в качестве причины речевого акта. По-видимому, мотивировки должны включаться в толкование всех лексем, обозначающих достаточно сложные целесообразные акты, не обязательно речевые.

системы работают с повышенным или предельным напряжением. Сознание – это следящее устройство, способное со стороны наблюдать за поведением человека (ср. *видеть себя со стороны*, *Попытайся посмотреть на себя со стороны*). Если, например, сознание обнаруживает в поведении признаки неразумности, оно отдает распоряжение воле, которая возвращает поведение к норме (конечно, при условии, что воля еще способна действовать эффективно). Ср. *Он понял, что боится, и усилием воли попытался подавить свой страх*.

↑ Сказанное можно подтвердить и такими парами лексических единиц, как *исступление* и *возбуждение*, *экстаз* и *восторг*, *паника* и *страх*, *потерять голову* и *растеряться*, *взорвать(ся)* и *возмутить(ся)*. В существующих толковых словарях различия между ними часто сводятся к различию в степени интенсивности: *исступление* = ‘крайняя степень возбуждения’, *экстаз* = ‘исступленно-восторженное состояние’, *потерять голову* = ‘совершенно растеряться’ и т.п. На самом деле левые элементы всех этих пар отличаются от правых не только указанием на большую интенсивность процесса или состояния. Важно еще и то, что внутреннее состояние человека в своем развитии достигает такой степени интенсивности, что поведение субъекта полностью выходит из-под контроля его сознания и перестает управляться его волей. Ср., в отличие от этого, пару *ярость* – *гнев* (*Он с трудом сдерживал свою ярость (свой гнев)*), где первая эмоция действительно отличается от второй предельной степенью интенсивности, но не потерей контроля над поведением.

Указанный семантический компонент, повторяющийся в значениях лексических единиц *исступление*, *экстаз*, *паника*, *терять голову*, *взорвать(ся)*, оказывается, таким образом, достаточно регулярным (системным). Следовательно, представление о потере контроля над поведением как естественном пределе в развитии некоторых внутренних состояний действительно свойственно наивной картине человеческой психики.

В пользу этого свидетельствует и то обстоятельство, что похожая семантическая оппозиция обнаруживается в области так называемой симптоматической лексики – выражений, описывающих внешние проявления эмоциональных состояний человека. Ср. такие серии слов, как *оцепенеть (от страха)*, *остолбенеть (от удивления)*, *окаменеть (от ужаса)*, с одной стороны, и *замереть (от сладкого ожидания)*, *замереть (в восхищении перед картиной)*, с другой. Последний глагол значит ‘стать совершенно неподвижным’, причем не сообщается, теряет ли субъект контроль над своим поведением или нет. Реакция может быть более или менее спонтанной, а вне сочетаний с названиями эмоций – и полностью контролируемой; ср. *Увидев оленя, охотник замер*. Что же касается первых трех глаголов, то они значат не просто ‘замереть под влиянием какого-л. сильного чувства’, как считают некоторые словари. *Оцепенеть*, например, – это стать неподвижным в результате паралича воли, который наступает в результате ее выхода из-под контроля сознания, что в свою очередь объясняется исключительно сильным страхом, испытанным субъектом. Ср. *Что с ним [артистом П. Селивановым, который в присутствии Сталина от испуга не смог исполнить свою арию] творилось – конечно, и вообразить невозможно, удивительно, как он не умер тут же на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели* (Г. Вишневская, Галина). Заслуживает упоминания и глагол *застыть*, занимающий промежуточное положение между *замереть* и *оцепенеть*; ср. *Он в восхищении застыл перед картиной*.

Указание на потерю контроля над поведением в результате шока, чрезмерной физической активности и т.п. входит в значение многих других слов и выражений; ср. *потеря самообладания*, *неистовство*, *конвульсии*, *прострация*, *транс*, *ступор*.

3.2.4. Взаимодействие систем

Разные системы и подсистемы человека в разной мере автономны и в разной мере взаимодействуют друг с другом. Чем проще система, тем она более автономна. Чем сложнее система, тем она менее автономна, т.е. тем больше число других систем, которые она активизирует или данными которых пользуется.

Наиболее автономно восприятие. Чистое восприятие происходит само собой, независимо от деятельности других систем. Действительно, можно *видеть* или *слышать что-л.*, находясь при этом в совершенно неподвижном состоянии, ничего не желая, не думая, не чувствуя и не говоря. Исключения составляют те случаи, когда мы хотим что-то воспринять и актом воли приводим соответствующий орган в такое положение, когда восприятие с его помощью становится возможно; ср. *смотреть, слушать, нюхать, пробовать, щупать*.

Менее автономны физическая деятельность и желания. Можно, конечно, *стоять где-л., идти куда-л.* или *хотеть чего-л.* молча и не испытывая никаких эмоций. Существуют, однако, более сложные виды физической деятельности, особенно целенаправленной (*строить мост, ждать кого-л., решать задачу* и т.п.), невозможные без участия желаний, поскольку именно они лежат в основе целей и мотивировок. Что же касается самих желаний, то даже простейшие из них могут быть основаны на показаниях каких-то органов чувств; *хотеть есть*, например, – это ощущать (телом) потребность в еде.

Еще менее автономна деятельность сознания. Она невозможна без восприятия каких-то фактов как отправной точки для процессов мышления. Кроме того, некоторые интеллектуальные процессы и состояния предполагают деятельность воли. Особенно интересны в этом отношении мнения. Прототипические мнения предполагают предшествующий акт воли, которым они направляются в сознание и конституируются как мнения. Ср. *Следователь счел, что собранных улик достаточно* (актом воли мысль переводится в разряд мнений, которые человек готов защищать как истинные) и *Следователь подумал, что собранных улик достаточно* (в сознании человека без участия его воли возникает некое предположение). Подробнее о *считать* и *думать* см. [11, с. 867, 34–36].

Наименее автономны эмоции и речь; они же в наибольшей степени взаимодействуют с другими системами человека.

Возникновению эмоции в большинстве случаев предшествует восприятие или интеллектуальное созерцание какого-то положения вещей и его интеллектуальная оценка как плохого или хорошего для субъекта, вероятного или маловероятного и т.п. Напомним в этой связи следующее предложенное еще Б. Спинозой описание *надежды, страха, уверенности и отчаяния*: "Если мы знаем о будущей вещи, что она хороша и что она может случиться, то вследствие этого душа принимает форму, которую мы называем надеждой... С другой стороны, если полагаем, что могущая наступить вещь дурна, то возникает форма души, которую мы называем страхом. Если же мы считаем, что вещь хороша и наступит с необходимостью, то в душе возникает покой, называемый нами уверенностью... Когда же мы считаем, что вещь дурна и наступит с необходимостью, то в душе возникает отчаяние" [37, с. 128–129]. Факультативно в проявлениях эмоций могут участвовать физиологические реакции (ср. *побагроветь от гнева (от ярости)*), физические действия (ср. *прыгать от радости*) и речь (ср. *громко восторгаться*).

Основные речевые акты в обязательном порядке предполагают параллельное действие по крайней мере трех других систем – интеллекта, желаний и физической деятельности. Действительно, большинству речевых актов предшествует некое мнение говорящего об информационном состоянии слушающего. Кроме того, всякий речевой акт предполагает мотивировку – объяснение того, почему говорящий хочет изменить определенным образом знания слушающего. Наконец, всякий речевой акт

представляет собою разновидность физической деятельности – по той банальной причине, что неотъемлемым компонентом устной речи является работа артикуляционных органов. Кроме того, очень многие речевые акты диктуются разного рода эмоциями (ср. *умолять, клеймить, бахвалиться, скулить* в значении ‘жаловаться’ и т.п.) или желанием вызвать определенные эмоции у адресата (*стыдить, умолять, упрекать* и т.п.). Подробнее об описанных аспектах речевых актов см. [3, 33].

3.2.5. Система и ее подсистемы

Каждая система в свою очередь разбивается на ряд подсистем. Ср. *зрение, слух, обоняние* и т.п. в составе восприятия; *знание, веру, уверенность, понимание, мнение, воображение, память* и ряд других в составе интеллекта; различные речевые акты в составе речи.

Эти подсистемы могут обслуживаться своими органами; так, подсистема *памяти* (ср. *зрительная <слуховая> память, образная память, цепкая <фотографическая> память, короткая <девичья> память, Память сдает* и т.п.) обслуживается органом, который тоже называется *памятью* (ср. *врезаться в память, хранить в памяти, восстановить в памяти, извлечь из памяти* и т.п.; подробнее см. [11, с. 559 и сл.]; та же идея развивается в неопубликованной работе Е.В. Урысон).

Подсистемы внутри одной системы тоже иногда образуют иерархию. Покажем это на примере системы восприятия, подсистемы которой упорядочиваются по важности в зависимости от объема информации, поступающей через них в сознание человека. С этой точки зрения главной подсистемой все исследователи считают *зрение*. За ней следует *слух*, а затем *обоняние, вкус и осязание*, хотя относительный порядок трех последних подсистем не столь очевиден и отчетлив, как двух первых.

Можно привести два аргумента в пользу того, что этот принцип упорядочения не навязывается языку извне, в угоду каким-то посторонним логическим соображениям, а вытекает непосредственно из языковых данных и происходящих в языке процессов.

Прежде всего, место той или иной подсистемы в иерархии, в соответствии с уже упоминавшимся принципом, прямо зависит от обслуживающего ее числа лексем. Очевидно, что наиболее разнообразна и богата лексика, обслуживающая *зрительное* восприятие. За ней, существенно уступая ей в объеме, следует лексика *слуха*. *Обоняние, вкус и осязание*, по числу обслуживающих их лексем уступающие *слуху*, друг от друга отличаются не столь заметно. Поэтому для их упорядочения необходимо привлечь второй чисто лингвистический аргумент – происходящие в языке процессы метафоризации.

Еще в начале 50-х годов С. Ульман [39] сформулировал следующую статистическую закономерность: около 80% интерсенсорных (кинэстетических) метафорических переносов происходят строго в направлении от нижних уровней иерархии восприятия к ее верхним уровням, и только немногим более 20% переносов разворачиваются в противоположном направлении. Это значит, что метафоры типа *теплые <холодные> краски, мягкие тона, колючий взгляд, теплый <холодный> голос, жесткие звуки, кричаще одета, глухие тона, сладкие речи, острые звуки, сладкий <солёный, кислый, горький> запах, острые запахи, острые приправы <блюда>, мягкий вкус* и т.п. гораздо более вероятны (и естественны), чем метафоры типа *тусклый звук, носатый голос* (З. Шаховская, Отражения), *яркие <тусклые> запахи, красные звуки, глухие запахи, сладкая на ощупь ткань* и т.п. Из сказанного следует, что именно *зрительное* и, в несколько меньшей степени, *слуховое* восприятие нуждается во все новых и новых выразительных средствах. Словарь именно этих систем обслуживает наибольшее число коммуникативных ситуаций и скорее всего изнашивается от постоянного употребления.

Сказанное прямо связано и с антропоцентричностью языка: человек различает большее количество зрительных и слуховых образов (последнее, видимо, из-за устности языка), чем любое другое живое существо. Наоборот, его обоняние гораздо менее развито, чем, скажем, у собак, которые различают, как известно, до 300 тысяч запахов. С меньшей остротой обоняния и связана относительная бедность соответствующего класса лексем. В "каницентрическом" языке, будь он возможен, первое место в иерархии занимало бы *обоняние*.

3.2.6 Классы и подклассы систем

Названные в разделе 3.2 системы по разным признакам сближаются, а иногда даже объединяются в более крупные классы. Два наиболее крупных класса – системы, связанные преимущественно с деятельностью человеческого *тела* (первые четыре), и системы, связанные преимущественно с деятельностью человеческого *духа* (последние четыре).

С другой стороны, определенные телесные системы сближаются с определенными духовными системами⁷, так что каждая телесная система отражается, дублируется, копируется в парной к ней духовной системе, и наоборот. Восприятию соответствуют интеллектуальные состояния и деятельность, физиологическим состоянием (потребностям) – желания, физиологическим реакциям – эмоции, физическим действиям – речь.

Принцип парности телесных и духовных систем прямо вытекает из характерной для наивной картины мира (и не только для нее) и давно замеченной дихотомии "тело" – "дух" (ср. ее разновидность "тело" – "душа").

Лингвистически такие сближения, при всей неодинаковости их оснований в разных случаях, интересны тем, что позволяют увидеть глубинное сходство внешне разнородных лексических единиц и создают тем самым дополнительную основу для систематизации и унификации их семантических описаний. Подтвердим это материалом четырех указанных выше парных классов.

1) Восприятие и интеллект. В наивной, как и в научной картине мира, через систему восприятия человек получает всю ту информацию, которая направляется на обработку в сознание и на основании которой человек осмысляет действительность, получает знания, вырабатывает мнения, планирует свои действия и т.п. Было давно замечено, что восприятие и мышление настолько уподобляются друг другу и настолько прорастают друг в друга, что основным глаголом восприятия – *видеть* – развивает главные ментальные значения (см., например, [2, с. 110 и сл.] и [40]). Мы перечислим все ментальные значения этого глагола, развившиеся в русском языке, и покажем, что аналогичные значения или употребления есть и у второго главного перцептивного глагола – *слышать*.

У глагола *видеть* можно выделить следующие четыре ментальных значения: 1) 'представлять' (*Я вижу, точно это было вчера, как мы бежим по косогору*); 2) 'считать' (*Не вижу в этом ничего дурного; Многие воздерживались от художественного и философского творчества, так как считали это делом безнравственным с точки зрения интересов народа, видели в этом измену народному благу* (Н.А. Бердяев, *Философская истина и интеллигентская правда*)); этот перенос хорошо представлен и в гнезде со смыслом 'смотреть', ср. *рассматривать этот демарш как проявление слабости, усматривать в чем-л. состав преступления* и т.п.; 3) 'понимать' (*Вы видите (ср. понимаете) свою ошибку?*); 4) 'знать' (*не видеть путей выхода из кризиса*).

⁷ Ср. следующее замечание Н.Д. Арутюновой: «Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего, материального мира, основным источником психологической лексики является лексика "физическая", используемая во вторичных, метафорических смыслах» [1, с. 95].

Аналогичные ментальные значения или употребления можно усмотреть и у глагола *слышать*, хотя в нем они в меньшей степени освобождены от своих телесных оболочек и ассоциаций: 1) 'представлять' (ср. *Глядящий на эту картину ["Футболист"] уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря* (В. Набоков, Дар)); 2) 'считать' (*В ваших словах я слышу скрытую угрозу* = 'Восприняв ваши слова, я считаю, что в них содержится скрытая угроза'); 3) 'понимать' (*Да не собирается он вас увольнять, слышите?*); 4) 'знать' (*Я слышал от кого-то, что матч отложен*).

Ср. также ментальные значения глаголов *чуять* 'подозревать' (*Чую, что он затевает что-то недоброе*), *ощущать* 'понимать' (*Я ощущаю некоторую неловкость этой ситуации*) и т.п.

2) Физиологические состояния и желания. Выше уже было сказано, что есть два типа желаний – простейшие, связанные с удовлетворением физиологических потребностей тела (ср. *голод* = 'ощущение желания есть', *жажда* = 'ощущение желания пить'), и более сложные, связанные с удовлетворением духовных потребностей (ср. *хотеть попасть на выставку <учиться в Сорбонне>, мечтать о подвиге*). В первом случае человек ощущает, что недостает чего-то важного для его телесного комфорта, во втором – что недостает чего-то важного для его духовного комфорта. Поэтому, в соответствии с общей закономерностью метафорических переносов, которые разворачиваются в направлении от конкретного к абстрактному, у слов, обозначающих телесные потребности (*голод, жажда*), регулярно развиваются значения интеллектуальной или другой духовной потребности. Ср. *духовный голод, жажда знаний <работы>, мудрая жажда красоты, жаждать подвига*.

3) Физиологические реакции и эмоции. Физиологические состояния типа *бледность, сердцебиение, пот* являются реакциями тела на внешние или внутренние раздражители. Эмоции тоже являются реакциями, а именно, реакциями души на внешние и внутренние воздействия. На этой основе происходит глубокое уподобление эмоций и состояний тела (см. об этом [41]). Например, в состоянии страха душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает его тело, когда ему холодно, а его тело реагирует на страх, как на холод [41, с. 34]; ср. *дрожать от страха <от холода>, Мурашки бегут по спине от страха <от холода>, оцепенеть от страха <от холода>, Страх <холод> сковал его тело* и т.п.

Их подобие имеет и другой, более фундаментальный аспект: такие физиологические состояния, как *голод, жажда, сон* и т.п., всегда имеют причину – отсутствие еды, питья, сна в течение какого-то времени. Равным образом имеют причину и эмоции. Следовательно, в системном описании тех и других в обязательном порядке должно фигурировать указание причины, которая вызывает соответствующее физиологическое состояние или соответствующую эмоцию.

4) Физические и речевые действия. Подобие между ними основано главным образом на том, что и те, и другие суть разновидности целесообразной деятельности, а всякая целесообразная деятельность имеет мотивировку. Мы едем на машине в город, потому что хотим сделать что-то в городе; Мы катаемся на велосипеде, потому что хотим получить удовольствие от самой езды; Мы просим соседа о чем-л., потому что хотим, чтобы он сделал нечто; Мы советуем своему другу что-то, потому что хотим ему добра (последняя формулировка – из [33, с. 184]). Указание мотивировки в семантическом описании физической и речевой деятельности – такое же обязательное условие, как указание причины в описании физиологических реакций и эмоций.

Принцип парности (дублирования, копирования) в той или иной мере действует не только на уровне систем, но и на более глубоко лежащем уровне подсистем. Так, в системе восприятия более "низкая" подсистема вкуса метафорически проецируется на иерархически более высокую подсистему обоняния. В сущности, у подсистемы обоняния нет своей собственной номенклатуры. Для обозначения элементарных запахов

используется метафорически переосмысленная номенклатура элементарных вкусов; ср. *сладкий* <горький, кислый, соленый> *запах*. Более сложные запахи, особенно *острые*, обозначаются либо с помощью соответствующих вкусовых терминов (ср. *терпкий* <пряный> *запах*, *приторный запах*), либо через отсылку к предмету с характерным запахом (ср. *грибной запах*, *запах горького миндаля*, *хвойный запах* и т.п.). Собственно "обонятельными", не заимствованными, являются только оценочные прилагательные типа *вонючий, ароматный, душистый* и т.п. Ср. похожие соображения в другом теоретическом контексте в [2] и [23, с. 44–45].

4. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Это – одна из самых сложных систем человека (сложнее эмоций, по-видимому, только речь), поскольку в возникновении, развитии и проявлении эмоций принимают участие практически все остальные системы человека – восприятие, физиологические реакции, интеллект, физические системы (в частности, разнообразная моторика, включая мимику) и даже речь. Эмоции весьма основательно изучены в лингвистическом, психологическом и физиологическом аспектах, причем результаты, полученные разными методами, обнаруживают большую степень согласия; см. [1, с. 93 и сл., 2, с. 129 и сл., 4–6, 11, 15, 17, 22, 42, с. 39 и сл., 43, с. 67–70, 44, с. 142–157, 45–63] и многие другие работы.

Мы ограничимся чисто лингвистическим разбором немногих фактов русского языка, но подчеркнем, что в самых разных европейских языках эмоциональная лексика имеет много сходных черт, а ее описание требует сходных лексикографических решений. В даваемом ниже описании использованы материал и идеи из ранее опубликованной работы [15], но и то, и другое существенно расширено и уточнено.

К базовой лексике этого рода относятся глагольные синонимические ряды *беспокоиться, бояться, сердиться, стыдиться, гордиться, удивляться, восхищаться, любить, надеяться, радоваться, грустить*, и многие другие; ряды соответствующих существительных, прилагательных и наречий (*беспокойство, радость, рад, тревожно, с тревогой, в тревоге, боязно, со страхом, в страхе*) и т.д.

Помимо этой базовой лексики необходимо принимать во внимание слова, которые, не являясь обозначениями эмоций в собственном смысле, включают в свое значение указание на различные эмоциональные состояния субъекта в момент выполнения какого-то действия или нахождения в каком-то состоянии. Укажем один такой ряд – *любоваться, заглядеться, засмотреться*.

Необходимо, наконец, учитывать еще один круг слов, не называющих эмоций в собственном смысле, но имеющих к выражению эмоций самое непосредственное отношение. Мы имеем в виду метафору, обозначающую определенный физический симптом чувства. Она была впервые исследована в [47]; см. также [41]. Нас в дальнейшем будет интересовать только световая и цветовая метафора типа *Глаза горят* <сверкают, блестят> *от восторга* <от гнева>, *Ее щеки порозовели от удовольствия*, *Он побагровел от стыда* и т.п. В этом круге слов обнаруживается богатейшая синонимия переносных значений; ср. ряды *блестеть, сверкать; загореться, зажечься; сиять, светиться; засиять, засветиться, озариться; потемнеть, погаснуть, потухнуть; покраснеть, побагроветь, зарумяниться, зардеться*; и многие другие.

Все эти ряды послужат для нас отправной точкой в попытке реконструировать наивную картину мира эмоций как она отражается и концептуализируется в русском языке. Ввиду ограниченности места мы сумеем указать лишь несколько характерных деталей наивной картины, или модели эмоционального мира человека. Тем не менее, даже эти немногие детали представляются нам поучительными, потому что только привлекая их, можно обеспечить систематическое описание конкретных синонимических рядов в словаре.

1. В развитии (сценарии) эмоций, как они представляются в языке, выделимы следующие пять фаз:

1) Первопричина эмоции – обычно физическое *в о с п р и я т и е* или ментальное *с о з е р ц а н и е* некоторого положения вещей. Нас *злит* то, что мы непосредственно воспринимаем или воспринимали; между тем, *возмущать* могут и такие факты (например, бесчинства экстремистов на Гаити), сведения о которых мы получили из вторых рук. Ср. также глаголы *любоваться*, *заглядеться*, *засмотреться*, предполагающие непосредственное зрительное восприятие объекта в момент переживания, и их неточный конверсив *нравиться*, не предполагающий этого.

2) Непосредственная причина эмоции – как правило, интеллектуальная *о ц е н к а* этого положения вещей как вероятного или неожиданного, желательного или нежелательного для субъекта. Роль этого фактора в возникновении эмоций была впервые указана еще Б. Спинозой и с тех пор отмечалась всеми исследователями (см. названные выше работы). Причиной положительных эмоций (*радости*, *счастья*, *любви*, *восхищения*, *надежды* и т.п.) является наша интеллектуальная оценка каких-то событий как желательных, а причиной отрицательных эмоций (*тоски*, *горя*, *ненависти*, *возмущения*, *отчаяния* и т.п.) – оценка каких-то событий как нежелательных. Внутри каждого из этих классов имеет место более тонкая дифференциация причин. Важную роль в возникновении ряда эмоций играет, например, оценка собственной деятельности, или активности субъекта. В частности, *торжествовать* отличается от *радоваться* тем, что обозначает радость по поводу успешных действий субъекта, его правоты и т.п. Между тем *радоваться* можно и такому событию, к каузации которого субъект не имеет никакого отношения. Похожее различие обнаруживается в рядах *грустить*, *печалиться*, *сокрушаться*. *Грустить* можно по любому поводу, а *сокрушаться* – главным образом по поводу собственных не слишком удачных действий.

3) Собственно *э м о ц и я*, или состояние души, обусловленное положением вещей, которое человек воспринял или созерцал, и его интеллектуальной оценкой этого положения вещей. А. Вежбицка описывает собственно эмоцию посредством семантических компонентов 'to feel good' (чувствовать что-то хорошее) и 'to feel bad' (чувствовать что-то плохое). Те же семантические компоненты в толковании эмоций в работе [46] обозначаются как 'положительное эмоциональное состояние' и 'отрицательное эмоциональное состояние'.

В.Ю. Апресян в своей еще не опубликованной работе обратила внимание на то, что сами положительные и отрицательные состояния могут существенно отличаться друг от друга в случае разных эмоций. В состоянии *ненависти* человек испытывает одно неприятное или отрицательное чувство, в состоянии *страха* – другое, в состоянии *тоски* – третье. В связи с этим в [41] было предложено дифференцировать собственно эмоции с помощью метафор телесных состояний, которые с ними ассоциируются. Как уже было сказано выше, при страхе то неприятное чувство, которое возникает в душе человека, похоже на неприятное состояние его тела при холоде (ср. *дрожать от страха*, *похолодеть от страха*, *оцепенеть от страха*, *Страх леденит душу*, *Страх сковывает человека* и т.п.). Неприятное чувство в случае отвращения напоминает неприятные физические ощущения человека, когда на него воздействует плохой вкус или запах (см. [41, с. 34]).

Такие уподобления как средство более точного определения собственно эмоционального компонента в толковании эмоций оправдываются принципом парности, о котором речь шла выше.

4) Обусловленное той или иной интеллектуальной оценкой или собственно эмоцией *ж е л а н и е* продлить или пресечь существование причины, которая вызывает эмоцию. Так, в состоянии *страха* человек стремится прекратить воздействие на себя нежелательного фактора и для этого готов спрятаться, сжаться и т.п. В состоянии

радости, наоборот, он заинтересован в том, чтобы положительный фактор возможно дольше действовал на него, и все его существо словно вырастает. Ср. *Его распирает от радости, Он раздувается от гордости* при невозможности **Его распирает от тоски (от страха), *Он раздувается о.п стыда*.

5) Внешнее проявление эмоции, которое имеет две основные формы: а) неконтролируемые физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию, или на самое эмоцию; ср. поднятие бровей (расширение глаз) в случае удивления, сужение глаз в случае злости или гнева, бледность в случае *страха*, пот в случае смущения, покраснение в случае *стыда* и т.п.; б) контролируемые двигательные и речевые реакции субъекта на фактор, вызывающую эмоцию, или на его интеллектуальную оценку; ср. отступление в случае *страха*, наступление в случае *гнева*, восклицания в случае *ликования*, рычание в случае *ярости* и т.п.

Рассмотрим в качестве обобщающего примера слова *ненависть*, *отвращение* и *страх*, обозначающие отрицательные эмоции. *Ненависть* – это неприятное чувство, возникающее при восприятии или хотя бы мысленном созерцании объекта или ситуации, которые мы оцениваем как крайне неприятные и враждебные себе и которые настолько хотим или хотели бы устранить, что готовы пойти на самые крайние разрушительные действия, вплоть до физического уничтожения объекта. Внешне *ненависть*, подобно другим агрессивным чувствам (*гневу*, *ярости* и т.п.), может проявляться в том, что у человека горят глаза. *Отвращение* – это неприятное чувство, подобное ощущению от очень плохого вкуса или запаха; оно возникает, когда мы воспринимаем или воспринимали какой-то объект, который оцениваем как крайне неприятный, хотя и не обязательно враждебный, и контакт с которым мы хотим или хотели бы прекратить. Внешне оно проявляется в том, что на лице человека, испытывающего *отвращение*, может появиться непроизвольная гримаса. *Страх* – это неприятное чувство, подобное ощущению, какое бывает при холоде; он возникает, когда человек (или другое живое существо) воспринимает объект, который он оценивает или ощущает как опасный для себя и в контакт с которым он не хотел бы входить. В состоянии страха человек бледнеет, у него учащается сердцебиение, прерывается голос и возникает желание сжаться, спрятаться, убежать от опасности⁸.

Предложенный сценарий развития эмоций необходимо иметь в виду при разработке соответствующих синонимических рядов. В словаре синонимов, претендующем на системность в представлении лексического материала, общая схема описания должна быть единой для всех рядов и для всех членов ряда. В частности, для каждой эмоции должен быть указан фактор, восприятие или созерцание которого вызывает ее; интеллектуальная оценка этого фактора субъектом эмоции; тип собственно чувства, которое он испытывает; желания, сопровождающие эмоцию; внешние проявления эмоции, включая физиологические реакции тела, движения, жестикуляцию, мимику и речь.

2. В разных эмоциях доля собственно чувства (переживания) и интеллектуальной оценки может быть разной. В одних преобладает непосредственное переживание, в других – оценка. В зависимости от этого эмоции конструируются языком как первичные, базовые (биологически обусловленные) и вторичные, окультуренные; это деление подтверждается данными ряда физиологических исследований (см. обзор [6]). Первичные эмоции, например, *страх*, *злорада*, *удовольствие* / *радость*, предполагают не столько интеллектуальную оценку какого-то положения вещей как плохого или хорошего для субъекта, сколько непосредственное ощущение, что оно таково. Поэтому первичные эмоции доступны не только человеку, но и высшим животным. Очевидно, например, что собака которая при виде хозяина бросается к нему, прыгает, виляет хвостом, лижет ему лицо (поджимает хвост, бросается наутек), *радуется* (*боится*) в

⁸Ср. похожее описание *страха* и эмоций вообще в словаре [62, с. 30–31, 175–177 и др.], а также в работах [5, 45, 49, 61, 63]. Легко увидеть сходство этого типа описания, предложенного еще в 1979 г. (см. также 17), с тем, что Ч. Филмор назвал впоследствии "фреймовой семантикой"; см. [64–66].

буквальном смысле слова. Ср. Тюнька [собака] радовалась бы. Она любит видеть сразу вместе всех своих (Е. Короткова, День рождения Катьки); Единственно, чего боялся храбрый пес, это грозы (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Вторичные, окультуренные эмоции, такие, как надежда, гнев, возмущение, отчаяние и т.п., мотивированы интеллектуальной оценкой ситуации как желательной или нежелательной для субъекта и поэтому нормально приписываются только человеку. Это различие между биологически обусловленными и окультуренными эмоциями достаточно регулярно и должно приниматься во внимание в соответствующих синонимических рядах.

Аналогичная оппозиция лежит в основе деления эмоций на более стихийные (в них преобладает чувство) и менее стихийные (в них преобладает интеллектуальная оценка). Интересно, что более стихийные эмоции, например, *страх, паника, беспокойство, тоска, ужас, зависть, ревность* и т.п., концептуализируются как враждебная сила, извне завоевывающая человека. Так, *Страх овладевает человеком, охватывает его, заползает ему в душу, Человек находится целиком во власти страха; Зависть пожирает (снедает) человека, Ревность его грызет, Тоска его берет (наваливается на него)*. Чем меньше доля оценки, чем больше доля собственно чувства, тем вероятнее сочетание имени данной эмоции с таким глаголом. Именно этим, а вовсе не интенсивностью эмоции, как может показаться на первый взгляд, мотивируется возможность или невозможность соответствующих словосочетаний. *Изумление* – безусловно сильная эмоция, но она не может *охватить* человека, потому что слишком рациональна. Наоборот, *тревога* и *грусть* могут *охватывать*, несмотря на то, что они гораздо менее интенсивны, потому что их интеллектуальная подоплека незначительна. Не случайно они могут быть *безотчетными*, что совершенно исключено для *изумления*.

3. Эмоции отличаются друг от друга по признакам интенсивности и глубины переживания. *Ликовать* интенсивнее, чем *радоваться*, *страсть* интенсивнее, чем *любовь*, *восторг* интенсивнее, чем *восхищение*. С другой стороны, *радоваться* глубже, чем *ликовать*, *любовь* глубже, чем *страсть*, *восхищение* глубже, чем *восторг*.

Из этих двух признаков интенсивность заслуживает дополнительного комментария, поскольку она проявляет себя разнообразнее и интересней, чем глубина.

При классификации эмоций по интенсивности необходимо иметь в виду, что шкала интенсивности для эмоций асимметрична: на ней хорошо представлена норма интенсивности (*удивление, неприязнь, восхищение, страх, грусть, радость, злость* и другие прототипические эмоции) и большая степень интенсивности (*изумление, ненависть, восторг, ужас, горе, ликование, ярость*). Однако слабых эмоций (если исключить несколько разрозненных и явно периферийных лексем), антонимически противопоставленных сильным, в русской языковой картине нет.

В самом деле, если бы слабые эмоции в ней выделялись, для соответствующих лексем были бы невозможны сочетания с прилагательными, обозначающими большой полюс шкалы интенсивности. Между тем названия любых эмоций, в том числе и таких, как *грусть, досада, неприязнь* и т.п., сочетаются с прилагательными типа *сильный* и даже *сильнейший*. Ср., в отличие от этого, сильные эмоции типа *ярость, ненависть, изумление, восторг* и т.п., которым противопоказаны сочетания с прилагательными малой степени интенсивности типа *слабый* и которые действительно с ними не сочетаются.

Очевидно, что большую степень интенсивности следует трактовать как семантическую константу, которая должна включаться в описание всех сильных эмоций. Однако существующая лексикографическая практика в этом отношении непоследовательна. В тех случаях, когда в языке есть минимальная пара, состоящая из названия сильной эмоции и ее прототипа (*изумление* – *удивление, ярость* – *злость, ужас* – *страх, восторг* – *восхищение* и т.п.), более сильная эмоция определяется как 'интенсивный X' или 'сильный X', где X – название прототипа. Если же, однако, минималь-

ной пары нет, компонент 'сильный' в толковании соответствующей эмоции отсутствует. Так обстоит дело, например, с *отчаянием*, у которого нет нейтрального прототипа.

В результате разрушается основа для принципиального объяснения того факта, что комбинаторные возможности названий всех сильных эмоций, включая *отчаяние*, в значительной мере совпадают. Действительно, все сильные эмоции могут градуироваться с помощью прилагательных со значением полной или предельной степени признака; ср. *слепая ярость*, *полнейшее* (крайнее) *изумление*, *невыразимый ужас*, *полный восторг* и т.п. Аналогичные сочетания возможны и для лексемы *отчаяние*, ср. *в полном отчаянии*. С другой стороны, как мы уже сказали, никакая сильная эмоция не сочетается с прилагательными малой степени признака. Этот запрет распространяется, естественно, и на *отчаяние*.

Дать системное объяснение этим фактам можно только включив критический компонент 'сильный' в толкование всех таких лексем, независимо от того, образуют они минимальные пары или нет.

4. Эмоции, как уже было сказано, могут проявляться внешне и существенно различаться этими внешними проявлениями. *Ликование*, *обожание*, *изумление*, *восторг* и *бешенство* в гораздо большей степени требуют выхода в речи, поведении, действии, жесте или мимике, чем *радость*, *любовь*, *удивление*, *восхищение* и *злость* соответственно. Вообще говоря, *радость*, *любовь*, *удивление*, *восхищение* и *злость* можно испытывать, никак внешне не выдавая своих чувств.

Значение, которое придается в наивной картине эмоций возможности их внешнего проявления, подчеркивается тем обстоятельством, что язык часто развивает два ряда средств для выражения собственно эмоции и факта ее внешнего проявления. К таким средствам относятся многозначность, различные аффиксы, лексико-синтаксические конструкции. Так, слова *грустно*, *весело* и некоторые другие имеют по два разных значения – 'будучи в определенном эмоциональном состоянии' и 'выражая определенную эмоцию'. В этих значениях они входят в разные синонимические ряды, в принципе не совпадающие по своему материальному составу; ср. предикативное употребление *Ему было грустно*, синонимичное *Он грустил*, и адвербиальное употребление *Он грустно посмотрел на меня*, синонимичное *Он печально* (с *грустью*) *посмотрел на меня*. То же различие в случае *стыда* выражается словами с разными суффиксами: *стыдно* имеет значение 'испытывая стыд', а *стыдливо* – 'выражая стыд'. Ср. также предложно-именные группы *в ярости*, *в гневе*, *в восторге*, *в тоске* и другие подобные (только значение состояния) и предложно-именные группы *с восторгом*, *с грустью*, *с тревогой*, *с радостью*, *с тоской* (у них есть и значение манифестации состояния).

5. Важный аспект концептуализации эмоций – их отношение к идее света. В целом положительные эмоции, такие как *любовь*, *радость*, *счастье*, *восторг*, концептуализуются как светлые, а отрицательные эмоции, такие как *ненависть*, *тоска*, *отчаяние*, *гнев*, *бешенство*, *ярость*, *страх*, *ужас* – как темные. Поразительно, с какой последовательностью язык проводит эти две идеи. Мы говорим *свет любви*, *Глаза светятся* (сияют) *от радости* (от любви), *Глаза светятся любовью*, *Ее лицо озарилось от радости*, *Радость осветила ее лицо*, но *Глаза потемнели от гнева*, *Он почернел от горя*, *черный от горя* и т.п. Нельзя **потемнеть от радости* или **озариться от гнева*.

В цветовой метафоре даже небольшая примесь темного становится препятствием для характеристики положительной эмоции. Можно *зарумяниться* (зардеться) *от радости*, *побагроветь от гнева* (от злобы), но не **побагроветь от радости* и не ??*зарумяниться* (зардеться) *от гнева*. Интересно в этом отношении поведение синонимов *стыд* и *смушение*. Первый из них обозначает неприятное чувство, каузированное сознанием вины. В нем нет ничего светлого. Поэтому можно *побагроветь от стыда*, но не ??*зардеться от стыда*. Второй синоним обозначает неприятное

чувство, которое, однако, каузировано не сознанием реальной вины, а боязнью оказаться не на высоте, неумением держать себя в обществе и другими подобными соображениями. Обычно они свидетельствуют скорее о скромности субъекта, чем о его реальных недостатках. *Смущение*, таким образом, амбивалентно. Поэтому *от смущения* можно и *побагроветь*, и *зардеться* – в зависимости от точки зрения говорящего на внутреннее состояние субъекта эмоции.

С другой стороны, в русском языке имеется большая группа глаголов, в которых идея света сочетается с идеей блеска: *гореть*, *сверкать*, *блестеть*, *вспыхивать* и т.п. Такие глаголы вполне нейтральны к противопоставлению светлых и темных эмоций: *Ее глаза вспыхнули от радости (от гнева)*, *Его глаза горели любовью (ненавистью)*.

Любопытно, что во всех рассмотренных случаях имеет место чистая концептуализация, за которой не стоит никакой осязаемой физической реальности. Ср., в противоположность этому, "симптоматические" выражения, отражающие вполне объективные изменения внешности под влиянием эмоции: *Его глаза расширились от удивления (сузились от гнева)*.

Даже этот небольшой материал показывает, что при исследовании синонимических рядов слов, обозначающих эмоции, необходимо в равной мере стремиться к обнаружению специфики каждого ряда и к вскрытию той предположительно единой наивной модели мира, которая лежит в основе всех рядов и мотивирует выбор синонимов для описания той или иной конкретной ситуации.

Очевидно, что отражение всех этих фактов в словаре синонимов повысит меру системности в представлении материала и будет серьезным шагом к решению сверхзадачи лексикографа.

5. ОБЩАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА

На основании изложенных в разделах 2–4 представлений можно предложить некую общую схему характеристики различных состояний человека, протекающих в его душе или сознании процессов, его интеллектуальных или речевых действий (собственно физические действия, ввиду огромности материала, здесь почти не учитываются). Эта схема представляет собою не что иное, как иерархизованный перечень признаков, существенных для характеристики этих состояний, процессов и действий; ср. ее предшественницу в [17, с. 519–528].

Все перечисляемые ниже конечные признаки иерархии являются общими, т.е. годными для описания нескольких или многих лексем и групп лексем. Не утверждается, однако, что в схеме в ее нынешнем виде учтены все такие признаки, т.е. что иерархия построена до конца. Все группы представленных в ней актантных и неактантных понятий нуждаются в дальнейшей глубокой детализации и симметризации. В этом смысле она носит скорее иллюстративный характер.

Конечные признаки иерархии коротко иллюстрируются материалом разработанных автором словарных статей Нового объяснительного словаря синонимов русского языка. Примеры, связанные с рядами *жаловаться*, *сетовать*, *роптать* и т.п., *обещать*, *обязываться*, *сулить* и т.п. и *ругать*, *поносить*, *пилить* и т.п., взяты из словарных статей, написанных совместно М.Я. Гловинской и автором; примеры, связанные с рядом *бояться*, заимствованы из [61].

1. Субъект состояния, процесса, действия.

1.1. Физические характеристики.

1.1.1. Числовые характеристики. В случае *растаться* и *разойтись* сторон может быть несколько; ср. *Команда расставалась до встречи в Мадриде*; *К тому времени члены кружка окончательно разошлись во взглядах*. В случае *разлучиться* сторон только две, независимо от количества участников с каждой стороны; ср. *Мать не хотела разлучаться с детьми*. *Рассердиться* может только отдельная личность, а *разъяриться* – еще и группа людей, мыслимая как единое целое; ср. *От этих слов*

толпа окончательно разъярилась. В случае *роптать* субъект может быть коллективным, в случае *сетовать* высказывание приписывается отдельным личностям; ср. *Армия ропщет*, но не **Армия сетует*⁹.

1.1.2. Человек – животное. *Ликовать* и *торжествовать* могут только люди, а *радоваться* – и высшие животные. *Опасаются* только люди (наблюдение из [61]), *боятся* все высшие животные. Желание в форме *хотеть* в наивной картине мира может испытывать не только человек, а желание в форме *мечтать* (*поехать в Париж*), *жаждать* (*отомстить*) свойственно только человеку. *Возмутиться* и *рассердиться* может только человек, *разозлиться* и *разъяриться* – еще и животное.

1.1.3. Весь человек – часть человека. *Мечтает* о чем-то сам человек, а *жаждать* чего-то может и его душа или сердце. Точно такое же различие представлено в паре *торжествовать* – *радоваться*; ср. *Сердце* <душа> *радуется*, но не ^{??}*Сердце* <душа> *торжествует*.

1.2. Нефизические характеристики.

1.2.1. Намерения. *Лгут* всегда с намерением обмануть, а *вести в заблуждение* можно и неумышленно. Похожим образом различаются *притворяться* (больным), *прикидываться* (больным), *симулировать* (болезнь), с одной стороны, и *казаться* (больным), с другой. *Вообразить* и *представлять (себе) что-л.* можно усилием воли: *Вообразите, что за каждый добродетельный поступок человек получал бы вознаграждение в виде какого-либо мирского блага; И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Синонимичный им глагол *видеть* предполагает спонтанное появление образов в сознании: *Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру* (В. Набоков, Другие берега).

1.2.2. Цели.

1.2.2.1. Наличие цели. *Приноровиться*, *приладиться* и *примениться* предполагают целенаправленные усилия привести свою деятельность, поведение или образ жизни в соответствие с какими-то внешними обстоятельствами. *Сжиться*, *адаптироваться*, *акклиматизироваться* описывают естественный, в последнем случае даже биологический процесс постепенного приспособления субъекта к новым условиям существования.

1.2.2.2. Характер цели. Синонимичные глаголы *посещать*, *навещать*, *проведать* и *наведаться* отличаются друг от друга, в частности, по признаку цели визита. Если цель – знакомство с культурными ценностями, выполнение служебных функций, использование объекта, предпочитается *посещать*; если цель – поддержание человеческого контакта, предпочитается *навещать*; если цель – получение информации о состоянии объекта, предпочитается *проведать*; если приходят с делами или в гости, – предпочитается *наведываться*. *Пишут* (картину и т.п.) с установкой на создание произведения искусства, а *рисовать* можно для собственного удовольствия. *Критикуют* и *выговаривают* в целях устранения недостатков; *обличают* с целью показать всем, что объект осуждения обладает коренными и притом неисправимыми недостатками; *порочить* имеет неблагоприятную цель – подорвать репутацию человека без достаточных к тому оснований.

⁹Важность идеи коллективного субъекта для русского языка подчеркивается тем обстоятельством, что в нем имеются грамматикализованные средства ее выражения – циркумфиксы *раз-ся*, *с-ся* в глаголах типа *разбежаться* – *сбежаться*, *разлететься* – *слететься*, префикс *пере-* в глаголах типа *перебывать*, *переболеть* (*Все мои дети перебивали в Париже (переболели корью)*) и т.п. Впрочем, с меньшей степенью регулярности выражается в русском языке и идея коллективного объекта; ср. префиксы *раз-* и *с-* в составе каузативных глаголов типа *разогнать* – *согнуть*, *разобрать* (книги) – *собрать*, тот же префикс *пере-* во фразах типа *Она перечитала все французские романы в библиотеке отца, Мой сын переболел всеми детскими болезнями*, префикс *об-* в составе глаголов типа *обшивать* (обстирывать) всю бригаду и т.п.

1.2.3. Мотивировки. Мотивировкой *сетовать* является желание поделиться с кем-л. неприятной информацией в расчет на понимание, без ожидания конкретного результата. *Скулят и хнычут*, потому что хотят, чтобы нежелательное положение вещей было исправлено. *Хвастаются* тогда, когда хотят выглядеть как можно лучше в глазах собеседника; *бахвалятся* вследствие неспособности сдерживать порыв самодовольства. Человек *пытается* сделать нечто, когда он заинтересован в выполнении самого действия. *Пробовать* сделать нечто он может и тогда, когда хочет обнаружить, выполнимо ли действие в принципе, принесет ли результат удовлетворение и т.п.; ср. *Он пытался написать стихотворение* и *Он пробовал писать стихи*. Человек *обещает* или *дает слово* сделать нечто, потому что хочет, чтобы ему поверили. Человек *сулит* сделать нечто, потому что хочет, чтобы адресат поверил ему и сделал что-то выгодное для него.

1.2.4. Свойства характера, личности, социальной роли. *Радоваться* может любой человек, а *торжествуют* (по поводу своей правоты) люди, склонные к злорадству. *Восхищаться* может любой человек, а *восторгаются* чаще люди, склонные к экзальтации. *Пишут (картины)* люди с профессиональной подготовкой, а *рисовать* может кто угодно. *Стыдиться* может любой человек; *смущаются* и *конфузятся* чаще робкие, скованные, застенчивые люди.

2. Объект состояния, процесса, действия.

2.1. Наличие объекта. Для *зарисовывать* обязательно наличие объекта (натуры) в момент действия и большая степень сходства между образом (результатом действия) и воспроизводимым объектом. Для *рисовать* не обязательно ни то, ни другое. Для *копировать* требуется образец или оригинал, *воспроизводить* можно и по памяти.

2.2. Физические характеристики.

2.2.1. Свойства объекта. В случае *рисовать* внимание направлено на контуры и формы, в случае *писать* и *малевать* – на цвет. *Пилить* и *грызть* (в значении ‘ругать’) можно только человека; *поносить*, *крыть*, *критиковать* можно людей и социальные институты; *ругать* и *бранить* – людей, социальные институты и даже природные явления (например, погоду). *Употребляют* в качестве инструментов и средств относительно простые предметы, а *применяют* и достаточно сложные, включая аппаратуру для научных исследований. *Пользуются* и свободно манипулируемыми, и стационарными объектами; ср. *Разведчики умело пользовались складками местности, чтобы незаметно подойти к сторожевым постам противника*. *Употреблять* и *применять* стационарные объекты (те же складки местности) нельзя.

2.2.2. Объект или его часть (свойство и т.п.). *Упрекать* и *выговаривать* отличаются от *ругать* и *бранить* тем, что ставят в фокус внимания конкретный не нравящийся субъекту поступок человека, а не самого человека. *Дорожат* объектом в целом, *ценить* объект можно и за отдельные свойства; *Я ценю ваше упорство*, *Он ценит в людях упорство*, *Мы ценим его за его знания*. Ср. невозможность **Я дорожу вашим упорством*, **Он дорожит в людях упорством*, **Мы дорожим им за упорство*.

2.3. Нефизические характеристики.

2.3.2. Свойства объекта. *Надеются* на обычных людей и обычные обстоятельства, *уповают* на могущественных людей или на высшую силу. *Восхищаются* можно глубокими и не бросающимися в глаза свойствами объекта, а *восторгаются* обычно тем, что лежит на поверхности, привлекает внимание необычностью, поражает воображение.

2.3.3. Предназначение или функция объекта. Глаголы *видеть* и *слышать* употребляются во фразах типа *Я видел "Зеркало" ("Гернику", его последнюю книгу)*, *Я слышал Вишневскую в "Катерине Измайловой"* (его выступление на вчерашнем собрании), где их значение отличается от значения чистого восприятия. Его можно сформулировать следующим образом: ‘Человек А воспринял сознанием через зрение (через слух)

объект или ситуацию В, предназначенные для того, чтобы доставлять людям удовольствие или сообщать им информацию'. Иными словами, *видеть* и *слышать* обозначают использование информационных объектов в соответствии с их функцией. В пользу отдельности "информационного" значения свидетельствует омонимия фраз типа *Я видел эту картину* (либо 'воспринял зрением', как любой другой физический объект, либо 'воспринял сознанием ее информационное содержание'); *Я слышал разговор за дверью* (либо 'слышал за дверью звуки какого-то разговора', либо 'воспринял сознанием информационное содержание того разговора, который происходил за дверью'). Противопоставление 'просто воспринимать' – 'воспринимать, извлекая из объекта информацию, для сообщения которой он предназначен' представлено и в паре активных глаголов *смотреть* и *слушать*. Ср. *Мы смотрели этот фильм, Мы слушали эту оперу*. Ср. подтверждающую это противопоставление омонимии чисто физического и информационного значения: *Я посмотрел на часы* – либо просто направил на них взгляд (часы могли быть антикварными, подарочными и т.п.), либо взглянул, чтобы узнать время, т.е. удовлетворить свою информационную потребность. Замечательным свойством пассивных глаголов *видеть* и *слышать* является то, что свое "информационное" значение они реализуют исключительно в форме ПРОШ, НЕСОВ в общефактическом значении. Между тем динамичные глаголы *смотреть* и *слушать* не знают никаких подобных ограничений, т.е. обладают полной формальной и полной семантической видо-временной парадигмой (см. об этом [67, с. 68]).

3. Адресат.

3.1. Наличие конкретного адресата. У *жаловаться* он есть, а у *роптать* его обычно нет. У *велеть* всегда есть конкретный адресат, у *распорядиться* его почти никогда нет; ср. *Он распорядился, чтобы все документы были уничтожены*.

3.2. Характер адресата. *Жалуются* и *плачутся* обычно тому, кого считают находящимся в лучшем положении, а *сетовать* можно и обращаясь к товарищам по несчастью. *Советовать* что-то можно любому человеку, а *консультирует* обычно специалист неспециалиста. То же различие представлено в паре *советоваться* и *консультироваться*, с той разницей, что у этих глаголов валентность адресата – первая; близко к обсуждаемому и различие между *советовать* и *рекомендовать*: субъектом рекомендации обычно является человек, обладающий какой-то специальной информацией или знаниями.

3.3. Адресат и аудитория. *Обещают* конкретному адресату; он вводится существительным в форме ДАТ. *Присягать* предполагает большую аудиторию, имя которой вводится предложно-именной группой *перед кем-л.* То же различие представлено в оппозиции *хвастаться*, *хвалиться* (обычно конкретному адресату) и *позировать*, *рисоваться*, *щеголять* (обычно перед аудиторией).

4. Отношения между субъектом, объектом и адресатом.

4.1. Близость. *Обижаются* на близкого человека, *оскорбить* кого-л. может любой. *Разлучаются* с близким, часто любимым человеком, *расходятся* с друзьями, товарищами по общему делу и т.п., *распрощаются* можно и с подчиненным.

4.2. Статусы. *Отчитывают* сверху вниз, *поносить* и *крыть* не несут информации о статусах субъекта и объекта. *Видят* кого и что угодно, *лицезрят* (в неироническом употреблении) обычно важное лицо. *Сердят* обычно того, кто занимает более высокое место в иерархии в возрастной или социальной иерархии (*Внук сердит бабушку*, но не **Бабушка сердит внука*), *злит* же можно всякого.

4.3. Взаимные оценки. *Кичиться* по сравнению с *гордиться* предполагает у субъекта чувство превосходства по отношению к возможной аудитории. Наоборот, *угодничать*, *заискивать*, *лебезить* предполагают субъекта, который всей манерой своего поведения демонстрирует адресату свою второсортность по сравнению с ним, надеясь таким образом заслужить его милость или добиться своих целей.

4.4. Взаимодействие субъекта и объекта. Глаголы *адаптироваться* и *акклиматизироваться* обозначают одностороннее приспособление субъекта к инертной и неспособной к изменениям среде; глагол *притереться* обозначает встречное изменение двух участников какой-то деятельности в результате их активного взаимодействия.

4.5. Совпадение объекта и адресата. В *пилить* и *грызть* (в значении 'ругать') объект осуждения всегда является одновременно и адресатом. Между тем *ругать* и *бранить* можно и за глаза, когда сам объект при этом не присутствует и когда, следовательно, объект осуждения не совпадает с адресатом речевого акта; ср. *Он ругал (бранил) мне своего начальника*. Похожие различия представлены в группе *льстить* (обычно в глаза, т.е. объект похвал совпадает с адресатом речевого акта) и *хвалить* (можно и в глаза, и за глаза).

5. Инструмент и средство. Чтобы *писать*, необходимы инструмент (кисти) и средство (краски), а для *рисовать* достаточно инструмента; ср. *рисовать палочкой на песке*. *Прибывают* с помощью инструмента (например, молотка) и средства (например, гвоздей); чтобы *приклеивать* и *прилеплять*, достаточно средства (например, клейкого вещества); наконец, *прикреплять* можно и без инструмента, и без средства. Для *стрельбы* нужен и инструмент (орудие, ружье, лук) и средство (снаряды, пули, стрелы), для *бомбардировки* и *бомбежки* достаточно средства. *Рубить* без специального инструмента нельзя, а *колоть* (*орехи, сахар*) – можно.

6. Место. У *показаться* и *появиться* в значении 'войти в поле зрения в результате перемещения' есть валентность на место; ср. *показаться (появиться) в дверях (на дороге, на опушке)*. Для *мелькнуть*, *промелькнуть* она факультативна, а у *вывернуться* в сравнимом значении (ср. *Из толпы вывернулся какой-то мальчишка и бросился наутек*) ее нет совсем. *Дождаться* и *подждать* подчеркивает нахождение субъекта в определенном месте (*дождаться в прихожей, подждать в подворотне*), *ожидать* – пребывание субъекта в определенном ментальном или эмоциональном состоянии (*нетерпеливо ожидать открытия бара*).

7. Причины, вызывающие состояние, процесс, действие.

7.1. Наличие причины. *Проистекать* всегда предполагает вполне конкретную причину (ср. *Пожар проистек из-за неосторожного обращения с огнем*), между тем как *происходить*, *случаться*, *получаться* и *выходить* фиксируют только тот факт, что имеет место некое событие.

7.2. Характер причины. Нас *злит* то, что мы непосредственно воспринимаем или воспринимали, а *возмущать* может и то, чего мы сами не воспринимали и знание о чем получили из вторых рук. Ср. *меня злит, что она меня игнорирует* и *Меня возмущает, когда террористов выпускают безнаказанными на свободу*. Мы *полагаемся* на кого-л., потому что у нас есть предшествующий опыт общения с этим человеком, в результате которого у нас возникло доверие к нему. Мы *уповаем* на какого-то человека или божество независимо от предшествующего опыта, исключительно потому, что верим в их мощь. Люди, которые были связаны близкими отношениями, *разлучаются* в результате действия неподвластных им обстоятельств, *расходятся* из-за взаимного несоответствия и могут *распрощаться* друг с другом по инициативе одного из них из-за его недовольства другим.

7.3. Соотношение во времени причины состояния и самого состояния. В случае *стесняться*, *смущаться* и *конфузиться* эмоция и вызывающая ее причина более или менее синхронны, а *стыдиться* можно при воспоминании о плохом поступке через долгое время после того, как он был совершен.

8. Следствия. В случае нарушения *обещания* теряется доверие, в случае нарушения *обязательства* может последовать наказание, нарушение *клятвы* в норме влечет

кару со стороны высшей силы (см. [33, с. 176–178]). Если человека *обвиняют* в чем-то (в неискренности, в неблагодарности), то его ждет какое-то наказание, например, в форме общественного осуждения. Если человека *винят* в чем-то, то это может обойтись без каких-либо последствий для него; в лучшем (или в худшем) случае он может осознать свою ответственность за сложившееся по его вине нехорошее положение вещей.

9. Способ осуществления действия. *Поносят* и *кроют* грубо, не выбирая выражений; *журят* в мягкой форме. *Присягают* обязательно в устной форме, с использованием ритуальных предметов, *обязываются* иногда в письменной форме. *Подлизываются* обычно с помощью каких-то, слов, движений, поступков; *подольщаются* с помощью лстивых высказываний. *Созывают* кого-л., оповещая о предстоящем мероприятии; *сгоняют* принудительными методами.

10. Количественные параметры состояния, процесса, действия.

10.1. Частота занятий чем-л. относительно того, что считается нормой. В случае *повадиться* частота посещений какого-л. места представлена как превышающая норму; ср., в отличие от этого, нейтральные (нормальные) *посещать* и *навещать*. *Посылать* кого-то куда-то можно в соответствии с нормой, *гонять* обычно предполагает частоту, превышающую норму; ср. *непрерывно* *⟨весь день, то и дело⟩ гонять кого-л. на почту*.

10.2. Интенсивность. *Мечтать* (в значении ‘желать’) интенсивнее, чем *хотеть*, *жаждать* интенсивнее, чем *мечтать*. *Ликовать* интенсивнее, чем *радоваться*, *страсть* интенсивнее, чем *любовь*, *восторг* интенсивнее, чем *восхищение*. В случае *пристраститься* желание делать что-л. более интенсивно, чем в случае *приохотиться*.

10.3. Глубина. *Радоваться* глубже, чем *ликовать* и *торжествовать*, *любовь* глубже, чем *страсть*, *восхищение* глубже, чем *восторг*. *Ошибка* может касаться несерьезной вещи и быть мелкой, поверхностной; *заблуждение* касается более серьезных вещей и предполагает более глубокое отклонение от истины.

10.4. Охват, масштаб, полнота. Для *радости* достаточно, чтобы произошло одно приятное или желательное для субъекта событие. Для *счастья* нужно, чтобы осуществились все или хотя бы главные желания субъекта. *Обдумывать* предполагает большую полноту учитываемых явлений, *продумывать* предполагает большую глубину анализа.

10.5. Временные характеристики состояния, процесса, действия.

10.5.1. Время существования, количество периодов наблюдения. Желание в форме *мечтать* обычно существует более длительное время, чем желание в форме *жаждать*. Ср. *Я мечтал увидеть вас* (может быть, всю жизнь) и *Я жаждал увидеть вас* (может быть, мы виделись час назад). *Ждать* можно в течение многих периодов наблюдения, в предельном случае – всю жизнь, а *подждать*, *подождать* – обычно в течение одного периода наблюдения; ср. *Целых десять лет ⟨всю жизнь⟩ она ждала возвращения мужа из лагеря* и *У дверей проходной женщины поджидали своих мужей*, *Подожди меня у проходной*. *Приноровиться* может обозначать приспособление к чему-л., происходящее в течение одного периода наблюдения (*Постепенно он приноровился к моему шагу*). *Адаптироваться* обозначает более длительный процесс приспособления, который растягивается на несколько или много таких периодов. Ср. также яркие примеры Т.В. Булыгиной (в немного другом терминологическом оформлении) – *нравиться* (может предполагать один период наблюдения, ср. *Вам нравится это вино?*) – *любить* (всегда несколько или много таких периодов, ср. *Вы любите это вино?*); *есть* – *питаться* (см. [68, с. 29, 55]).

10.5.2. Скорость протекания. Процесс *понимать* протекает с нормальной скоростью, процесс *схватывать* – ускоренно, а процессы *доходить* и *допираться* (– Ну

как, дошло, наконец?; Донер?) – замедленно; ср. также *говорить* и *тараторить*, *писать письмо* и *строчить письмо*.

10.5.3. Ретроспективность – проспективность. *Ручаться* и *гарантировать* что-л. можно ретроспективно: *Ручаюсь (гарантирую), что он уже пришел. Обещать и обязаться* можно только проспективно; ср. *Обещаю (обязуюсь) закончить работу в срок* и невозможность этих двух слов в предшествующем контексте. *Надеяться* можно ретроспективно (*Надеюсь, что пальто тебе понравилось (что рассказ пришелся тебе по вкусу)*), а *уповать* – только проспективно.

11. Связь данного состояния, процесса, действия с другими состояниями, процессами, действиями.

11.1. Связь с восприятием.

11.1.1. Конкретная подсистема восприятия. *Чудиться* обозначает впечатление, которое связывается субъектом в первую очередь со слуховым восприятием, хотя допустимо и зрительное, а также некоторые другие. *Мерещиться* обозначает впечатление, которое связывается субъектом в первую очередь со зрительным восприятием, хотя допустимо и слуховое. *Выглядеть* предполагает восприятие преимущественно видимых признаков объекта, а *казаться* – восприятие менее очевидных, более разнообразных и глубоких признаков объекта; ср. *Мальчик выглядел умным* (судя по его глазам, высоте лба и т.п.) и *Мальчик показался мне умным* (судя по его репликам, скорости понимания и т.п.).

11.1.2. Реальность восприятия. *Мерещится* нечто, чего на самом деле нет, что человек физически не воспринимает, а *чудиться* может и то, что есть в действительности; ср. *И дважды опять-таки почудилось финдиректору, что потянуло по полу гнилой малярной сыростью* (М. Булгаков) [действительно потянуло]. *Доносятся* всегда реальные звуки, а (*по*)*слышаться* могут и звуки, которых на самом деле не было.

11.2. Связь с моторикой.

11.2.1. Перемещение. *Ликование* обычно сопровождается двигательной активностью – человек может прыгать, размахивать руками и т.п. *Радость* может переживаться тихо, про себя, без всяких внешних проявлений. Ср. похожее противопоставление в парах *паника* – *страх*, *ярость* – *гнев*, *бешенство* – *возмущение* (левые элементы пар с большей вероятностью сопряжены с двигательной активностью, чем правые).

11.2.2. Мимика. *Обижаться* можно без всяких внешних проявлений, а *дуться* в большинстве случаев предполагает надутые губы. Когда человек *сердится*, он может хмурить брови; если он *досадует*, у него может кривиться рот.

11.2.3. Жесты, голос. *Предупреждая* и *предостерегая*, мы обычно ограничиваемся словами, произносимыми нейтральным тоном. *Угроза* может сопровождаться соответствующим жестом – ритуализованным движением поднятого пальца или сжатого кулака – и форсированием голоса. *Просить* можно без жестикуляции, обычным тоном; *умоляя*, мы складываем ладони, протягиваем руки к адресату, говорим особым молящим голосом или сопровождаем свою просьбу каким-то другим знаком своей беспомощности и веры в могущество адресата.

11.3. Связь с произвольными реакциями тела. Когда человек *боится*, *пугается*, *трусит*, ему может стать холодно, он может побледнеть, у него может начаться дрожь. Когда человек *стыдится*, *смущается* или *конфузится*, ему может стать жарко, его движения становятся неловкими, его лицо может покраснеть, на нем может выступить пот.

11.4. Связь с желаниями.

11.4.1. Наличие желания. *Втянуться*, *приохотиться*, *пристраститься* и *поводиться* предполагают желание делать что-л., а в *привыкнуть* и *приучиться* идея желания не выражается. *Расстаться* можно по желанию одного или обоих участников, *разлука* обычно вынуждается обстоятельствами. *Злиться* может быть как намеренным

(ср. *Перестань злить собаку!*), так и ненамеренным, а *возмущать* в норме ненамеренно.

11.4.2. Конкретные желания. *Ненависть* порождает желание уничтожить объект, *отвращение* – желание удалиться от него. *Страх* порождает желание бежать, *стыд* – желание спрятаться.

11.5. Связь с интеллектом.

11.5.1. Наличие какого-то интеллектуального состояния. В *рассчитывать* и *полагаться* (на кого-что-л.) ведущим является интеллект (логические выкладки или опора на предшествующий опыт), а чувства нет совсем. Между тем в *надеяться* и особенно *уповать* (на кого-что-л.) велика доля чувства. В *стыдиться* преобладает рациональная оценка своих действий или свойств как отклоняющихся от нормы; в *смущаться* и *конфузиться* большую роль играет непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию. Аналогичным образом устроены пары *восхищаться* (преобладает рациональная оценка объекта) – *восторгаться* (большую роль играет непосредственная эмоциональная реакция на объект) и *опасаться* – *бояться* (последнее наблюдение принадлежит В.Ю. Апресян).

11.5.2. Конкретное интеллектуальное состояние или действие (воображение, воспоминание, мнение, понимание, знание). *Воображать* предполагает опору на фантазию, *представлять* – на мышление, *видеть* (в сравнимом ментальном значении) – часто на память. Ср. *Ученые, не видя, находят звезды и микробы; тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации* (М. Слоним, О Марине Цветаевой). *Представив всю сложность задачи, он несколько приуныл; Я представил себе... нет, не представил, а вообразил вид Урала с высоты нескольких километров* (В. Катаев, Трава забвения); *Не "как сейчас вижу" – так сейчас уже не вижу! – как тогда вижу ее коротковолосую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову на высоком стержне шеи* (М. Цветаева, Мать и музыка).

11.5.3. Источник знания или понимания. Ср. чисто рациональные *знать*, *понимать*, с одной стороны, и *осенять* (понимание приходит иррациональным, сверхчувственным образом), *озарение* (понимание внушено высшей силой), с другой. *Вера* в человека необъяснима, *доверие* к нему основано обычно на предшествующем опыте общения.

11.6. Связь с эмоциями.

11.6.1. Наличие эмоции. *Жажда* отличается от *хотеть* тем, что обязательно предполагает сильную эмоцию. Для *хотеть* эмоция совсем не обязательна. В *смущаться* и *конфузиться*, как было сказано, большую роль играет непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию; в *стесняться* входит указание на сдерживаемое желание или нежелательную необходимость сделать что-л.

11.6.2. Конкретная эмоция. *Радость* может сопровождаться легкой грустью, а *ликование* вытесняет из души все другие эмоции. Если близкие люди были вынуждены *разлучиться*, они могут испытывать тоску по этому случаю; если они *распрощались*, они могут испытывать ожесточение. Если человек *обманулся* в ком-то, он может испытывать разочарование, если он *просчитался*, он может испытать досаду. В *сетовать* есть сожаление, что действительность такова, в *роптать* – возмущение, что она такова, в *плакаться* – жалость к себе.

11.7. Связь с речью. Акт осуждения в случае *ругать*, *бранить*, *упрекать*, *укорять*, *выговаривать*, *отчитывать*, *критиковать*, *бичевать* всегда выражается в речи, а *осуждать* и *порицать* кого-л. можно и про себя. Точно так же различаются *обвинять* (всегда речевой акт) и *винить* (не обязательно речевой акт). *Восторг* в большей мере требует выхода в речи, чем *восхищение*. В случае *взорвать* (в значении 'возмутить') обязательна словесная реакция, в случае *возмутить* она возможна, но не обязательна.

12. Оценка говорящего.

12.1. Общая оценка. В случае *плакаться*, *ныть*, *хныкать* и *скулить* жалоба считается необоснованной или преувеличенной, а сам субъект представлен как нестойкий и чересчур жалеющий себя. В случае *пилить* и *грызть* (в значении 'ругать') говорящему не нравится немотивированная неотвязность действия, постоянное повторение одного и того же.

12.2. Эстетическая оценка. *Малевать* по сравнению с нейтральным *писать* (картину) и *мазала* по сравнению с нейтральными *художник*, *живописец* выражают отрицательную эстетическую оценку продукта творчества; *шедевр* по сравнению с нейтральным *произведение* – положительную эстетическую оценку. В высказываниях типа *Песчаная дорога извивалась* {змеилась, петляла} *между кустами* не содержится никакой оценки дороги. В высказывании типа *Тропинка вилась по склону горы* выражается положительная эстетическая оценка тропинки – она представлена как живописная, красивая и т.п.

12.3. Этическая оценка. *Чернить* (в значении 'выражать осуждение') предполагает недобросовестную попытку представить объект как лишенный каких-либо достоинств, а *лакировать* – столь же недобросовестную попытку представить его как лишенный каких-либо недостатков. И то и другое вызывает у говорящего отрицательную этическую оценку. Квалифицируя какой-то речевой акт как *инсинуацию*, говорящий приписывает субъекту нехорошую цель с помощью тонко замаскированной лжи опорочить человека, что, естественно, оценивается как этически недостойный поступок. Та же оценка содержится в значении *замазывать* (*недостатки*) и, в меньшей мере, *замалчивать* (*недостатки*); ср. нейтральное *скрывать*.

12.4. Утилитарная оценка. Когда говорят *Дорога постоянно вилась*, выражают отрицательную утилитарную оценку объекта. Ср. *Райского в природе он там* [В. Набоков в Америке] *не находит, несмотря на всю ее красоту и даже на то, что может быть в ней похоже на русскую природу. То тропинка "подловато виляет", то в Новой Англии "кислая весна"* (З. Шаховская, в поисках Набокова). Ср. выше *Дорога вьется* – с положительной эстетической оценкой объекта.

12.5. Истинностная оценка. Уверенное *считать* в большей мере претендует на истинность, чем менее уверенное *полагать* и предположительное *думать*. *Казаться* в большей мере допускает ложность впечатления, чем *представляться* и *сдаваться*. В положении *ремы* при оценке впечатления адресата *казаться* всегда квалифицирует его как ложное, ср. *Тебе это только ¹кажется* (в высказывании о себе в форме НАСТ. указание на ложность снимается даже в положении *ремы*; ср. *Мне так кажется*). *Представляться* и *сдаваться* в таком положении не встречаются и, тем самым, оставляют идею истинности / ложности впечатления невыраженной. Оба глагола указывают лишь на предположительность; ср. *Мне сдается* {*представляется*}, *что я где-то его видел*.

13. Наблюдатель.

13.1. Наличие наблюдателя. *Силиться* (*подняться* {*открыть глаза, сказать что-то*}) предполагает наблюдателя (кто-то видит, как человек делает безуспешные попытки), а *пытаться* и *пробовать* – нет (*Несколько раз он пытался* {*пробовал*} *писать стихи*). *Показаться* (*на дороге*) также предполагает наблюдателя, а *выйти* (*на дорогу*) – нет. Аналогичным образом путативное *находить* в ряде употреблений предполагает факт непосредственного наблюдения или созерцания предмета мнения. Например, в ситуации, когда женщина смотрит на себя в зеркало, вполне уместно высказывание *Я нахожу себя привлекательной*. Замена *находить* его синонимом *считать*, в других отношениях гораздо более универсальным, в этой ситуации невозможна. *Считать* описывает мнения, формирующиеся в результате серьезной переработки информации и взвешивания различных "за" и "против", а не в ходе

непосредственного зрительного наблюдения объекта. Ср. *Мне столько говорили о моей красоте, что я стала считать себя привлекательной*, где наоборот, глагол *считать* нельзя заменить на *находить*.

13.2. Местонахождение наблюдателя. Предлог *перед* во фразах типа *Перед деревом стоял мотоцикл* помещает мотоцикл между наблюдателем и деревом и существенно ближе к дереву, чем к наблюдателю. Предлог *за* во фразах типа *За деревом стоял мотоцикл* помещает дерево между мотоциклом и наблюдателем, причем расстояние от мотоцикла до дерева представляется существенно меньшим, чем расстояние от дерева до наблюдателя. Глагол *вилять* (во фразах типа *Дорога непрерывно виляла*) помещает наблюдателя непосредственно на пространственный объект, по которому он перемещается (часто на транспортном средстве); в ситуации, обозначаемой глаголом *виться* (*Тропа живописно вилась по склону горы*) наблюдатель смотрит на пространственный объект со стороны или как бы со стороны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988.
3. Wierzbicka A. English speech act verbs. A semantic dictionary. Sydney, 1987.
4. Wierzbicka A. Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. N.Y., Oxford, 1992.
5. Зализняк Анна А. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.
6. Апресян В.Ю. Недавние американские исследования в области эмоций и эмоциональной лексики. // Семиотика и информатика, 1995, Вып. 34.
7. Жолковский А.К. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика, 1964, Вып. 8.
8. Мартмянов Ю.С. Заметки о строении ситуации и форме ее описания // Машинный перевод и прикладная лингвистика, 1964, Вып. 8.
9. Щеглов Ю.К. Две группы слов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика, 1964, Вып. 8.
10. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". М., 1974.
11. Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка // Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14, Vienna, 1984.
12. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
13. Перцова Н.Н. К понятию "вещной коннотации" // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990.
14. Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // ИРАН СЛЯ, 1994, № 4.
15. Апресян Ю.Д. О новом словаре синонимов русского языка. // ИАН СЛЯ, 1992, № 1.
16. Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. Образцы словарных статей нового словаря синонимов. // ИАН СЛЯ, 1992, № 2.
17. Апресян Ю.Д. Английские синонимы и синонимический словарь // Апресян Ю.Д., Ботякова В.В. и др. Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
18. Виноградов В.В. Из истории слова "личность" в русском языке до середины XIX века // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, 1946, Вып. 1.
19. Bartmiński, J. Założenia teoretyczne słownika // Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.
20. Bartmiński, J. Definicja leksykograficzna a opis języka. // Słownictwo w opisie języka. Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego. Katowice, 1984.
21. Толстой Н.И. Иван-аист. // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.
22. Wierzbicka A. *Duša* ('soul'), *toska* ('yearning'), *sud'ba* ('fate'): three key concepts in Russian language and Russian culture / Ed. by Z. Saloni, Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białystok, 1990.
23. Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. Киев, 1992.
24. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // ИРАН СЛЯ, 1993, № 1.
25. Яковлева Е.С. О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира // ВЯ, 1993, № 4.

- 26 Greenwood T G International cultural differences in software // Digital technical journal, 1993 V 5 № 3
- 27 Апресян Ю Д Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика 1986, Вып 28
- 28 Франк С Л Духовные основы общества Введение в социальную философию // Русское зарубежье Л, 1991
- 29 Зализняк Анна А Словарная статья глагола *говорить* // Семиотика и информатика 1991 Вып 32
- 30 Есперсен О Философия грамматики М, 1958
- 31 Fillmore Ch Lexical entries for verbs // Foundations of language International journal of language and philosophy 1968 V 4, № 4
- 32 Lyons I An introduction to theoretical linguistics Cambridge, 1968
- 33 Гловинская М Я Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык и его функционирование Коммуникативно прагматический аспект М, 1993
- 34 Дмитриовская М А Знание и мнение образ мира, образ человека // Логический анализ языка Знание и мнение М, 1988
- 35 Зализняк Анна А *Считать и думать* два вида мнения // Логический анализ языка Культурные концепты М, 1991
- 36 Апресян Ю Д Синонимия ментальных предикатов группа *считать* // Логический анализ языка Ментальные действия М, 1993
- 37 Спиноза Б Избранные произведения М, 1957 Т 1
- 38 Wierzbicka A Lingua Mentalis The semantics of natural language Sydney etc 1980
- 39 Ullmann S The Principles of Semantics Glasgow, 1951
- 40 Арутюнова Н Д Полагать и видеть (к проблеме смешанных пропозициональных установок) // Логический анализ языка Проблемы интенциональных и прагматических контекстов М, 1989
- 41 Апресян В Ю Апресян Ю Д Метафора в семантическом представлении эмоций // ВЯ 1993 № 3
- 42 Wierzbicka A Dociekania semantyczne Wroclaw, Warszawa, Krakow 1969
- 43 Wierzbicka A Semantic primitives Frankfurt-am Main, 1972
- 44 Wierzbicka A Lingua mentalis The semantics of natural language Sydney, N Y, 1980
- 45 Wierzbicka A The semantics of emotions fear and its relatives in English // Australian journal of linguistics V 10 № 2, 1990
- 46 Иорданская Л Н Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // МППЛ, 1970 Вып 13
- 47 Иорданская Л Н Лексикографическое описание русских выражений обозначающих физические симптомы чувств // МППЛ, 1972 Вып 16
- 48 Иорданская Л Н Словарные статьи *бояться восторг восхищать гнев страх* и др // И А Мельчук А К Жолковский Толково комбинаторный словарь современного русского языка Опыты семантико синтаксического описания русской лексики Вена, 1984
- 49 Iordanskaja L and Mel'čuk I Semantics of two emotion verbs in Russian *bojat sja* to be afraid and *nadejat sja* 'to hope // Australian journal of linguistics, 1990, V 10, № 2
- 50 Успенский В А О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика 1979 Вып II
- 51 Lakoff G Johnson M Metaphors we live by Chicago, London, 1980
- 52 Ekman P Expression and the nature of emotion // Approaches to emotion N Y, 1984
- 53 Shaver P et al Emotion knowledge further exploration of a prototype approach // Journal of personality and social psychology 1987, V 52, № 6
- 54 Ortony A Clore G L Collins A The cognitive structure of emotions Cambridge 1988
- 55 Kovecses Z Emotion concepts Frankfurt am Main, 1990
- 56 Pajdzińska A Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analize frazeologizmów do językowego obrazu świata // Językowy obraz świata Lublin, 1990
- 57 Апресян Ю Д Systemic lexicography // Euralex 92 Proceedings I-II Studia translologica ser A, V 2 Part 2 Tampere, 1992
- 58 Fries N Emocje Aspekty eksperymentalne i lingwistyczne, // Wartosciowanie w języku i tekście Warszawa 1992
- 59 Oatley K Best laid schemes the psychology of emotions Cambridge, 1992
- 60 Swanepoel P Getting a grip on emotions defining lexical items that denote emotions // Euralex 92 Proceedings I-II Studia translologica, ser A, V 2, Pt 2 Tampere, 1992
- 61 Апресян В Ю Синонимический ряд слова *бояться* I // Ю Д Апресян, О Ю Богуславская, И Б Левонтина, Е В Урысон Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством Ю Д Апресяна М, 1994
- 62 Апресян Ю Д Ботякова В В Латышева Т Э Мосягина М А Полик И В Ракитина В И Розенман А И Сметенская Е Е Англо русский синонимический словарь М, 1979

63. Урысон Е.В. Синонимический ряд слова *страх*. / Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством Ю.Д. Апресяна. М., 1994.
64. Fillmore Ch. Frame semantics. // *Linguistics in the morning calm*. Seoul, 1982.
65. Fillmore Ch. Frames and the semantics of understanding. // *Quaderni di semantica*, V. 6, № 2, 1985.
66. Fillmore Ch. and Atkins B.T. Towards a frame-based lexicon: the case of RISK / Ed. by A. Lehrer and E. Kittay // *Frames and fields*, 1992.
67. Апресян Ю.Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл ↔ Текст" // *Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 1*, Wien, 1980.
68. Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // *Семантические типы предикатов*. М., 1982.

© 1995 г. Т.М. НИКОЛАЕВА

ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ДАННОСТИ

(на материале четырех выпусков кн. "Теория функциональной грамматики")

1

Настоящий анализ ни в коей степени не претендует на критический разбор языковых фактов, интерпретированных в книгах "Теория функциональной грамматики" (далее ТФГ [1–4]). Задача этой статьи – иная: попытаться представить теорию грамматического описания, содержащуюся в этих работах и выраженную – как эксплицитно, так и имплицитно – в том множестве небольших очерков и больших глав, которые в этих четырех изданиях помещены. Таким образом, речь идет о "презентации" лингвистической теории функциональной грамматики.

Такая попытка была предпринята мною в рецензии на одну из книг по ТФГ, опубликованной в 1991 [5]. За это время изложенные там соображения принципиальным изменениям не подверглись, общие впечатления только расширились и углубились, поэтому некоторые содержательные пересечения с текстом рецензии окажутся неизбежными.

Говоря о ТФГ, необходимо подчеркнуть принципиальную логоцентричность классических канонических грамматик, где основной категориальной единицей и основой всех категориальных реализаций было слово. Слово лежало в основе частеречного деления, описывались парадигмы, т.е. изменения слова, изучались правила порождения новых слов. Синтаксис описывал правила комбинаций слов и семантику этих комбинаций. Этой глобальной логоцентрической ориентации идеально соответствовала теория языковых уровней. Логоцентрическое языкознание имело и свою эстетику. Так, безусловно красивы языки с регулярно замыкающимися на слове грамматическими показателями, например, санскрит или латынь, где все как бы грамматично без остатка. Столь же красивы и виртуозные грамматические описания этих языков. В то же время логоцентрическое языкознание было и в известной степени материалистично, поскольку слово очевидным образом субстанциально. Поэтому, в частности, и интонационные показатели приписывались последнему слову, и в известном законе Я. Ваккернагеля говорится о безударных словах в предложении, т.к. безударность лозии и слишком эфемерна для интроспекции.

Требования необходимой красоты в лингвистическом описании господствовали вплоть до 50-х годов нашего века, когда диктат представителей "точных" наук требовал минимизированного, как мы теперь понимаем, представления языковых данностей в виде регулярных и элегантных схем. Теперь, спустя полстолетия, многие казавшиеся тогда бесспорными положения, например, широко известные требования о том, что описание языка должно быть экономным, простым и непротиворечивым, могут быть пересмотрены с глобальных позиций. Собственно говоря, по чему оно должно быть таким, или, иначе говоря, имеет ли право описание быть неадекватным своему объекту, если сам этот объект непрост, противоречив и "неэкономен"?

Многие очень красивые грамматики современных языков были, таким образом, своеобразным прокрустовым ложем.

В этом отношении работы в духе ТФГ не отражают нечто регулярное, простое и экономное. Более того, в каком-то смысле это и не грамматика, если считать вслед за Ф. Боасом, Р. Якобсоном, И. Мельчуком и многими другими грамматическим строгую облигаторность выражения. В широком смысле слова ТФГ соответствует целому набору явлений, устроенных по полевому принципу: с отчетливо просматривающимся ядром и все более размывающейся периферией. Однако это и не паутинообразное построение, а что-то промежуточное, т.е. находящееся между двумя гетеросущностными полюсами. Такие “промежуточные” феномены можно наблюдать как в теории, так и в отражающих теорию текстах. Остановимся на пяти таких пластах явлений, совокупность которых, по нашему мнению, и будет относительно адекватным представлением ТФГ как на уровне теории, так и на уровне текста самих работ.

Первым таким феноменом можно считать центральное понятие ТФГ – функционально-семантическое поле (ФСП). “ФСП – это понятие, отражающее языковое содержание и языковое выражение в их единстве, относящемся к строю данного языка. Компонентами ФСП являются двусторонние единицы, классы и категории” [2, с. 487]. В других грамматических теориях, связанных с теорией полей, обычно речь идет о воплощении какой-то содержательной категории, все манифестанты которой как бы равноправны. В ТФГ для поля обязательно предполагается центр (но возможна и полицентричность), грамматикализированный в общепринятом смысле. Таким образом, повторяя наше более раннее сравнение, ФСП можно сравнить с грибницей с ярко выраженным ядром. Иначе говоря, ФСП характеризуется грамматикализированным центром, ядром вокруг центра и периферийной частью. Поэтому о каждом поле нельзя сказать, что служит исходным моментом его выделения: грамматические показатели или семантическая выраженность – темпоральность, модальность, залоговость, бытийность, персональность, субъектность и под. Теоретически дискуссионным является вопрос о том, представляет ли подобное поле в современном языке грамматикализацию описываемой категории в процессе становления, или, наоборот, это распад былой тотальной регулярности.

Вторым промежуточным феноменом является в излагаемой теории шкала того отношения к реальности, с которой связана каждая функциональная категория. Дело в том, что известные положения о том, что высказывание описывает внеязыковую действительность и описывает ее либо истинно, либо ложно, в настоящее время можно считать излишне наивными и/или слишком беспроблемными. Что, собственно, считать внеязыковой действительностью для высказывания? Входит ли в нее сам говорящий (а может быть, и слушающий) и его отношение к миру и его способ описания мира? Тем самым мы подводим к идее антропоцентричности языкового бытия. Эта непростота корреляции речевого сознания и действительности отражена в ТФГ посредством введения особого артефактического уровня – к а т е г о р и а л ь - н о й с и т у а ц и и. Категориальная ситуация – это содержательная структура, связанная с семантической категорией и ее ФСП и являющая собой один из аспектов всей ситуации, передаваемой данным высказыванием. Таким образом, категориальные ситуации не являются ни чисто языковыми феноменами, ни феноменами денотативными. Таковы ситуации однократности, длительности, итеративности, и т.д. Такие ситуации тоже как бы промежуточны, но для лингвистического описания бывают необходимы: функционирование лингвистической единицы оказывается невозможным определить для лингвистически пустого пространства. Кроме того, введение категориальных ситуаций позволяет различить семантику (значение) и функции языковых единиц. Функции не отождествляются со значениями [1, с. 9].

Третьим явлением столь же “промежуточного” (т.е. отчетливо не определяемого) статуса в теории ТФГ можно считать величину линейной протяженности того языкового воплощения (score), на базе которого манифестируется категория ФГ. Особенностью описываемой функциональной грамматики является непривязанность к тому или иному каноническому языковому уровню. Таким образом, семантическая

категория формирует ФСП посредством гетерогенных по уровневой принадлежности единиц. Это дает возможность широко включать в систему описания разнообразные “периферийные” раритеты и реликты – в особенности это относится к окологлагольным формированиям, часто никак не укладывающимся в системы “академических” грамматик.

Возвращаясь к вопросу о линейной протяженности языковых единиц описания в ТФГ, необходимо заметить, что сама установка на необязательность логоцентрического мышления уже явилась предпосылкой того, что в ТФГ можно оперировать любыми языковыми протяженностями. На “длинном” речевом пространстве открылась возможность выявить субзначения уже как будто бы хорошо описанных и определенных содержательных категорий, а также их разноуровневую манифестацию. В теоретическом Введении основной единицей анализа объявляется высказывание. “Высказывание представляет собой минимальное единство, в пределах которого осуществляется функционирование языковых единиц в речи” [1, с. 8]. На самом же деле, судя по текстам четырех книг ТФГ, эти линейные единицы – варьируются. Так, аспектуальность, посессивность и субъектно-предикатные отношения могут описываться через единицы, меньшие, чем предложение, а категории определенности-неопределенности и коммуникативная перспектива предложения часто анализируются через последовательность высказываний даже через минитекстовые единицы. Таким образом, языковая единица в системе ТФГ – разнообразна и мобильна; с варьирующей протяженностью; она может быть промежуточной между словом и высказыванием.

Четвертым феноменом ТФГ, также сохраняющим структуру центра- ядра и колеблющейся периферии, является сам объект анализа, т.е. язык.

Иначе говоря, вопрос ставится так: в книгах ТФГ говорится о языке (тогда – о каком?) или о языковых системах вообще? По нашему глубокому убеждению, сама идея данной ТФГ ориентирована на монолингвистичность. Только данной языковой реальностью оправдывается теория такого именно ФСП с отчетливо грамматикализованным ядром и размытой периферией. Таким образом, эта теория ТФГ (речь идет о лингвистических наблюдениях авторов) ориентирована на один язык, где она дает максимальные по возможностям результаты. Этим ядром описания, центром, в книгах ТФГ является русский язык. Как будто бы так и понимают эту задачу и сами авторы: “Как и в первой книге... анализ функционально-семантических полей (ФСП) строится главным образом на материале русского языка” [2, с. 3]. Итак, именно русский язык является центром притяжения теоретических разработок ТФГ. Дескриптивной периферией тогда, на наш взгляд, может быть сопоставление русского языка с иноязычными системами, с потенциально иной грамматической центровкой функционально-семантических полей. Такие главы-очерки в книгах ТФГ действительно представлены. Это – “Типологические и сопоставительные аспекты анализа независимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским)” – В.П. Недялков, Т.А. Отаина [1]; “Неканонические средства выражения пассивности (на материале русского языка в сопоставлении с немецким)” – Р. Леч [3]; подраздел в главе “Семантика и выражение определенности-неопределенности” – В. Гладров [4] “Сопоставительные наблюдения”.

Вместе с тем в изданиях ТФГ встречаются еще два вида исследований глав, как бы тяготеющих к принципиально иным видам грамматических жанров. Это главы, написанные целиком на материале иных, чем русский, языков. Например, “Функции субъекта и объекта в аспекте теории валентности” – на немецком материале (автор – С.М. Кибардина [4]); “Персональность в языках разных типов” – авторы А.П. Володин, Н.Б. Вахтин [3].

Второй тип таких глав – это работы общего характера, в которых проблемы грамматики обсуждаются в плане универсально-языковой категоризации без заданных конкретных “привязок”. Например, такова глава В.Б. Касевича “Субъектность и объектность: проблемы семантики” [4]; глава И.Б. Долининой “Категория переходности в

ее отношении к лексике и синтаксису” [4]; “Типология рефлексивных конструкций (авторы Э.Ш. Генюшене, В.П. Недялков [3]); “Перфектность” (автор – Ю.С. Маслов [3]).

Названные статьи (главы) не менее интересны, чем главы, посвященные русскому языку; однако сосуществование этих трех жанров текстов в книгах ТФГ делает грамматический статус самой теории Функциональной грамматики каким-то мерцающим. То ли мы имеем дело с функциональной грамматикой русского языка, то ли с давними по традиции тематическими сборниками типа “Категория X в языках Y”, то ли с опытом универсальной грамматики, где серьезно обсуждается сущность фундаментальных грамматических понятий безотносительно к конкретному языку. Таким образом, допустимо говорить и о промежуточности жанра в книгах ТФГ, где также намечается ядерная часть и периферия (как уже говорилось, совсем не менее значимая).

Наконец, центр и периферию можно выделять и обращаясь к самой теории ФГ, которая также по-разному проходит через тексты книг. И в этом смысле намечается некий промежуточный (или мерцающий) общий текст. Естественно, теоретическим центром являются главы самого вдохновителя и организатора работы – А.В. Бондарко, идеи которого о сущности ФГ нового типа формировались уже в течение многих лет и известны по его ранее опубликованным работам (см.: [6–12] и др.). Очевидным образом к его концептуальным главам примыкают работы его соратников по Институту лингвистических исследований РАН; все эти главы характеризуются именно тем концептуальным ядром, принципы построения которого мы попытались описать и сформулировать выше. Другие исследования, в особенности московских лингвистов, написаны с “собственных позиций”, что и естественно для таких давно сформировавших свои концепции ученых, как Т.В. Булыгина, О.Н. Селиверстова, А.Д. Шмелев. Самостоятельна концептуально и глава В.Б. Касевича [4] и другие главы.

Итак, если не бояться упреков в языковой игре, то можно сказать что некоторая концептуальная и жанровая эклектичность текстов книг ТФГ коррелирует с эклектичностью выражения функционально-смысловых полей и, наконец, с эклектичностью самого живого языка, что вероятно есть его *conditio sine qua non* (нельзя забывать, что самые “красивые” языки – это мертвые языки).

Наконец, завершая раздел общей характеристики ТФГ, нельзя не сказать об отношении ТФГ и канонической грамматики. Безусловно, каноническая грамматика является исходной точкой и опорной базой для ТФГ и в то же время объектом полемики. Очевидно, что функционирование любого X можно описать, лишь опираясь на то, что X уже выделен и определен. Именно это делает дескриптивная грамматика. Таким образом, сосуществование обеих грамматик (функциональной и дескриптивной) предполагается.

2

Поскольку в основном ТФГ имеет дело с категориальными языковыми сущностями, то важно понять, какие именно категории исследовались (описывались) в четырех изданиях ТФГ. Очевидно, что важнейшими положениями ТФГ являются концепции выделения семантических категорий и их потенциального укрупнения. В традиционной грамматике подобные проблемы прояснены: и падеж как таковой есть категория, и отдельные падежи – родительный, дательный и т.д. – суть также языковые категории. Также и в ТФГ: “семантические категории могут быть более общими и более частными” [1, с. 29].

Сложнее понять принцип выделения категорий как отдельных. “Семантические категории грамматики выделяются на основе их регулярной представленности (в том или ином варианте) в содержании высказываний, в значениях языковых единиц и их

разнообразных сочетаний” [1, с. 30]. Далее говорится о выделении семантических категорий на у ч н ы м п о з н а н и е м (разрядка моя. – ТН). Ср. также: “Итак, в истолковании семантических категорий важнейшее значение имеет принцип онтологизма” [1, с. 31].

Таким образом, возникает опасность сделать языковедческими (и грамматическими) такие онтологические понятия, как добро, красота и под. Предполагается, что такая опасность может предотвращаться требованиями “регулярной представленности” в высказывании.

Обратимся теперь к конкретным категориям, анализ которых дан в изданиях ТФГ. В [1] это аспектуальность, поле которой дробится на семантику предела, процессность, длительность, кратность, фазовость, начинательность. Категория аспектуальности действительно не может быть не представлена в русском глагольном высказывании. Сходным образом организована презентация категории модальности в [2], где общее смысловое поле делится на поле возможности, необходимости, достоверности, оптативности, повелительности, прохибитивности, превентивности. В этой же связи и обсуждаются и собственно языковые формы модальности, в частности, вопрос о наклонениях – волитивных и когнитивных.

На фоне таких категорий, безусловно-лингвистических, сложным становится вопрос о таких феноменах, как таксис [1], т.к. языки отражают подобное явление и иконически, и практически чисто формально (см., например, правило *consecutio temporum*). Если в изолированном высказывании мы не можем обойтись, например, без выражения модальности или персональности, то таксис наблюдается лишь при наличии полипредикативности.

В [1] одной из самых интересных глав является глава о временной локализованности. В следующем выпуске эта тема неизбежно сливается с более общей категорией – темпоральностью; о связях этих понятий говорится и в первом выпуске (с. 214), однако эти языковые концепты действительно не совсем совпадают, и создается впечатление, что категориальные поля (и тем самым главы о них) можно выделить, “поднимая” концептуально в описании либо один, либо другой содержательный центр. И тогда эти описания будут в принципе несколько различаться.

Чисто лингвистической, а не онтологической кажется формулировка категории как “залоговость”, хотя она отражает вполне онтологическое понятие активности – пассивности действия (состояния).

Интересно то, что сама структура языка, стремящегося передать больше информации в единицу времени и компрессирующего смысловую нагрузку, уменьшая арену ее воплощения (см. об этом: [3]), диктует содержательные пересечения в разделах и главах. Так, аспектуальность рассматривается не только в специально ей посвященной главе, но и в главе “Таксис” (аспектуально-таксисные ситуации), в главе “Темпоральность” (аспектуально-темпоральные отношения), в главе “Модальность” (модально-аспектуальные связи). Императивные конструкции обсуждаются только в одной главе “Модальность” не менее шести раз; см., в частности, раздел “Волитивные наклонения: императив и оптатив” в большем разделе “Функционально-коммуникативные типы наклонений и их темпоральные характеристики” (Г.Г. Сильницкий) и “Оптатив и императив” в разделе “Оптативность” (Е.Е. Корди). Именно так становится еще более очевидной экономность языкового устройства, когда одна и та же языковая единица многократно отражается в зеркалах лингвистического описания.

В пределах лингвистической системы ТФГ не вводится и не обсуждается понятие грамматического нуля. Поэтому не всегда оказывается возможным методически дифференцировать те категории, которые в принципе в языковой системе представлены и даже обладают богатым набором средств выражения, но в каждом высказывании обязательно должны быть представлены, и те категории, которые не могут быть в той или иной форме презентированными.

Размышляя о том, какие еще очевидные категории могли бы быть включены в состав описания в ТФГ, можно было бы назвать отрицание, дейксис и еще несколько

других. Однако отрицание (негация), на наш взгляд, является именно той категорией, которая не обладает требуемой степенью облигаторности, хотя гамма ее выражений в русском языке разнообразна и интересна. Отношение к дейксису более сложное, т.к. он входит в общую систему актуализаторов языка и тем самым можно поставить вопрос более обобщенно: о категории актуализации, которая неизбежно снова возвращает к проблеме включения личности говорящего в сферу внеязыковой реальности или, если поставить вопрос иначе, об относительности традиционного деления реальности на языковую и внеязыковую.

3

Естественно, что теория, активно развивающаяся уже более пятнадцати лет, не стоит на месте. Поэтому особенно интересно обратиться к последнему тому ТФГ, а именно к [ТФГ 4]. В отличие от предыдущих выпусков, с традиционной точки зрения обсуждающих, скорее, категории морфологические, этот том больше посвящен проблемам синтаксическим. Однако такого явного водораздела в ТФГ нет. И, действительно, в главах ТФГ морфология и синтаксис как бы перетекают друг в друга. В Предисловии к [4] специфика тома объясняется группировкой ФСП с субъектно-объектным ядром, тогда как в предшествующих томах рассматривались ФСП с предикативным ядром. Действительно, при их более подробном рассмотрении, все проблемы, переходящие в томах ТФГ из главы в главу, оказываются тематически связанными. Безусловно все же, что в первой части тома центром является проблема субъекта. Иначе говоря, обсуждается, что такое субъект в рамках данной теории и как он соотносится с концептами содержательно близкими: подлежащим, субъектом грамматическим, субъектом семантическим, топиком, гемой. Точнее – что можно считать субъектом в пределах названного набора? Сходные, но не идентичные проблемы встают и при идентификации объекта, а в рамках субъектно-объектных отношений – при квалификации переходности. Определение статуса субъекта влияет на интерпретацию коммуникативной перспективы предложения, которая в свою очередь неотделима от категории определенности-неопределенности. Научная трактовка каждого из явлений различает два понимания – широкое (как правило, семантико-прагматическое) и узкое (обычно лексико-грамматическое). Хотя в Предисловии справедливо говорится о том, что авторы данного тома многое видят по-разному, но главы написаны так, что перцептивной напряженности не возникает и “переключка явлений” действительно помогает “углубить представление о предмете явления и заложенных в нем противоречиях” (с. 3). Небольшая по объему глава В.Б. Касевича: “Субъектность и объектность: проблемы семантики” по сути является теоретическим вступлением к теме. Справедливо отрицая традиционную ось “субъектно-объектных отношений” (они соотносятся только через предикат), В.Б. Касевич показывает, детально анализируя современные S-концепции и факты языков самой разнообразной типологии, что существуют SPO-отношения четырех родов: коммуникативно-прагматические, лексико-синтаксические, грамматико (синтактико)-семантические и грамматические (синтаксические) отношения (с. 12). Распутать теоретические сложности здесь поможет независимое описание этих типов корреляций. Это будет способствовать и различению тех случаев, когда в языке грамматического субъекта нет, но агенс-тема имеет специализированный показатель. Для разрешения проблем субъектности В.Б. Касевич привлекает современную концепцию “прототипической конструкции”, т.е. неэллиптической и самодостаточной структуры, через отношение к которой могут быть описаны конкретные языковые реализации. Собственно языковые сложности описания объекта (с предлогом? без? только пациенс? пациенс и датив?) В.Б. Касевич также подводит к описанию объекта через прототипическую конструкцию; так, переходными автор считает те ситуации, где происходит изменение пациенса; переходность обладает степенью, которая может

повышаться или понижаться (семантически). Транзитивность же – это внутриязыковая категория. Выводы (с. 28–29) можно назвать операционно-конструктивными, поскольку они позволяют определить статус субъекта, объекта и переходности в языках разных типов.

Иной вариант трактовки субъекта предлагается в главе А.В. Бондарко “Субъектно-предикатно-объектные ситуации”. В предлагаемой квалификации субъект – это “тот элемент типовой СПО-ситуации, который выступает как субстанция, являющаяся источником приписываемого ей непассивного предикативного признака” (с. 33). Типовая СПО-ситуация может охватывать полный набор элементов С, П, О (*Хозяйка варит обед*), но также и неполные структуры, являясь таким образом “общей рамкой”. Во фразах *Охотник убил медведя* и *Медведь убит охотником* А.В. Бондарко в обоих случаях семантическим субъектом считает *охотник*. Тем самым субъект разводится с подлежащим. Достаточно прямо в этой главе говорится и об “обратном” воздействии языка на мышление (с. 34), т.к. абсолютная семантическая свобода С, П и О от языковой интерпретации невозможна. Слово “интерпретация” здесь не является синонимом “воплощение”, т.е. иначе говоря, язык интерпретирует действительность. В главе В.Б. Касевича центром отношений является предикат, а у А.В. Бондарко – субъект, который “детерминирует, каузирует предикат”, хотя и предикат важен. Очень интересным в этой связи является “красивый” раздел о наличии корреляций между конкретностью/неконкретностью субъекта и локализованностью/нелокализованностью во времени. Субъект действия, по концепции А.В. Бондарко, не идентичен не только подлежащему, но и субъекту пропозиции. Так, во фразе *Эта гипотеза выдвинута Петровым* слово *гипотеза* является объектом действия, но субъектом пропозиции. Особое место занимает концепция “сопряженной субъектности” (*Его убило молнией; Выходить ли мне замуж?* и под.). Естественно, что обращение к идее полной развернутой структуры СПО-отношения заставляет вводить понятие “носитель предикативного признака” (НПП), в том числе дискретного и недискретного (например, *Люблю тебя; Пиши* и т.д.). (Напоминаем, что цель настоящей статьи – презентация значительной и давно сложившейся школы, а не обсуждение собственных трактовок, к тому же, не всегда у автора имеющихся.)

Дальнейшее чтение разделов о применении понятия НПП в разного рода русских синтаксических структурах, традиционно односоставных, двусоставных, обобщенно-личных и неопределенно-личных, демонстрирует мучительное “сопротивление” русского синтаксиса попыткам увидеть в нем нечто единообразное. [Некоторые построения так сложны, что только простой обыденный опыт помогает разобраться в приводимых примерах. Так, например, “предложения *Я люблю тебя* и *Люблю тебя* по их субъектно-предикатной структуре, на наш взгляд, ближе друг к другу, чем предложения *Люблю тебя* и *Тишина*, традиционно объединяемые в классе односоставных” (с. 59).] НПП относится к подлежащему. Здесь А.В. Бондарко пользуется этим термином в традиционном смысле, сохраняя в то же время, в духе всей теории ТФГ, для идентификации представителей НПП центр и периферию – с возможностями переходных зон.

Расширенное понятие НПП относится и к управляемым членам (*Больную лихорадит* и под.); таким образом СПО-ситуации поликатегориальны, С и О суть выразители категориальных признаков, но сами они – также поля с ядром и периферией, как в плане содержания, так и в плане выражения. То, что из ориентации на синтагматику в рамках ТФГ должна родиться новая парадигматика и тем самым новая грамматика, подтверждают и другие главы данного тома. Так, одной из сложнейших для грамматистов сущностей русского синтаксиса – субъекту в безличных предложениях – посвящена глава В.М. Павлова. Как уже говорилось в п. 1, теория ФГ прямо соотносится с необходимостью появления философии отношения языка и мышления, адекватной концу XX в. и всем достижениям современного языкознания. В.М. Павлов ясно это демонстрирует: он различает объективный мир, языковое его

отображение – субъективный мир. Но есть еще “языковая мысль”, т.е. “интерпретационный компонент семантического содержания языкового образования” – это “образ образа” (с. 79). Из этого положения делается интересный вывод о внутренней противоречивости, раздвоенности, которая свойственна не только безличным предложениям как языковой структуре, но и речемыслительной деятельности в целом.

Мыслительные образы, стоящие за безличными предложениями, В.М. Павлов уподобляет сцене – с авансценой и задней кулисой, с яркостью и темнотой (с. 82), т.е. это опять рельефность центра и периферии.

В первой части статьи уже говорилось о работе С.М. Кибардиной “Функции субъекта и объекта в аспекте теории валентности”. Развитием общих идей А.В. Бондарко является и другая его глава в том же “Переходность/непереходность глагола в системе субъектно-предикатно-объектных отношений”. Естественно, что для сферы П/НП в предложении общей теории ФГ выделяются два полюса – прямая переходность (Гл. + 0 пр.) и абсолютная непереходность, сопряженная с безобъектностью. Промежуточная зона – арена демаркационного рассеяния для грамматиста. Грамматический интерес вызывает и то обстоятельство, что универсальной грамматики и семантики П/НП нет, т.е. языки членят это акциональное состояние по-разному (с. 120). Таким образом наличие П/НП обусловлено и лексически, и синтаксически. Оба эти аспекта подробно рассматриваются И.Б. Долининой (“Категория переходности в ее отношении к лексике и синтаксису”). П/НП, по ее концепции, категории полиреференциальные и коррелируют с двумя разноплановыми типами более конкретных категорий: носителем лексической категории П/НП является глагол, синтаксической – глагольное сказуемое. Установочная заданность трактовки может, в частности, изменять синтаксическую таксономию: придаточное, например, в англ. *it is well known that...* может, в зависимости от подхода, трактоваться и как дополнительное, и как подлежащее. Однако, несмотря на расхождение манифестаций П/НП на разных уровнях, И.Б. Долинина не исключает интерпретацию всех явлений П/НП как некоей единой “метаобобщенной” категории. Совершенно очевидно, что в рамках сегодняшней ТФГ намечается интерес к совмещенности отдельных категорий в одном высказывании. Оказывается, что степень конкретизации субъекта (или его квалификация как конкретизированного или обобщенного) тесно связана с типом ситуации: локализованной, узальной, вневременной и т.д. Кроме того, креативные потенции субъекта активной конструкции значительно превышают возможности субъекта в пассиве (Ю.А. Пупынин: “Субъектность и актуализационные категории предиката”). Близки к этому и положения главы И.Н. Смирнова: “Семантика субъекта/объекта и временная локализованность”.

Теоретически значимым является вывод, вытекающий из впечатлений от последовательного чтения всех глав тома: при обращении к семантике уже выделенных категорий операционная таксономия делается, видимо, более “легкой” (как в дескрипции, так и в перцепции), чем при обсуждении попытки прояснить грамматический статус базовых понятий ТФГ. Это особенно видно на примере интересного материала главы В.А. Ямшановой: “Инструментальность и субъектно-объектные отношения”. Говоря о принципиальной невозможности воздействия субъекта на объект без средств этого воздействия, В.А. Ямшанова выделяет три варианта инструментальной ситуации: 1) цель – средство; 2) действие – средство; 3) средство – результат (с. 185). Далеко уходя от традиционного описания инструментальности через творительный падеж, она представляет широкую гамму средств познавательной, преобразовательной и оценочной деятельности субъекта. Отношения при этом возможны как субъектно-объектные, так и субъектно-субъектные. Вторая часть исследования – описание семантики самого предмета: дискретные и недискретные виды орудий, а также средства-предметы – одушевленные и неодушевленные. Приводится и общая иерархическая структура субкатегории орудия (с. 178). По диапазону возможных реализаций непредметная инструментальность еще более пестра, при этом сюда включаются и таковые ситуации: *приветствовать сняв шляпу; он обрадовал ее*

тем, что помог и т.д. Интересны замечания в финале главы о том, что говорящий может “понижать” целенаправленное действие: *поставить на ноги правильным лечением – лечить массажем – делать массаж, потирая ушибленное место* и т.д. (с. 186). Незаметное сначала постепенное движение в сторону чистой семантики делает описание ситуаций в этой главе неизменно интересным, однако уводящим от онтологической “двойной артикуляции” языка. Поэтому иногда ощущается потребность в дополнительной коррекции: – со стороны языковой формы инструментальных конструкций, а не только со стороны их содержания.

Вторая часть [4] отличается и от предшествующих выпусков ТФГ, и от первой части этого же тома. Если при чтении всех предыдущих текстов перед глазами вставал образ чего-то близкого или к “Лаокоону” или к “Рабу” Микельанджело, т.е. образ человека, мучительно борющегося с путами (змеями), то здесь возникает образ спокойной рафаэлевской ясности (речь идет о главе О.Н. Селиверстовой и Л.А. Прозоровой “Коммуникативная перспектива высказывания”). Лингвистически, поскольку это относится и к языку, и к его теории, важно понять, в чем тут дело: в типе исследователя? в научной школе? в языковом уровне? в открытой/закрытой экспликации таксономических трудностей? в согласовании своих терминов с рутинно-традиционными? Как представляется, секрет этот доступен для разгадывания, но об этом мы хотим сказать несколько позднее.

О.Н. Селиверстова и Л.А. Прозорова исследуют область, насчитывающую не более сорока лет серьезного изучения. Во всяком случае автору этих строк не раз приходилось в качестве студентки русского отделения МГУ слышать с кафедры тезис о том, что в русском языке порядок слов абсолютно свободный. Когда же в 1971 г. меня пригласила В.А. Белошапкова читать спецкурс “Теории Актуального членения предложения”, очень известный профессор-филолог спросил меня: “Ну, что же это за членение такое, что оно стало таким актуальным?”. За небольшой срок определение механизма расположения русских слов прошло большой путь от плоскостного истолкования до понимания (возможно, еще не полного) многомерности некоего сложно устроенного явления. Как представляется, этот путь был связан с тем, что логоцентрическое языкознание принципиально не было готово к многомерности линейных (суперсегментных) явлений. Все это отражено в небольшой и стройной главе двух упомянутых авторов (см. раздел: “История вопроса”). Авторы вводят прежде всего базисные для своей теории понятия, действительно потом конструктивно действующие. Коммуникативная структура может быть как линейной, так и нелинейной. Элементы отношений связывает векторность, т.е. общая функциональная направленность. Сами элементы выстроенной пропозиции именуются коммуникативными элементами (КЭ). Каждый КЭ может выполнять функции либо характеризующего, либо характеризующего, либо обе функции одновременно.

Информативная структура, т.е. новое vs данное, не тождественна коммуникативной и не определяет ее однозначно. Важное понятие – фокус контраста: он возникает на пересечении коммуникативной и информативной структур. Обусловлен он следующим: “когда говорящий сообщает что-то, он тем самым отвергает некоторое другое положение дел” (с. 191). Коммуникативно нечленимым считается предложение, целиком попадающее в фокус контраста (в моих работах об АЧ такие высказывания назывались “глобальными”). “Тема” и “рема” используются только при обращении к коммуникативно членимым. Авторы критически анализируют все известные теории объяснения функций порядка слов и приводят по каждому поводу убедительные примеры. Возразить можно только по одному примеру из Д. Хармса: *На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться* (с. 198). Порядок слов во втором предложении можно объяснить не только причинно-следственными связями, но и поставить его в общий ряд с фразами типа: *Собрался уходить – телефон зазвонил; Подъезжаем к Крыму – снег лежит*, а в изолированных предложениях – *Смотри, папа идет* и под. То есть это

высказывания с семантикой неожиданной ситуации (или контрситуации). Убедительным и новым положением авторов является критика многих предыдущих теорий за то, что они оказываются в состоянии объяснить только выбор исходной точки высказывания, но не имеют интерпретационной силы для дальнейшего развертывания всех КЭ. Это развертывание КЭ в главе описывается через отношения X-мого и X-щего, при этом типы отношений могут развертываться как последовательно, так и через параллельные блоки. Говоря об инициальном вынесении топика в большинстве неиндоевропейских языков, авторы (с. 206), приводя русский пример *Петр Иванович, у него характер отвратительный*, считают такое “асинтаксическое характеризуемое” для русского языка нетипичным. С этим тезисом согласиться трудно; более того, русский язык в системе “разговорная речь” очень близок к этой архаической дискурсивной модели, именно с ней обычно борются учителя в школах (*Татьяна, ей Онегин написал потом письмо и под.*). Этой модели посвящены многие исследования наших ведущих специалистов по РР.

Одним из самых сильных мест предлагаемой теории является метод тестирования, разработанный О.Н. Селиверстовой и Л.А. Прозоровой: X-щее, попадающее в фокус контраста, является ремой. А выявляет фокус контраста следующий тест: на потенциально возможную позицию подставляется элемент-не носитель противопоставления в составе данного высказывания. Если высказывание становится неотмеченным или ложным, то это есть действительно фокус контраста:

*За спиной он держал нож;
? За спиной он держал руки;
Он держал руки за спиной.*

При этом нельзя не заметить, что из этой теории естественно выводится идея линейной изотопии элементов высказывания, центром которой является здесь глагол. О.Н. Селиверстова и Л.А. Прозорова связывают коммуникативную перспективу и с синтаксическими функциями членов высказывания. Рядом ученых было замечено, что появление SV-структур в архаических текстах связано с увеличением кругозора, расширением числа актантов, в этих случаях через инициальное S маркировалось абсолютно новое лицо. Именно эти идея оживает в связи с чтением необычайно интересного раздела: “Условия появления случайного персонажа”. Введение начального S, оказывается, во многих случаях является ключом к новой и тонкой интерпретации самых знаменитых текстов русской классики. Не останавливаясь, к сожалению, на всех деталях главы О.Н. Селиверстовой и Л.А. Прозоровой, попытаемся сформулировать в связи с ней два положения, как кажется, связанных с общими положениями ТФГ.

1. По мере углубления в текст главы возникает отчетливое ощущение присутствия в языке неких лексико-семантических ассоциативных моделей, не строго коррелирующих с собственно грамматикой; они и определяют развертывание высказывания. Таким образом, явно прощупывается “идеографический” характер коммуникативной перспективы (не равный иконическому), о котором до сих пор прямо не говорилось.

2. Загадка легкости и элегантной убедительности главы двух авторов, по нашему мнению, объясняется следующим образом. Авторы ни разу не обращаются к “действительности”, стоящей за высказыванием, онтологическим проблемам коммуникативной и информативной структур. Все сказанное ими замыкается на коммуникативных намерениях автора (говорящего), его фокусе контраста, эмпатии, на нюансах семантики того мира, который создается коротким высказыванием (т.е. представить, например, актанта случайным персонажем или нет – дело автора).

Раздел этот демонстрирует, как элегантно можно описать (и понять) языковые структуры, если эту интерпретацию сделать чисто антропоцентрической.

Глава В. Гладрова “Семантика и выражение определенности – неопределенности”, помещенная после главы О.А. Селиверстовой и Л.А. Прозоровой, представляет, по нашему мнению, достаточно корректно, самые общие и потому минимизированные,

сведения об этой категории в русском языке. Достаточно сказать только, что область неопределенных местоимений (т.е. *какой-нибудь, какой-либо, некий, кое-какой, некоторый, любой, всякий, тот, такой*) объявляется периферийной областью поля О/НО (с. 257). К сожалению, автор главы даже не ставит на обсуждение важный и назревший вопрос о том, не являются ли в русском языке О и НО самостоятельными полями (в оппозиции к нулевой ситуации) или хотя бы о бицентричности этого поля. Попытка такой интерпретации сделала бы описание более глубоким и более сложным адекватно объекту.

Вторая часть тома [4] заканчивается главой А.Д. Шмелева о категории О/НО в аспекте теории референции. Широкая возможность манипулировать референциальной областью в речи (одна из особенностей русского языка) стала использоваться как особенно благодарный прием в наше политизированное время. Ср. *Мы конечно за реформы* (эти? вообще?); *Президент нужен* (именно этот? какой-нибудь?). Поэтому слова А.Д. Шмелева о “компенсации артиклей” в русском языке несколько наивны: русский язык умеет их и не компенсировать. См. также известную в пушкинистике дискуссию о том, чьим же братом был Ленский: *Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего*.

Сталкиваясь с ключевым вопросом об отношении языка и действительности, А.Д. Шмелев изящно останавливается на полпути: “для лингвиста реальная действительность – эта та действительность, которая подается говорящим как реальная” (с. 209). А на самом деле как? А для говорящего – как? Абсолютно соглашаясь с А.Д. Шмелевым, я не могу не подчеркнуть, что это его положение, процитированное выше, по сути перечеркивает рассуждения о том, что суть высказываний в их истинности или ложности: высказывание именно “подается” таким образом. Кроме того – и это мое глубокое убеждение как лингвиста – говорить о ложности/истинности высказывания вообще некорректно. Высказывание есть факт речевой деятельности и факт речевой действительности, оно обозначается через метапонятие, как слово, звук и под., поэтому, как и они, оно находится вне истинностных ценностей. Истинным/ложным может быть с у ж д е н и е, или, иначе говоря, то, о чем в высказывании говорится.

Удачным для решения многих проблем можно считать введение А.Д. Шмелевым понятия “денотативного пространства”. Это фрагмент внеязыковой действительности, в котором “фиксируется референт данного языкового выражения”. Он показывает далее, что в сущности за пониманием определенности стоят два подхода – прагматический (известности со стороны участников коммуникативного акта) и логический (единственность объекта, удовлетворяющего выбранной номинации). А.Д. Шмелев намечает пути синтеза этих двух подходов. Дальнейший текст его главы становится более лапидарным и по существу кратко излагает многократно обсуждавшиеся в литературе (не только о русском языке) проблемы референтности в переменном денотативном пространстве. Приводится (не всегда оптимальный вариант) по примеру на такие ситуации: *Каждый день к нему кто-то приезжал; Маша хочет выйти замуж за какого-нибудь математика; -нибудь* предположительные ситуации и т.д. По всем этим поводам в последнее десятилетие сказано уже очень много; в том числе и об интродуктивной функции *один* и т.д., поэтому в этой части глава несколько напоминает лекционный обзор.

Подводя итоги нашей обзорной статьи, необходимо высказать следующие общие соображения. ТФГ в целом – это заявка на теорию грамматики вообще и на теорию русской грамматики в частности. И эта заявка сильная. Трудности, возникавшие при анализе ТФГ, во многом связаны и с тем, что теории описания языка интерпретирующего характера, в пределах которой трактовались бы и вопросы онтологи-

ческого свойства (отношения языка и внеязыковых феноменов, функционирование самых маргинальных языковых единиц) в нашем отечественном языкознании не было давно, кроме параллельно создававшейся теории Ю.Д. Апресяна и его учеников. Авторы не стремились оставаться только в кругу “валоризованных”, т.е. грамматизованных как в перцепции, так и в таксономии, единиц, но не боялись отражать и неясные промежуточные ситуации, неоформившиеся категории и т.д.

Выпуски (тома) ТФГ появлялись в эпоху, когда стремление к общей объясняющей теории стало сменяться яркими блесками фрагментарного инсайта, действительно, часто вызывающего восхищение. Увлечение находками стало заслонять ценность поиска, пути, а обмен только “интересностями” – мучительность построения глобальной и адекватной самому объекту не всегда привлекательной архитектурной конструкции.

Оценить и правильно, т.е. встав на позиции авторов, интерпретировать все то, что содержится в четырех объемных томах, практически невозможно. Поэтому, естественно, в данной статье приходилось иметь дело с очень крупной оптикой. Но увидеть настоящую потребность сегодняшнего дня в пересмотре уже явно не соответствующих языковедческим достижениям лингвофилософских положений полувековой давности можно и глядя на ТФГ с “птичьего полета”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
2. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
3. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
4. Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
5. Николаева Т.М. (рец.): Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990 // ИАН СЛЯ. 1991. № 6.
6. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
7. Бондарко А.В. Основы построения функциональной грамматики // ИАН СЛЯ. 1981. № 6.
8. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
9. Бондарко А.В. Категориальные ситуации // ВЯ. 1983. № 2.
10. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
11. Бондарко А.В. О грамматике функционально-семантических полей // ИАН СЛЯ. 1984. № 6.
12. Бондарко А.В. К системным основаниям концепции “Русской грамматики” // ВЯ. 1987. № 4.
13. Николаева Т.М. Диахрония или эволюция? // ВЯ. 1991. № 2.

©1995 г. Б.А. УСПЕНСКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА КАК МЕЖСЛАВЯНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

История русского литературного языка – это, в сущности, межславянская дисциплина, которая в равной мере может относиться как к русистике, так и к славистике. В самом деле, основная проблема здесь – взаимоотношения церковнославянского и русского языка на разных исторических этапах или, иначе говоря, взаимоотношения восточнославянской и южнославянской языковой традиции. Таким образом, история русского литературного языка находится на стыке исторического языкознания (исследующего специфические процессы языковой эволюции) и языкознания ареального (исследующего специфические процессы языковой интерференции).

При этом как понятие "церковнославянского", так и понятие "русского" языка оказывается исторически изменчивым, т.е. меняет свое содержание в процессе исторической эволюции.

Говоря о русском языке, мы имеем в виду ту или иную совокупность восточнославянских диалектов (для древнейшего периода – это совокупность всех восточнославянских диалектов, в дальнейшем понятие "русский" связывается преимущественно с великорусскими диалектами). Но что имеется в виду под церковнославянским языком? Ясно, что речь идет о церковнославянском языке особой русской редакции, т.е. русифицированном церковнославянском. Что же представлял собой этот язык, и в какой мере он был русифицирован? Можем ли мы говорить о церковнославянском языке как о русском литературном языке (того или иного периода)? Какое отношение он имеет к современному русскому литературному языку?

Литературный язык всегда существует в противопоставлении живому (разговорному) языку, причем это противопоставление осуществляется за счет определенного набора признаков. Совокупность таких признаков прежде всего и определяет (конституирует) норму литературного языка. Эти признаки являются релевантными для языкового сознания, и вне этих признаков литературный язык не противопоставлен разговорному. История этих признаков (противопоставляющих литературный и живой язык на разных исторических этапах) является одним из основных моментов истории литературного языка (см. [1, с. 1–20], ср. также с. 177–178).

Таким образом, между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие; характер этого взаимодействия определяется типом литературного языка. Литературный язык может ориентироваться на живой язык, может отталкиваться от него, однако он всегда так или иначе с ним связан; в частности, эволюция живого языка отражается на эволюции языка литературного – в той сфере, где они не противопоставлены.

Вместе с тем, как известно, возможны ситуации, когда в функции литературного языка выступает язык, вообще никак не связанный с разговорным, т.е. совершенно другой язык, которым овладевают как иностранным. Именно так, например, функционирует латынь в германских или славянских католических странах до появления там национальных литературных языков; так же функционирует и церковнославянский язык в романских православных странах. В соответствии с нашими определениями такой язык не может быть признан литературным языком соответ-

ствующего языкового коллектива: мы можем сказать, например, что латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но не можем сказать, что латынь была польским литературным языком. В самом деле, латынью овладевают самостоятельно как иностранным языком; порождение латинского текста основывается на четко фиксированных правилах и осуществляется безотносительно к живому языку; соответствие этим грамматическим правилам и определяет правильность латинского текста.

Вопрос о том, как трактовать подобную ситуацию, имеет самое непосредственное отношение к истории русского литературного языка. Несомненно, что с принятием христианства в X в. и по крайней мере до XVIII в. функции литературного языка выполнял на Руси церковнославянский язык. Этот язык был усвоен русскими от южных славян. Можно ли считать церковнославянский язык русским литературным языком допетровского времени? Или же мы должны начинать историю русского литературного языка с XVIII в.? Такая точка зрения имеет своих сторонников (см., например [2, 3], ср. также [4]).

Полагаем, что мы имеем все основания рассматривать церковнославянский язык как русский литературный язык эпохи средневековья. Действительно, этот язык, будучи заимствован извне, никогда тем не менее не изучался как иностранный. С самого начала он вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян (т.е. с восточнославянскими диалектами) и очень скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка. В результате адаптации церковнославянского языка на Руси возникает особый русский извод этого языка. Таким образом осуществляется пересадка церковнославянского языка на русскую почву, и он пускает здесь глубокие корни.

Как же изучался церковнославянский? Мы знаем, как изучалась латынь: по грамматике. Но грамматик церковнославянского языка не было по крайней мере до XV в. Вместе с тем, первые грамматические сочинения очень неполны и изучить церковнославянский язык по ним невозможно: как правило, это либо трактаты о языке вообще, либо переложения латинской или греческой грамматики, либо, наконец, руководства для справщиков (переписчиков церковных книг) с перечнем трудных случаев. Более того, изучение грамматики могло даже вызывать отрицательное отношение (см. [5]). Первая сколько-нибудь полная грамматика церковнославянского языка появляется лишь в XVII в. — это известная грамматика Мелетия Смотрицкого, которая сначала была издана под Вильной в 1618 г., а затем в Москве в 1648 г. Как же изучался язык до этого?

Грамматик — в виде самостоятельной системы правил — не было, однако кодификация осуществлялась в процессе изучения книжного (литературного) языка. При чтении церковнославянских текстов устанавливались соответствия между формами книжного и разговорного языка; понятно, что в разных диалектных условиях такого рода соответствия были неодинаковыми. Ниже мы специально остановимся на процедуре изучения церковнославянского языка в Московской Руси (см. Приложение I).

Эти соответствия определяли прежде всего переход от книжного языка к не книжному (разговорному): обучение церковнославянскому языку было в основном п а с с и в н ы м — основной задачей было не создание новых текстов, а понимание уже имеющихся канонических текстов (см. [1, с. 20, 57, 77–78; 6, с. 36]). Церковнославянский язык воспринимается прежде всего как язык богослужения и религиозного просвещения, поэтому обучение языку выступает как путь к религиозной истине; в этих условиях главное — научить понимать сакральные тексты, а не научить активному владению языком. (Именно поэтому изучение грамматики могло вызывать протесты: предполагалось, что истина содержится в канонических текстах, между тем грамматика дает возможность порождать любые — в том числе и ложные — тексты: так, например, грамматика учит склонять слово *Бог* во множественном числе, и это порождает идею о многобожии; и т.п.).

Вместе с тем, устанавливая соответствия от книжного языка к не книжному, но-

ситель языка получал возможность с известным приближением писать на книжном языке. Поскольку эти соответствия несимметричны и необратимы (irreversible) – и при этом у него нет самостоятельных правил, позволяющих порождать книжные тексты, – он не может писать абсолютно правильно, однако он может приближаться к правильной речи.

Так, например, носитель языка знает, что книжное *градъ* соответствует разговорному *городъ*, книжное *власть* – разговорному *воласть* и т.п. Соответственно, он может исходить из форм разговорного языка, преобразуя их в книжные, например, он может образовать форму *вранъ* (исходя из своей формы *воронъ*), *блато* (исходя из *болото*) и т.п. Но совершенно так же он может преобразовать форму *полонъ* в *планъ* (если он не знаком с правильной церковнославянской формой *плѣнь*)!

Аналогичным образом носитель языка знает, что книжным формам аориста и имперфекта соответствуют в разговорном языке формы прошедшего времени с окончанием *-л*. Соответственно, и в этом случае он может исходить из разговорного языка при порождении церковнославянских форм; поскольку, однако, в разговорных формах прошедшего времени нет различения по лицам, которое есть в церковнославянских формах аориста и имперфекта, он может употреблять церковнославянские формы неправильно, недифференцированно, ср., например, "Старець *сотвориъ* молитву" в Житии Геннадия Костромского XVI в. и т.п.; или "Азь ... *би* челом" в Повести о Карпе Сутулове. В подобных случаях книжные формы выступают как сигнальный показатель книжности, свидетельствуя прежде всего о намерении изъясниться по-церковнославянски, т.е. как индикатор литературного характера текста. В других случаях носитель языка отдает себе отчет в необходимости какой-то дифференциации форм простых претеритов, однако не знает как именно нужно дифференцировать эти формы; исходя из фонетического сходства, он может смешивать окончания 3 л. ед. числа имперфекта (*-ше*) и 3 л. мн. числа аориста (*-ша*), окончания 1 л. ед. числа аориста (*-хъ*) и 3 л. мн. числа имперфекта (*-ху*), ср., например, во II Новгородской летописи "Сад весь *изгорѣша* овому тима [= тѣмя] *изгорѣша*, а иному чрѣво *погорѣша* иные в воде *потопаше*". В этих случаях, исходя из того, что книжный язык отличается от разговорного, носитель языка жертвует дифференциацией по числу, но не достигает дифференциации по лицу (см. [1, с. 148–149; 7, с. 58]). Перед нами, в сущности, типичные явления языковой интерференции (обычные вообще в случае языковых контактов).

Так создаются гибридные тексты – на не вполне правильном, г и б р и д н о м церковнославянском языке (см. [7, с. 54 сл.]). Основная масса оригинальных текстов, созданных на Руси, написана именно на гибридном языке. Такого рода тексты обнаруживают стремление пишущих писать по-церковнославянски, однако это никоим образом не стандартный церковнославянский язык.

Существенно, что на такие тексты не ориентируются при изучении церковнославянского языка – по ним не у ч а т с я. Языковая норма задается, таким образом, не в оригинальных текстах, а в канонических текстах, признаваемых богодухновенными (т.е. в сущности не созданными, а полученными). Эти канонические тексты не создаются, а воспроизводятся – они переписываются профессиональными писцами в специальных скрипториях. Переписывая канонические тексты, писец должен привести их в соответствие с нормой церковнославянского языка, принятой в данное время и в данном месте. Так, начиная с XII в., когда образуется специальная норма церковнославянского языка русской редакции (противопоставленная южнославянским нормам), писцы последовательно заменяют написания с *жд* (в соответствии с общеславянским **dj*) на коррелянтные написания с *ж*, написания типа *стлѣнь* регулярно заменяются на написания типа *стѣлнь* и т.п. (см. [1, с. 85, 92; 8, с. 99]). Старшие писцы (нотарии, справщики) более или менее внимательно следили за этим, и в древнерусских рукописях XII–XIII вв. мы нередко обнаруживаем следы их деятельности: проверяя написанный текст, они последовательно исправляют южно-

славянские написания на соответствующие русские в тех случаях, когда русская норма церковнославянского языка отличается от южнославянской.

Таким образом, норма определяется профессиональными писцами-филологами. Она реализуется в образцовых – так сказать, классических – текстах. Эти тексты заучиваются наизусть при овладении церковнославянской грамотой. Так при обучении церковнославянскому языку обязательно наизусть учили Псалтырь и Часослов (т.е. основные молитвы), а иногда также и Апостол. Заучивание наизусть позволяло овладеть риторически украшенной речью, основными синтаксическими конструкциями. Чем больше текстов человек знал наизусть, тем лучше он писал по-церковнославянски (подобно тому, как в Китае уровень грамотности определяется количеством иероглифов, которые знает человек); древнерусский грамотей, таким образом, – это всегда начесть, образованность которого непосредственно зависит от знания текстов.

Таким образом, общий корпус церковнославянских текстов, написанных на Руси, состоит из к а н о н и ч е с к и х текстов, написанных на более или менее стандартном церковнославянском языке русской редакции, и текстов о р и г и н а л ь н ы х, написанных на гибридном церковнославянском. В первом случае можно говорить о р у с и ф и к а ц и и церковнославянских текстов в процессе их адаптации на русской почве: так писцы, переписывая тексты, приспособляли их к восточнославянским диалектным условиям. Во втором случае имеет место, напротив, с л а в я н и з а ц и я русских текстов – или, точнее, русской языковой деятельности, – когда русские люди (носители восточнославянских диалектов) пишут по-церковнославянски, исходя из естественных речевых навыков.

В первом случае имеет место р е д а к т и р о в а н и е текстов в процессе его воспроизведения. Между тем, во втором случае действуют механизмы п е р е к о - д и р о в а н и я, т.е. преобразования своего текста в чужой (некнижного – в книжный). Очевидно, что это принципиально разные механизмы. Существует качественная разница между ситуацией, когда писец исправляет написания с жд на соответствующие написания с ж, например, *рождѣство* на *рожьство* (в случае рефлекса *dj), и ситуацией, когда человек порождает церковнославянскую форму *сѣѣща*, исходя из естественной для него формы *сѣѣча* (в случае рефлекса *tj); в первом случае имеет место процесс редактирования, во втором – процесс перекодирования. В последнем случае появляются характерные гиперкорректные формы, т.е. гиперславянизмы (такие, как *планъ* вместо *плѣнь*, *моѣитися* вместо *мочитися* и т.п.), указывающие на намерение писать по-церковнославянски при недостаточном владении книжным языком.

Именно механизмы перекодирования и определяют признаки, релевантные для противопоставления церковнославянского и русского языка; набор этих признаков не является стабильным. Вне этих признаков церковнославянский и русский оказываются не противопоставленными в языковом сознании, т.е. образуется нейтральная зона, где допускается свободное чередование церковнославянских и русских по своему происхождению форм (см.: [7, с. 55]). В рамках этой нейтральной зоны и осуществляется естественное взаимодействие соотносимых (коррелянтных) церковнославянских и русских элементов: чередуясь, они распределяют свои функции.

В этих условиях противопоставление церковнославянского и русского языка приобретает функциональный характер; генетические различия отходят на второй план, поскольку в языковом сознании они не обязательно ассоциируются с противопоставлением книжного и некнижного языка.

Так вычленяются м а р к и р о в а н н ы е к н и ж н ы е э л е м е н т ы (которые в принципе свидетельствуют о намерении писать на книжном, т.е. церковнославянском языке) и м а р к и р о в а н н ы е н е к н и ж н ы е э л е м е н т ы (от которых в принципе отказываются при порождении книжного текста).

В XVIII в. создается новый литературный язык, который призван заменить церковнославянский в качестве языка новой, европеизированной культуры, и провозглашается отказ от церковнославянского наследия (см. [9; 6, с. 115 сл.]). Однако отказ от

церковнославянского наследия – это в основном отказ именно от маркированных церковнославянизмов, т.е. от специфически книжных средств выражения (см. [7, с. 59, ср. с. 87; 10, с. 26]): немаркированные церковнославянские элементы остаются, и в результате новый русский литературный язык обнаруживает самую непосредственную связь с церковнославянской языковой традицией.

Вместе с тем, в отличие от церковнославянского языка, на котором только писали, но не говорили (см. [1; 6]), новый русский литературный язык призван стать языком разговорного общения. Подобно европейским литературным языкам, новый русский литературный язык является не только книжным, но и разговорным. Соответственно сюда проникают и элементы разговорного языка.

В результате современный русский литературный язык характеризуется органическим сплавом церковнославянских и русских по своему происхождению элементов. Эти элементы сосуществуют в языке, образуя коррелянтные пары, что создает особые стилистические и семантические возможности, отсутствующие в других языках. При этом слова церковнославянского происхождения, как правило, характеризуются более широким или более абстрактным значением по сравнению с коррелянтными русизмами (см. [11, № 3, с. 121 сл.; 12, с. 92 сл.; 13; ср. к дальнейшему: 6, с. 184 сл.]).

Иллюстрацией могут служить коррелянтные неполногласные и полногласные пары – такие, как *страж* – *сторож*, *хлад* – *холод*, *глава* – *голова*, *власть* – *волость*, *хранить* – *хоронить*, *бремя* – *беременный* и т.п.; в каждой из этих пар слово, представленное в неполногласной форме, обладает абстрактным значением, тогда как соответствующее слово, представленное в полногласной форме, имеет конкретное значение. Совершенно такие же семантические отношения характеризуют и коррелянтные слова церковнославянского и русского происхождения, противопоставленные по другим признакам (не по признаку полногласия), ср., например: *свеща* – *свеча*, *небо* – *нёбо*, *падеж* – *падёж* и т.п.

В некоторых случаях церковнославянский вариант оказывается единственно возможным в языке. Так происходит именно тогда, когда соответствующее слово прочно связывается с абстрактным или обобщенным значением: в этих случаях русская форма исчезает из языка, уступая место церковнославянской. Так, например, неполногласная форма *время* совершенно вытеснила исконно русскую форму *веремя*, которая зарегистрирована в древнерусских текстах (ср., вместе с тем, украинское *верем'я* "погода": это слово имеет здесь вполне конкретное значение, и это может объяснять сохранение полногласной формы); точно так же славянизм *член* вытеснил русскую форму *челон*, представленную в древнейшей письменности (слово *член* в значении "membrum virile" имеет конкретное значение, но это объясняется тем, что это слово в данном значении является термином – см. ниже). Совершенно так же славянизм *вещь* полностью вытеснил исконную русскую форму **вечь*, славянизм *пища* вытеснил исконную русскую форму **нича*: эти русские формы вообще не зафиксированы в текстах, но могут быть реконструируемы.

Вполне закономерно в этой связи, что научные термины образуются в русском языке (в XVIII–XIX вв.) главным образом с помощью церковнославянских языковых средств (наряду с использованием иноязычных заимствований): ведь научная терминология, по определению, имеет абстрактное (обобщающее классифицирующее) значение (см. [11, № 3, с. 123–124; 14, с. 264–266]). Примером могут служить такие термины, как *млекопитающее*, *пресмыкающееся*, *плотоядный*, *древесный*, *древовидный*, *влияние*, *извлечь корень* и т.п.: все они образованы из церковнославянских корней, и это закономерно. Попробуем образовать соответствующие слова из русских корней; результат окажется очень показательным – это может вызвать комический эффект! Если мы скажем, например, вместо *млекопитающее* – *молококоормящее* (или *молококоормячее*), вместо *влияние* – *вливание* и т.д. (последовательно заменяя церковнославянские компоненты на соотнесенные русские), это немедленно вызовет непо-

средственную ассоциацию с вполне конкретными понятиями, которые в научном языке неуместны. Так, например, *вливание* понимается как вливание какой-то жидкости и т.д., поэтому если мы скажем о "научном *вливании*" (вместо *влиянии*) это будет предполагать ассоциацию науки с жидким телом, что скорее всего покажется смешным. (Это не означает, что слово, обладающее конкретным значением, не может употребляться в каком-то условном – в частности, абстрактном – значении; существенно, однако, что слова церковнославянского происхождения в принципе имеют обобщенное, абстрактное значение и оказываются поэтому особенно удобными для научной терминологии.)

Если бы Льюис Кэррол был русским автором – т.е. если бы он создал на русском языке нечто вроде "Алисы в стране чудес" и "Алисы в зазеркалье" – он, несомненно, использовал бы соотношения славянизмов и коррелирующих русизмов: действительно замена церковнославянских элементов на русские или наоборот меняет смысл и может приводить к характерным недоразумениям: это создает особые возможности для языковой игры. Ниже мы продемонстрируем возможности такого рода игры на примере одного пушкинского стихотворения (см. Приложение II).

Мы говорили о лексике, но те же процессы наблюдаются и в грамматике. Так, парадигма слова *короткий* при изменении по степеням сравнения выглядит таким образом: *короткий* – *короче* – *кратчайший*: как видим, при образовании суперлатива полногласная форма (*короткий*) автоматически преобразуется в неполногласную (*кратчайший*). Это объясняется тем, что суперлатив в принципе имеет общее и абстрактное значение (в отличие от компаратива, где предполагается сопоставление конкретных объектов). Церковнославянская и русская формы предстают при этом как формы одного слова.

Соотнесенность славянизма с абстрактной семантической сферой отражается и на сочетаемости русских слов. Так, например, по-русски говорят *прервать разговор*, но *перервать нитку*: неполногласная форма (*прервать*) закономерно появляется в сочетании со словом, обозначающим нематериальное понятие (*разговор*), и, напротив, полногласная форма (*перервать*) появляется в сочетании со словом, обозначающим материальное понятие (*нитка*). Это происходит а в т о м а т и ч е с к и; речь идет, таким образом, об особом языковом коде русского литературного языка, которым бессознательно владеет каждый носитель этого языка. И в этом случае церковнославянская и русская формы предстают, в сущности, как формы одного слова – они объединяются в рамках одной парадигмы.

Разумеется, мы можем сказать *прервать* (не *перервать*!) *нить*, но это сразу же переводит речь в абстрактную или метафорическую сферу (например, можно сказать *прервать нить повествования*, *нить судьбы* и т.п.). Таким образом, церковнославянские формы оказываются формальными маркерами контекста. Иначе говоря, церковнославянские средства выражения могут определять не только семантику отдельного слова, но и целого текста.

Поскольку абстрактное, а также возвышенное содержание предполагает введение славянизмов (церковнославянские средства выражения), целые фразы в русском тексте могут иметь церковнославянский облик; иными словами, в рамках современного русского языка могут создаваться церковнославянские фразы. Хорошим примером может служить такая фраза, как *Да здравствует советская власть!* Эта фраза бесспорно принадлежит русскому литературному языку и очевидно, что она появилась относительно недавно. Вместе с тем, эта фраза с формальной точки зрения может рассматриваться и как церковнославянская: действительно, как лексика, так и грамматика этой фразы отвечают норме церковнославянского языка. Строго говоря, здесь нет ни одного собственно русского слова (в смысле генетической принадлежности): так *здоровствовать* и *власть* – это типичные славянизмы (с неполногласием), то же может быть сказано и о слове *советский* (с проявлением слабого редуцированного); равным образом и синтаксическая конструкция (*да* + индикатив) является церковнославянской

по своему происхождению. Итак, перед нами, в сущности, церковнославянская фраза. Вместе с тем, мы не можем выразить то же содержание, не прибегая к славянизмам, т.е. используя русские по своему происхождению формы. Мы вправе рассматривать эту фразу как церковнославянскую, но мы не можем перевести ее на русский язык. Мы могли бы перевести эту фразу на древнерусский язык (поскольку в древнерусском языке, в отличие от современного, не было еще органического синтеза церковнославянских и русских элементов), и она выглядела бы приблизительно так: *А свѣтскѣй волости здоровѣ быти!*

Итак, русский литературный язык обладает особыми стилистическими возможностями для выражения абстрактного, обобщенного, а также возвышенного, поэтического содержания.

Разумеется, в какой-то мере подобное явление может наблюдаться и в других языках. Так, например, во французском языке отвлеченное значение нередко выражается латинизмом, подобно тому как в русском языке оно выражается славянизмом. Это сходство особенно заметно в случае, так называемых "диспаратных пар", т.е. семантически соотнесенных, но формально разноосновных, гетероморфных пар (см. [14, с. 269; ср. также: 15, с. 348]). Ср.:

<i>спросить</i> – <i>вопрос</i>	<i>demander</i> – <i>question</i>
<i>(по)ранить</i> – <i>уязвимый</i>	<i>blesser</i> – <i>vulnérable</i>
<i>похож</i> – <i>сходство</i>	<i>ressemblant</i> – <i>similarité</i>
<i>вспомнить</i> – <i>вспоминание</i>	<i>se rappeler</i> – <i>mémoire</i>
<i>помогать</i> – <i>вспомогательный</i>	<i>aider</i> – <i>auxiliaire</i>
<i>голова</i> – <i>обезглавить</i>	<i>tête</i> – <i>décapiter</i>

Во всех этих случаях, как видим, семантически соотнесенное слово, обладающее производным значением, оформляется в русском языке как славянизм, а во французском – как латинизм, причем здесь не исключено прямое влияние французского на русский (см. [14; 16]). Существенная разница, однако, состоит в том, что в русском языке отношения между славянизмами и русизмами, как правило, выражается в виде формальных языковых соответствий, что и делает славянизацию столь продуктивным средством.

Сопряжение церковнославянской и русской языковой стихии позволяет лингвистам говорить о "двумерности" русского литературного языка. Так, Б.Г. Унбегаун определяет русский литературный язык как "двумерный" (a two-dimensional language) и противопоставляет его "одномерным" языкам (one-dimensional languages), ориентированным исключительно на разговорную речь, – таким, например, как современные украинский или белорусский (см. [17]).

Следует подчеркнуть, что наличие таких возможностей отличает русский литературный язык не только от других европейских литературных языков, но также и от церковнославянского. В самом деле, в церковнославянском языке такие формы, как *страж*, *свеща* и т.п. не имеют специальных коннотаций (это единственно возможные здесь формы, которые могут обладать как абстрактным, так и конкретным значением), однако они естественно появляются в русском языковом сознании, т.е. в перспективе носителя русского языка.

Очевидно, что появление такого рода коннотаций относится к тому времени, когда в результате распада церковнославянской диглоссии вместо церковнославянского языка появляется новый литературный язык – язык, противопоставленный церковнославянскому и объединяющий в себе церковнославянские и собственно русские элементы; этот язык появляется в XVIII в. и оформление его в основном заканчивается с Пушкиным (см.: [6, с. 167–183]). Тем не менее, процесс дифференциации абстрактных и конкретных значений при помощи противопоставления коррелянтных церковнославянских и русских форм продолжается и позднее (так, например, дифференциация слов *небо* и *нѣбо* устанавливается, видимо, не ранее второй половины XIX в.).

Таким образом, выразительные средства современного русского литературного языка отражают сложные процессы его формирования в XVIII–XIX вв. Вместе с тем мы можем констатировать, что церковнославянские языковые структуры продолжают жить в русском литературном языке.

Итак, современный русский литературный язык в большой степени связан по своему происхождению с церковнославянским. Каково же его отношение к русскому разговорному языку? В отличие от церковнославянского языка, который был языком по преимуществу письменным (см. [1; 6]), русский литературный язык полифункционален, т.е. может выступать и как средство повседневного общения. В какой мере сохраняется в этих условиях дистанция между литературным языком и разговорной речью?

В последние годы внимание лингвистов – исследователей русского языка – все чаще привлекает явление, которое называется несколько неуклюжим термином "некодифицированные сферы речевого общения". Исследования русской разговорной речи показали, что здесь наблюдается множество конструкций, не учитываемых обычными грамматическими описаниями русского языка и воспринимаемых – когда на них обращается специальное внимание носителя языка – как безусловно неправильные. Иначе говоря, в реальной речи носителей русского языка можно найти много примеров, явно противоречащих грамматической норме. Это явление имеет наддиалектный характер; оно никак не зависит от степени грамотности или интеллигентности говорящих – такого рода примеры в принципе обнаруживаются у всех слоев населения, включая сюда и носителей русского литературного языка.

Это последнее обстоятельство для нас особенно важно: носители русского литературного языка, т.е. безусловно грамотные люди, очень часто и при том достаточно последовательно отклоняются от грамматической нормы. Это явление характеризует исключительно устную, разговорную речь: когда они пишут, то не делают подобных ошибок. Эти отклонения от грамматической нормы, как правило, не замечаются – постольку, поскольку говорящему свойственно вообще воспринимать свою речь именно через призму эксплицитно освоенной нормы (см. [1, с. 3 сл.]).

Вот несколько примеров (см. [18, с. 47–48, 51–53; 19, с. 245, 265]):

- (1) Боря, я к тебе в следующий раз с хной *со* своей приду.
Ты можешь разбавить, вон там *в* бутылке есть *в* большой.
За чем эта очередь? – За кофточками за шерстяными.
- (2) Она почему навага?
Она где тарелка?
Закройте дверь. – А кто *ее* держит дверь?
Он где лежит сахар?
Она еще не подсохла синяя кофта.
- (3) Вы не видели белая собака?
Вы мне дадите вот именно веточка и все.
Отгрохали домина какой.
Поддай вон сумка Анны Васильевны.
- (4) А чай у меня где пачки?
Ребята, имеется пшеничная каша *остаток*.
У вас крабы не сохранились коробка. – Там есть крабы баночка одна.
У нас газ уже последний баллончик. – Что? – Газ последний баллончик.
Клав, зеленая полоска есть у нас поплин?
- (5) Папе надо кресло сидеть.
Дайте мне бумагу писать.
У нее нет стола заниматься.
Где у вас полотенце руки вытирать?
Зеркало в ванную повесить никак не соберусь купить.

(6) *Мама и я, мы с ней ели рыбу.*

А вот у маминого брата у твоего, у него жена работала?

Вот эта вот, которую пересадил, вишенка, она плохо идет.

А как братик у тебя есть зовут его?

А ребята эти, которые играют в командах, сколько им лет?

Она с пяти лет у них во дворе французенка жена повара, она у нее училась.

(7) Это вторая приемщица которая вы первый раз мерили костюм.

Можно полагать, что мы имеем здесь дело не со случайными фактами речи (*parole*), объясняемыми ее сбивчивостью и эллиптичностью, но с системными фактами языка (*langue*). На системность обнаруживающихся здесь моделей указывает как их регулярность, так и соображения типологического характера. В самом деле, явления, выходящие за рамки литературной нормы, которые мы наблюдаем в русской разговорной речи, могут соответствовать кодифицированным формальным особенностям других языков.

Так, в первой группе примеров обнаруживается повторение предлогов при согласуемых членах предложения. Это означает, что предлоги ведут себя не как самостоятельные служебные элементы, а как аффиксы (см. [20, с. 98–109]), подобно, например, арабскому артиклю, который повторяется при согласуемых словах (определении и определяемом). Как известно, повторение предлогов при согласуемых словах регулярно наблюдается в древнерусских текстах, а также в языке фольклора и в диалектной речи (см. [21, с. 139–140; 22; 23]). Отражение этого явления в современной разговорной речи явно неслучайно.

Аналогичным образом в примерах второй группы сочетание в одной фразе существительного и относящегося к нему личного местоимения служит выражением категории определенности, т.е. данная конструкция выполняет функции артикля других языков.

В примерах третьей группы прямое дополнение выражается существительным в именительном падеже, как это имеет место в тех языках, в которых нет винительного падежа. Такие конструкции ("косить трава", "взять гривна", "взять куна" и т.п.) широко представлены как в древнерусских текстах, так и в диалектной речи (ср. реликт подобной конструкции в современном литературном языке: "шутка сказать").

Между тем, в примерах четвертой группы существительное в именительном падеже выступает в функции определения подобно тому, как это имеет место, например, в германских языках.

Употребление инфинитива, непосредственно зависящего от существительного и выступающего в функции определения этого существительного, которое мы видим в пятой группе примеров, соответствует употреблению инфинитива в ряде германских и романских языков.

Точно так же в предложениях шестой группы мы обнаруживаем синтаксические конструкции, вполне обычные во французском, а также в немецком языке; действительно, некоторые из этих предложений выглядят как дословный перевод с французского или немецкого (ср., например: *Marie et moi, j'ai mangé du poisson avec elle; Maria und ich, wir haben Fisch gegessen* и т.п.).

Наконец, относительное предложение седьмого примера построено по семитскому типу (см. в этой связи [24, с. 77–78]). Если в обычном для нас случае местоимение, соединяющее главное и придаточное предложения, входит в состав придаточного (и управляется сказуемым главного предложения), то в семитских языках оно входит в состав главного предложения (и согласуется с подлежащим главного предложения).

Сопоставляя некодифицированные явления русской разговорной речи с кодифицированными характеристиками других языков, мы должны отметить и существенное различие. То, что в других языках носит обязательный характер (выступает как обязательный способ выражения или как обязательная языковая категория), в разговорной речи оказывается факультативным, поскольку всегда может быть заменено коди-

фицированными (литературными) формами и конструкциями. Факультативность выступает в данном случае именно как следствие некодифицированности.

Так или иначе, перед нами о с о б а я г р а м м а т и к'а, причем это грамматика именно русского нелитературного языка, отличающаяся от литературной нормы. Можно полагать, что мы имеем дело в данном случае с собственно русской, некнижной традицией, свободной от церковнославянского влияния; не случайно аналогичные конструкции мы наблюдаем в диалектной речи, а также в древнерусских текстах. Более того: сама дистанция между современным русским литературным и разговорным языком в какой-то мере соответствует, по-видимому, тем отношениям, которые имели место в свое время между церковнославянским и русским.

Специфические явления разговорной речи, которые не нашли отражения в литературном языке, позволяют оценить, таким образом, степень влияния церковнославянского языка на современный русский литературный язык. Мы можем констатировать, следовательно, что взаимоотношения церковнославянского и русского языков определяют не только начальный этап истории русского литературного языка, но весь период его эволюции.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мы можем наглядно представить себе, как изучали церковнославянский язык в древности (в частности, в Московской Руси), обратившись к современной старообрядческой практике. Как известно, старообрядцы в малейших деталях сохраняют культуру Московской Руси (см. [25; 26]); это относится и к процедуре изучения церковнославянского языка. Овладение книжным (церковнославянским) языком осуществляется в процессе знакомства с церковными текстами: учащийся осваивает эти тексты с помощью ресурсов своего родного языка. Чтение церковнославянского текста сопровождается объяснительным комментарием (на русском языке), благодаря которому слушающие вводятся в ситуацию и понимают содержание текста; это дает им возможность затем самостоятельно устанавливать соответствия между книжными и некнижными формами. Вот, например, как это происходит у старообрядцев-беспоповцев поморского согласия (подчеркиваем комментарий, которым сопровождается Житие св. Иоанна Кущника):

"И глаголаша ему блаженный Иоанн: Послушай отче мой помилуй мя. – Иоанн-то говорит: Ты, говорит, послушай, я тебе чего расскажу. – Родители вельми мя возлюбиста паче братия моя. – Меняшибко ведь родители любят-уважают. – Многим бо грамотам премудрым учаще мя хотяще велий сан возвеста мя. – Хотют научить меня все-таки ко грамоте, чтобы я грамотный был, чтобы выучился как следовает. – Якоже глаголет господин мой отца болий сан хошет мя поставити и своего стратилатства посем и брак сотворити хотя. – Хотют вырастить меня, научить, а потом женить хотют, брак сотворить, вот видишь, а ведь равно не оженишься, уйдет от них и все, не узнают они, где и взять" (см. [27, с. 151–152; ср. также: 28, с. 165–177]).

Следует подчеркнуть, что речь идет не о переводе церковнославянского текста (который в принципе признавался невозможным в Московской Руси, поскольку книжный и некнижный языки объединялись в языковом сознании, выступая как взаимодополняющие регистры единой коммуникативной системы (см. [1; 6]), но именно о свободном пересказе или комментарии, задающем контекст и в целом обеспечивающем понимание читаемого текста. Вместе с тем, как можно видеть, этот пересказ фактически сопровождается переводом трудных слов и форм: исходя из такого пересказа, слушатель без труда может привести эти формы в соответствие с формами разговорного языка, хотя эксплицитно это и не формулируется.

Мы можем с уверенностью сказать, что такая же процедура обучения церковнославянскому языку была принята и в Московской Руси. Действительно, совершенно аналогичные примеры комментирующего пересказа мы встречаем у протопопа Аввакума, см., например, рассказ о грехопадении:

"Адам же и Евва сшиста себе листвие смоковичное от древа, от него же вкусиста, прикрыста срамоту свою; и скрыстася под древо возлегоста. *Проспались бедные с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнях, со здоровных чаши голова кругом идет*" (см.: [29]).

Итак, подобная практика принята была в Московской Руси. Едва ли можно сомневаться в том, что она принята была и раньше – именно так, по всей видимости, изучали церковнославянский язык в Киевской Руси и, можно полагать, в других славянских странах.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Для того, чтобы продемонстрировать специфические возможности языковой игры в русском литературном языке, обусловленные противопоставлением церковнославянских и русских по своему происхождению элементов, мы рассмотрим четверостишие Пушкина:

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной.
(см.: [30, т. XIII, с. 239]).

В этом стихотворении сталкиваются два стиля, высокий и низкий, соотнесенные с церковнославянским и русским языком; они предполагают разные кодовые механизмы, и в зависимости от того, какой стиль имеется в виду, получается существенно разный смысл.

Выражения *измучась жизнью* и *изнемогая животом* могут рассматриваться как синонимичные, если слово *живот* трактовать как славянизм, т.е. слово высокого стиля (как известно, в церковнославянском языке *живот* означает "жизнь"); во всяком случае они соотносятся друг с другом. В самом деле, русская фраза *измучиться жизнью* представляет собой как бы перевод церковнославянской фразы *изнемогать животом*; вместе с тем, эта последняя фраза имеет в русском языке существенно иной, подчеркнуто конкретный и приниженный смысл: *изнемогать животом* говорят о человеке, у которого нарушены пищеварительные процессы, т.е. болит живот.

Равным образом, идиоматические выражения *парить орлом* и *сидеть орлом* явно соотносятся, но они получают существенно различное прочтение в разных стилистических кодах: *парить орлом* в высоком стиле предстает как метафорический образ поэтического творчества (отсюда такие слова, как *высокопарный* и т.п.), между тем *сидеть орлом* в разговорном языке означает "отправлять естественную нужду".

Наконец, выражение *праздность поносная* получает существенно различный смысл в русском и в церковнославянском языках и, соответственно, в высоком и низком стилях. Слово *поносный* в русском языке соотносится с поносом, а в церковнославянском означает "позорный"; такое же различие имеет место и между высоким и низким стилями. В зависимости от значения слова *поносный*, слово *праздность* может относиться либо к безделию, отсутствию активности (ср. *праздник*), либо к опорожняемому желудку (ср. *испражняться*).

Итак, это стихотворение написано как бы одновременно на двух языках: если мы читаем его в высоком (славянизированном) стилистическом коде, перед нами предстает поэт, ведущий рассеянный образ жизни; в другой перспективе перед нами предстает человек, страдающий от несварения желудка.

Мы видим, что здесь сталкиваются два разных языковых ключа – церковнославянский и русский – при этом последовательно обыгрывается противопоставленность абстрактного значения, соотнесенного с церковнославянским языковым пластом, и конкретного значения, соотнесенного с русским языковым полюсом. Одновременно обыгрывается многозначность слов, обусловленная их соотнесением с цер-

ковнославянским или русским языковым кодом, т.е. разное значение слова в церковнославянском и в русском языке и, соответственно, в высоком и низком стиле. Все это вызывает намеренно предусмотренный комический эффект: как видим, столкновение церковнославянского и русского лексического пласта в русском литературном языке создает исключительные возможности для языковой игры. Так обыгрываются специфические возможности русского литературного языка, обусловленные сосуществованием в нем церковнославянских и русских по своему происхождению элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Успенский Б А История русского литературного языка (XI–XVII вв.) Munchen, 1987.
- 2 Исаченко А В Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов // ВЯ 1958. № 3
- 3 Исаченко А В К вопросу о периодизации истории русского языка // Вопросы теории и истории языка Сборник в честь профессора Б А Ларина. Л., 1963
- 4 Worth S Was there a "literary language" in Kievan Rus? // S. Worth On the structure and history of Russian Selected essays. Munchen, 1977 (= Slavistische Beitrage Bd 110)
- 5 Успенский Б А Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.) // Литература и искусство в системе культуры / Отв. ред. Б Б Пиотровский. М., 1988.
- 6 Успенский Б А Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.) М., 1994
- 7 Живов В М Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. / Под ред. К В. Горшковой, Г.А. Хабургаева М., 1988
- 8 Успенский Б А Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров) // Актуальные проблемы славянского языкознания / Под ред. К В. Горшковой, Г А Хабургаева М., 1988.
- 9 Успенский Б А Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- 10 Живов В М Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // Rling. 1988. № 1.
- 11 Трубецкой Н С Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, № 3.
- 12 Shevelov G Y Die kirchenslavischen Elemente in der russischen Literatursprache und die Rolle A Šachmatovs bei ihrer Erforschung // A Šachmatov, G.Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache Wiesbaden, 1960
- 13 Успенский Б А К вопросу о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка // Wiener Slavistisches Jahrbuch Bd. XXII 1976.
- 14 Issatschenko A Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // Zeitschrift fur slavische Philologie Bd XXXVII. 1973–1974. № 2.
- 15 Исаченко А В К вопросу о структурной типологии славянских литературных языков // Slavia. Roč XXVII 1958
- 16 Лотман Ю, Успенский Б Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры ("Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка" – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Груды по русской и славянской филологии. XXIV: Литературоведение Тарту, 1975 (= Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 358).
- 17 Unbegaun B O The Russian literary language. a comparative view // The modern language review. V LXVIII, 1973 № 4
- 18 Лантев О А О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // ВЯ 1966 № 2
- 19 Русская разговорная речь / Отв. ред. Е А. Земская М., 1973.
- 20 Успенский Б А Структурная типология языков. М., 1965.
- 21 Шахматов А А Исследование о двинских грамотах XV в. Ч. I–II. СПб., 1903 (= Исследования по русскому языку. Т II Вып. 3).
- 22 Гринкова Н П Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах // Язык и мышление. XI М–Л, 1948
- 23 Собинникова В И Повторение предлога в говорах Гремяченского района Воронежской области // Труды Воронежского ун-та. Т. XXIX 1954
- 24 Зализняк А А, Падучева Е В К типологии относительного предложения // Семиотика и информатика Вып. 6. М., 1975.

25. Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.
26. Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992.
27. Никитина С.Е. О взаимоотношении устных и письменных форм в народной культуре (на материале полевых исследований старообрядцев) // Славянский и балканский фольклор: Реконструкция древней славянской духовной культуры. М., 1989.
28. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
29. Памятники истории старообрядчества. Кн. I. Вып. I [Сочинения протопопа Аввакума]. Л., 1927 (= Русская историческая библиотека. Т. XXXIX).
30. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. I–XVI. Sine loci. Изд-во АН СССР. 1937–1949.

© 1995 г. В.М. АЛПАТОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В РОССИИ И ЯПОНИИ (Опыт сопоставительного анализа)

В данной статье мы хотим сопоставить процессы формирования и развития литературного языка в двух странах – России и Японии. На первый взгляд, эти две страны, принадлежащие к разным культурным ареалам и в нынешний период оказавшиеся в очень различных ситуациях, имеют между собой мало общего. Однако кое в чем исторические судьбы их имеют и сходство: обе страны относительно долго сохраняли традиционный, средневековый тип общества, а затем подверглись ускоренной европеизации, оказавшись в роли "догоняющих"; в культурном отношении там и там происходил процесс синтеза традиционных¹ и западных элементов; как в России, так и в Японии развитие шло скачкообразно и сравнительно спокойные эпохи сменялись периодами коренной ломки и переоценки ценностей. Такая общность проявлялась и в истории литературного языка, хотя, безусловно, немало было и различий. Нам хотелось бы попытаться выявить эти сходства и различия начиная от периода ускоренной европеизации (петровское время в России, 60-70-е гг. XIX в. в Японии) до наших дней.

Сами по себе истории развития литературного языка в каждой из двух стран изучены хорошо. Исследований русского материала немало², здесь наряду с классическими работами В.В. Виноградова и Г.О. Винокура хотелось бы отметить недавно изданную книгу М.В. Панова [1], специально посвященную истории литературного произношения, но содержащую и краткие, но четкие и точные характеристики этапов развития русского литературного языка с начала XVIII в. до наших дней. В Японии существует немало исследований, выполненных в рамках социолингвистической школы "языкового существования" (см. анализ этой школы в книге [2]). В отличие от нашей страны в Японии основное внимание уделяется описанию функционирования литературного языка в современном обществе, однако существуют и обстоятельные исследования исторического характера, см., например [3]. У нас данными вопросами занимался Н.И. Конрад, см. особенно статью [4]. Н.И. Конрад одним из первых в нашей науке занимался и сопоставительным анализом историй литературных языков: в той же статье японские процессы сопоставляются с аналогичными китайскими. Однако систематическим сравнением таких процессов в России и Японии мы занимаемся, по-видимому, впервые (о Японии мы писали в [5]).

1. СИТУАЦИЯ НАКАНУНЕ ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Речь идет о ситуации в России к концу XVII в., в Японии в середине XIX в. В главном здесь существовало сходство, конечно, не составляющее специфики этих двух стран. Речь идет о функциональной диглоссии, при которой грамотные люди говорили на одном языке, а писали на другом. Автор первой зарубежной грамматики русского языка Г.В. Лудольф писал в 1696 г.: "Не только Св. Библия и остальные

¹ Еще одна общность связана с тем, что там и там традиционные элементы в свою очередь были результатом синтеза исконной культуры с более передовой: византийской в России, китайской в Японии.

² Они, однако, неравномерны по временным рамкам: если XVIII и XIX вв. изучены весьма полно, то литературный язык советского периода во многом остается "белым пятном".

книги, на которых совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком... В домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по которым изучаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски" [6, с. 113–114].

В Японии ситуация была сходной, хотя в отличие от России письменных языков было два: камбун и бунго. Из них камбун представлял собой специфическое для дальневосточного культурного ареала явление, аналогии ему существовали лишь в пределах этого ареала, в частности, в Корее, и, по-видимому, возможны лишь для стран, использующих иероглифику. Тексты на камбуне (дословно: китайское письмо) писались как бы по-китайски: они состояли из одних иероглифов, расположенных по правилам китайского синтаксиса³, но обычно снабженных дополнительными значками, указывавшими, во-первых, на случаи, когда японский словопорядок не соответствовал китайскому, во-вторых, на наличие в эквивалентном японском тексте не имевших китайских параллелей грамматических показателей. Камбун был не только чисто книжным, но и чисто письменным языком. Если же камбунный текст надо было произнести вслух, то его читали на бунго, используя информацию, содержащуюся в значках. Аналогом камбуна для России могла бы быть гипотетическая ситуация, при которой русский канцелярист писал бы свои бумаги по-гречески, зная при этом значение всех используемых слов и правила греческого синтаксиса, но не владея правилами произношения греческих букв и озвучивая свой текст при необходимости по церковно-славянски. По-видимому, такая ситуация просто невозможна при фонетическом письме, когда правила чтения букв усвоить гораздо легче, чем сложные правила перевода одного языка в другой. Формирование камбуна облегчалось и строем китайского языка, лишенного морфологии.

В отличие от камбуна бунго (дословно: письменный, литературный язык⁴) можно типологически сопоставить с церковно-славянским. Это также был полностью "свой" литературный язык. По происхождению, правда, церковно-славянский восходил к разговорному языку другого славянского народа, бунго же представлял собой обработанный язык столичного (киотского) двора IX–XII вв., то есть на всех этапах развития был языком японцев⁵. Другое различие состояло в том, что церковно-славянский был общим языком культуры ряда народов, а бунго ограничивался пределами обособленной островной Японии. Но пути их развития сходны: из разговорных они превратились в книжные, подверглись нормированию и к рассматриваемому времени полностью вышли из бытового обихода.

Два японских литературных языка жанрово распределялись: камбун господствовал в деловой сфере, на нем также писали научные трактаты ученые "китайской школы" (кангакуся). В художественной литературе, театре, религии использовали бунго, его предпочитали и кокугакуся, ученые "японской школы" (именно они создали национальную лингвистическую традицию и определяли нормы бунго). Ср. с ролью церковно-славянского, использовавшегося почти во всех культурных сферах, но менее всего в деловой; здесь мы имеем параллель с бунго. Но соотношение сфер употребления отличалось: показательно само (появившееся позже) название "церковно-славянский язык", "связь с богослужением всегда определяла отношение к этому

³ Японцы, писавшие на камбуне, считали, что пишут на самом для них престижном китайском языке, на деле же в камбунных текстах проявлялась языковая интерференция и они отличались от китайских.

⁴ Этот термин представляет собой кальку с голландского и распространился уже в период европеизации Японии.

⁵ Это различие не было существенным в данную эпоху, но позже, в период борьбы за новый литературный язык его сторонники в России рассматривали церковно-славянский не просто как другой язык, но как чужой, иностранный [7, с. 32, 39]. В Японии такая точка зрения никогда не существовала и принципиально была невозможна.

языку" [7, с. 4]. Эта окраска определялась самим происхождением этого языка, распространившегося на Руси вместе с христианской литературой. Бунго же имел светский характер, формировался он прежде всего в сфере художественной литературы, а его религиозное использование было лишь одной из функций.

Сами носители языка в обеих странах безусловно воспринимали церковно-славянский и бунго не как особые языки, а как наиболее престижные варианты собственного языка. В Японии такой взгляд, как мы увидим, существовал не только тогда, но и много позже. Применительно к России и некоторые лингвисты оценивают различия русского и церковно-славянского аналогичным образом; Г.О. Винокур писал о церковно-славянском языке и о "приказном языке" (см. ниже): "Надо думать, что в допетровское время это были, собственно, не два разных языка, в точном смысле термина, а скорее два разных стиля одного языка" [8, с. 111]. На наш взгляд, здесь точнее подход М.В. Панова: "Есть две системы словесного общения, и ими владеет один и тот же народ, более того: одна и та же территориальная и социальная группа людей. Когда такие системы надо считать двумя языками (а не стилями, не разновидностями одного языка)? Самый простой и, может быть, самый убедительный ответ: когда каждой системе надо отдельно учиться. По-другому (но то же): когда знание одной системы нельзя по каким-то правилам превратить в знание другой" [1, с. 319]⁶. С этой точки зрения бунго и церковно-славянский – особые языки.

Еще одна общность заключалась в том, чем эти языки различались с разговорными. «В области морфологии граница между "славенским" языком и "простым русским" обнаруживалась нагляднее всего» [8, с. 126]. То же было и с бунго. Когда разговорный язык в том или ином виде получал письменную фиксацию, главным индикатором того, что здесь – не бунго, всегда является морфология, весьма сильно, особенно в глаголе, отличная от бунговской; см. перечень отличий в морфологии между бунго и разговорным языком XVI–XVII вв. у Н.А. Сыромятникова [9, с. 6–7].

Оба литературных языка были нормированы. «Литератор предшествующего времени (до конца XVII в. – В.А.) мог быть в большей или меньшей степени грамотен, мог более или менее строго соблюдать предписания господствующей языковой нормы или же уступать время от времени внушениям своей обиходной речи, но всегда знал, что такая норма есть, что изучают ее по "Часослову" и "Псалтыри", что ее литературное выражение можно наблюдать в "Четых Минеях" и других подобных книгах» [8, с. 72]. В Японии также существовали образцовые тексты. Однако если все памятники, названные Г.О. Винокуром – церковные, то в Японии это были светские художественные тексты, поэтические и прозаические: поэтическая антология X в. "Кокинсю", прозаический памятник XIV в. "Цурэдзурэгуса" и др. Другой источник нормы – инструкции и наставления в грамматиках и трактатах. Тут были различия. "Нормы церковнославянского языка определялись не столько нормативными грамматическими описаниями... сколько наличием, так сказать образцовых текстов, написанных на этом языке" [7, с. 3]. Церковнославянских грамматик, написанных в России, не было, а русское издание в 1648 г. написанной в Вильно грамматики М. Смотрицкого стало единственным в своем роде; правда, еще бывали краткие наставления вроде предисловия к изданной в Москве в 1645 г. "Псалтыри" [см. 8, с. 72–73]. Б.А. Успенский отмечает, что "описания такого рода появляются вообще относительно поздно" [7, с. 3], но Япония опередила здесь Россию: к моменту европеизации здесь уже два века существовала развитая лингвистическая школа, заложившая основы грамматического анализа и установившая строгие орфографические нормы бунго, основанные на детальном анализе орфографии образцовых, в основном древнейших памятников. Подробнее о японской традиции см. [10].

Нормы бунго, в отношении орфографии значительно более разработанные по

⁶ Пример камбуна показывает, что, вообще говоря, это не "то же". Как мы видели, существовали правила соответствия между бунго и камбуном, но каждой системе приходилось учиться отдельно.

сравнению с нормами церковно-славянского языка, тем не менее были менее полными: они не распространялись на фонетику. Существовала достаточно строгая и охватывавшая зоны распространения различных диалектов традиция церковнославянского произношения, перечисление ее основных черт см. [1, с. 322]. Для бунго ничего подобного не было, хотя тексты на бунго могли произноситься и вслух. "Озвучивание" текстов на бунго обычно происходило по-разному в разных частях Японии в зависимости от диалектного членения. Определенные традиции иногда были, например, в театре, но были скорее жанровыми. Причина здесь, видимо, в особенностях дальневосточного культурного ареала: здесь всегда (по крайней мере, до массовой европеизации) культура понималась почти исключительно как письменная, существовал своего рода "культ" написанного. Здесь сыграли роль и сложность иероглифической китайской письменности, вызывавшей почтительное отношение, и языковая ситуация, издавна сложившаяся в Китае, где отсутствовало речевое взаимопонимание между жителями разных провинций и языковое единство поддерживалось лишь на письме⁷. Из Китая эта культурная особенность перешла в Японию. И в наши дни один из виднейших японских социолингвистов пишет о том, что для других народов, в том числе для европейцев, слово – это прежде всего то, что сказано, а письмо – лишь вспомогательное средство, но для японца слово осознается как нечто написанное и это важнее всего [11, с. 43; 12, с. 26]. Поэтому всегда для японцев очень значимым считалось овладение письменной нормой⁸, а устная речь независимо от тематики не обладала престижем. С другой стороны, церковно-славянский язык в отличие от бунго воспринимался как сакральный и важно было сохранять его обособленность от "мирского" языка, что в устной сфере было даже важнее, чем в письменной, обособлявшейся от повседневности уже по своей природе.

Что же противопоставлялось в позднесредневековой России и Японии литературным языкам? Здесь также были сходства и различия. Общим, безусловно, было преобладание диалектов и говоров, являвшихся единственной формой существования языка для большинства населения, прежде всего сельского⁹. Общим было и отсутствие общенационального языка на разговорной основе: для появления такого языка условий еще не сложились. В отношении же языковых образований, промежуточных между локальным диалектом и общенациональным языком, между двумя странами имелись существенные различия.

В России уже в допетровское время существовал общий для всего государства письменный язык на разговорной основе, хотя и ограниченный по функционированию. Это был так называемый "московский приказный язык", господствовавший в деловой сфере. Он "представлял собой канцелярскую обработку обиходной речи с некоторыми, в общем незначительными заимствованиями из книжной традиции. В основе этого языка, постепенно вытеснявшего собой местные разновидности деловой речи и, таким образом, получившего в известный момент значение языка общегосударственного, лежал московский говор XVI–XVII вв." [8, с. III]. "Процесс вытеснения письменных территориальных диалектов московским приказным языком, претендовавшим на значение общенациональной русской нормы, завершается в XVII в." [14, с. 35]. В пре-

⁷ В этом смысле дальневосточному ареалу противоположен индийский с его пренебрежением к письменному знанию (только там великий научный труд мог, как это было с грамматикой Панини, функционировать текстом). Европа и Ближний Восток находились в этом смысле посередине.

⁸ Отметим, что в позднесредневековой Японии уровень грамотности был много выше, чем в России на соответствующем этапе. Там к XVIII в. существовала массовая печатная литература (см. следующую сноску).

⁹ В Японии диалектная речь активнее, чем в России, проникла в художественную прозу. Язык многих произведений XVIII–XIX вв., рассчитанных на массового читателя, был смешанным: преобладал диалог, где фиксировались черты разных диалектов, немногочисленные фразы от автора писались на бунго; языковой анализ таких памятников см. [13, с. 24–31]. О каком-либо, даже стихийном, нормировании подобных текстов в их диалектной части говорить, видимо, нельзя. Аналогичная "низовая" литература в России обычно отличалась, особенно в грамматике, смешением разговорных и церковно-славянских черт.

делах "приказного языка" "в XVII в. устанавливаются фонологические нормы общерусского государственного языка... окончательно укореняется целый ряд грамматических явлений, широко распространенных в живой народной речи как севера, так и юга" [14, с. 36].

В Японии ничего подобного не сложилось. Наоборот, как мы видели, деловые документы там писали на камбуне, то есть используя языковую систему, максимально удаленную от "живой народной речи". В Японии вплоть до ее европеизации и капитализации не было никакого языкового образования, равно понятного на всей ее территории, за исключением бунго и камбуна. При этом поскольку камбун принципиально был письменным языком, а на бунго не существовало единых произносительных норм, то такая понятность обеспечивалась только на письме (этим Япония сближалась с Китаем).

Существовали лишь региональные койне, бытовавшие почти исключительно в устной форме. В данный период из них особую роль играли два¹⁰ койне – киотское и эдоское. Киотское койне, основывавшееся на диалекте Киото, тогда резиденции императора, имело репутацию столичного. Оно было известно и за пределами Киото, особенно на западе и юге Японии; поэтому именно на нем, наряду с бунго, издавали свою литературу первые европейские (португальские) миссионеры конца XVI – начала XVII вв.¹¹ Несколько раньше описываемого здесь периода, в те же XVI и XVII вв. предпринимались попытки создания на этом койне и литературных произведений [см. 9, с. 16–34]. Отдельные продолжения таких попыток встречались почти до конца данного периода: в 90-х гг. XVIII в. выдающийся ученый школы кокугакуса Мотоори Норинага перевел на него упоминавшуюся антологию "Кокинсю", анализ этого памятника см. [13, с. 21–24]. Однако значение Киото постепенно падало, а киотское койне сужало свое функционирование до уровня диалекта.

Иные перспективы имело эдоское койне (традиционное его именование "эдоский (токийский) диалект" нельзя считать точным). Город Эдо в восточной Японии (позднее переименованный в Токио) с XVII в. стал ведущим политическим и экономическим центром страны, в котором постоянно сталкивались выходцы из разных районов Японии. Японские феодалы обязаны были являться ко двору военных правителей-сёгунов, располагавшемуся в Эдо, за ними тянулись купцы и ремесленники (лишь прикрепленные к земле крестьяне оставались вне этого процесса). В нагорной части Эдо (Яманотэ), более зажиточной и престижной по социальному составу, постепенно начало складываться единое койне, которое усваивал каждый, кто попадал в Яманотэ. Как указывал лингвист Танака Акио в докладе в Токийском муниципальном университете 08.12.1984, линия развития была следующей: язык эдоских самураев → язык зажиточных горожан Яманотэ → язык Яманотэ → (за пределами данного периода) стандартный японский язык. Основой эдоского койне были восточнояпонские диалекты, окружавшие Эдо, в области фонетики и акцентуации они господствовали почти полностью, однако в грамматике и особенно в лексике в койне попало немало элементов из других диалектов, особенно киотского и диалектов, расположенных между Киото и Эдо [15, с. 80]. Из Эдо данное языковое образование начинало распространяться по стране. За ним было будущее, но пока что на нем не писали; если оно попадало в литературу, то лишь наряду с другими диалектами.

¹⁰ Третьим койне такого рода было окинавское, охватывавшее о-ва Рюкю на крайнем юге Японии. Эти острова имели тогда полунезависимое от центральной власти положение, поэтому на основе окинавского диалекта сложился определенный единый для Рюкю стандарт, существовала даже окинавская художественная литература. С 70-х гг. XIX в. началось вытеснение его общепонским стандартом.

¹¹ Португальцы использовали два языка, исходя из собственных языковых представлений. На бунго, казавшийся им аналогом латыни, они переводили Библию, на киотское койне, представлявшееся аналогом европейских "вульгарных" языков – басни Эзопа и прочую светскую литературу. В самой Японии жанровое распределение между бунго и разговорными формами языка было, как мы видели, иным. В начале XVII в. христианские миссионеры были изгнаны из Японии, и их деятельность реальных результатов не имела.

2. ПЕРИОД ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Общественная ситуация в России в петровское и послепетровское время и в Японии второй половины XIX в., безусловно, различались во многом. Уже то, что вестернизация Японии происходила на полтора века позже, определяло многие различия, начиная от ускоренной капитализации Японии, о которой в России XVIII в. речи быть не могло. Несомненно, иным было соотношение культуры-донора и культуры-реципиента: Россия и Запад имели немало общих культурных черт, начиная от христианства (хотя и разных ветвей) и кончая общим индоевропейским происхождением языков¹²; контакты России и Запада никогда не прекращались совсем, а в XVII в. уже были достаточно интенсивны; в то же время западная и японская культуры такой общности не имели, Япония всегда обособлялась островным положением, а последние два века перед вестернизацией вообще существовала как закрытая от всех страна. Однако общность процессов заключалась в том, что каждой стране предстояло в короткий срок преодолеть или хотя бы сократить отставание в самых различных сферах, выйти на новый этап развития, измениться под влиянием освоения культур передовых государств. Одной из сфер, где сходство общественных процессов проявилось особенно наглядно, была социолингвистическая.

Прежняя языковая ситуация, когда говорят на диалектах, а пишут на совершенно ином книжном языке, на Западе (где роль бунго или церковно-славянского играла латынь) в начале XVIII в. и тем более в середине XIX в. была далеко позади, а Запад воспринимался как образец и в России, и в Японии. Стояла задача перейти на уровень, который чешско-австралийский японист И. Неуступны назвал уровнем "раннего современного языка" [16, с. 147–159]. "Создание нового литературного языка выступает как важный момент в процессе европеизации русской культуры" [7, с. 4]; это же самое можно сказать и о Японии.

Процесс формирования такого языка в России занял примерно столетие, последним его этапом была карамзинская реформа конца XVIII – начала XIX вв. В быстрее развивавшейся Японии он занял более чем вдвое меньший период времени, довольно точно совпадая с так называемой эпохой Мэйдзи, именуемой по посмертному имени правившего в 1868–1912 гг. императора.

"В это время выдвигаются разнообразные языковые программы, отражающие различные концепции литературного языка" [7, с. 5], идут ожесточенные споры по языковым проблемам. Но вестернизация Японии шла позднее и там уже существовала развитая школа языковедов, поэтому процесс шел более сознательно. В России эксплицитное высказывание взглядов по отношению к развитию нового литературного языка началось, видимо, лишь с предисловия В.К. Тредиаковского к "Езде в остров Любви" (1730), но в Японии об этом начинали писать тогда, когда реальный процесс еще был делом будущего. Толчком к осознанию необходимости языковых реформ послужило открытие Японии для европейцев в 50-е гг. XIX в. И в 1866 г., еще при старом строе, Маэдзима Мицу обратился к сёгуну с докладом в пользу реформы языка и письменности [4, с. 16]. Но лишь буржуазная революция 1867–1868 гг., внешне выглядевшая как свержение сёгуна и восстановление императорской власти, могла начать реальные изменения.

Поначалу языковая политика скорее направлялась на регламентацию бунго, в самом начале эпохи Мэйдзи даже расширившего функции за счет камбуна. Перевод делопроизводства на бунго привел к быстрому угасанию явно архаичного для XIX в. камбуна. Его существование ранее поддерживалось представлением об особой престижности китайского языка, но теперь престижными стали западные языки. Камбун

¹² Культурологи обычно мало обращают внимания на языковые аспекты культуры, хотя строй и происхождение языка могут определять очень многое. Японские ученые весьма склонны именно в особенностях языка видеть корни своей специфики. В России и на Западе такой подход мало характерен; см. впрочем гипотезу лингвистической относительности Б. Уорфа или идеи Н.С. Трубецкого о евразийском языковом союзе как важной составной части евразийской культурной общности.

уступил позиции без боя, хотя пассивное владение им в какой-то степени сохранилось до наших дней: его преподают в школах, хотя меньше, чем до войны; сейчас камбун занимает два урока в неделю в трех классах средней школы [17]. Вкрапления камбуна (изречения, пословицы, цитаты и др.) можно встретить и в современных текстах. Отмечают, например, использование камбуна в таком распространенном жанре японской словесности, как новогодние поздравления [18, с. 11]. Однако начиная с эпохи Мэйдзи положение камбуна всегда оставалось периферийным.

Бунго же в это время не только расширил сферу употребления, но и стал шире распространен благодаря введению ранее отсутствовавшей системы государственного образования. В эпоху Мэйдзи начальное образование охватило всю страну, была ликвидирована неграмотность (в России такая задача не могла быть решена не только в XVIII, но и в XIX в.). В связи с использованием бунго в школьном обучении его нормы (по-прежнему лишь орфографические и грамматические), уже давно установленные учеными школы кокугакуся, стали официально введенными, чего раньше не было.

Но безусловно, всеобщая грамотность не могла бы быть достигнута, если бы образование и дальше велось на одном бунго, как это делалось в первые годы эпохи Мэйдзи. Необходимо было создать более современный литературный язык. Как отмечают японские исследователи [19, с. 366], в отличие от многих стран в Японии одновременно шли два процесса: формирования литературного языка и распространения его по всей территории государства, завершили они также примерно в одно время.

Основа нового литературного языка ни у кого не вызывала сомнений. Значение Эдо окончательно закрепилось в 1868 г. переносом туда столицы государства, тогда же Эдо переименовали в Токио. Эдоское койне после 1868 г. испытало влияние еще некоторых диалектов, в частности диалекта Сацума на юге о-ва Кюсю (выходцы оттуда сыграли важную роль в революции), но главным в процессе превращения его в литературный язык было скрещение его с бунго.

В фонетике и акцентуации влияния бунго быть не могло; наоборот, по мере нормирования нового литературного языка и тексты на бунго стали читаться так же, как тексты на новом языке. Грамматическое влияние бунго на новый литературный язык (получивший в эпоху Мэйдзи название "кôго", то есть "разговорный язык") имело место, а в некоторых стилях, как будет сказано ниже, было весьма значительным; но поскольку отличия бунго от любых разговорных вариантов языка воспринимались в первую очередь как отличия в грамматике, то всегда существовала грань между текстами на бунго и кôго в этой сфере и многие бунговские грамматические показатели в кôго не допускались. Однако лексика и графика нового литературного языка формировались на основе бунго. Орфографические нормы просто были перенесены с бунго на кôго вместе с графикой (основанной на сочетании иероглифики с национальными азбуками), хотя эти нормы сильно не соответствовали реальному произношению, являясь графическим отражением киотской фонологической системы времен формирования бунго. В лексике же не было четкой грани между бунго и кôго. Точнее, некоторые различия существовали в одну сторону: какая-то часть лексики, появившейся в языке после создания бунговских норм, не допускалась в бунго как "неправильная", но могла появиться в кôго, однако кôго, отводящая у бунго тот или иной функциональный стиль, вбирал в себя и характерную для него лексику (но как правило не грамматику!). Конечно, какие-то старые слова исчезали из языка, реально сохраняясь лишь в словарях, но не было лексики, которая могла бы считаться специфической для бунго¹³ (ср. иную ситуацию со многими славянизмами в России XVIII в.).

Двумя стилями, в которых новый литературный язык сформировался быстрее всего, стали газетно-публицистический и художественно-прозаический. Появление

¹³ Если такая была, то ее отличия от иной лексики были стилистическими: она употреблялась в такой сфере, которую еще не охватил новый литературный язык.

прессы явилось одним из первых нововведений эпохи Мэйдзи. Газета по своей природе рассчитана на широкого читателя и должна быть общепонятной. Поэтому с самого начала авторы газетных публикаций старались писать не на чистом бунго и употребляли разговорные формы. К концу XIX в. сформировался газетно-публицистический стиль. Однако раннее его формирование повлекло за собой особо сильное влияние на него бунго. Не только в эпоху Мэйдзи, но и позже язык газет независимо от их направления характеризовался сосуществованием грамматических черт бунго и кого, большим количеством архаичной книжной лексики. Для носителей языка, однако, такие тексты однозначно понимались как тексты на кого: тексты на бунго характеризовались строгой нормой в области грамматики, там ни при каких обстоятельствах не могли появиться окончания и служебные слова, еще не существовавшие в языке IX–X вв., в газетно-публицистическом же стиле они употреблялись свободно.

Более радикальные изменения произошли в художественной прозе (в поэзии позиции бунго оказались значительно прочнее). Решающими здесь были 80-е гг. XIX в., когда важную роль играло движение, получившее название "гэмбун-итти", то есть "единство слова и письма". Так назывался трактат Модзумэ Таками, появившийся в 1886 г. В этом же году появилось первое художественное произведение на кого, автором которого был 18-летний Ямада Бимё, весьма разносторонний человек, совмещавший в себе писателя, теоретика движения "гэмбун-итти" и лингвиста-лексикографа и акцентолога¹⁴. Чуть позже начинает работать другой видный писатель, примыкавший к движению "гэмбун-итти" – Фтабатэй Симэй. Споря друг с другом и со сторонниками сохранения бунго, они сознательно отбирали из допускавшего вариации токийского койне те или иные слова и формы, см., например, описанные в статье Н.И. Конрада [4, с. 12–13] споры о том, какую форму связки предпочесть¹⁵. Становление нового литературного языка шло в тесной связи со становлением новых литературных жанров и расширением тематики. Большую роль здесь играли переводы. Не раз отмечалось, например, значение для того и другого осуществленного Фтабатэем перевода рассказа И.С. Тургенева "Свидание" из цикла "Записки охотника"¹⁶. Особо важен оказался перевод не сюжетной части рассказа, а занимающего его значительную часть описания природы. Японская классическая литература не знала столь развернутого пейзажа и попытка передать его по-японски требовала и формирования новых языковых средств для этого. В творчестве этих писателей, а также Нацумэ Сосэки, Симадзакки Тосона и др. новый литературный язык окончательно сформировался в пределах данного функционального стиля. Проза на бунго, еще влиятельная в большую часть эпохи Мэйдзи, к концу ее уходит на периферию, а позднее исчезает вообще.

Этап формирования нового литературного языка в Японии завершился в первые два десятилетия XX в. Свидетельствами его окончания стали создание единой для всей Японии системы школьного преподавания нового литературного языка и связанное с этим опубликование в 1917 г. первой полной его нормативной грамматики, выработанной Министерством просвещения.

В России главным содержанием языковой ситуации в аналогичный переходный период также была выработка норм нового, более современного литературного языка. Если японисты единодушно рассматривают новый язык как сформированный на разговорной основе (некоторые японисты первой половины XX в., как Е.Д. Поливанов¹⁷,

¹⁴ В обеих странах совмещение профессий писателя и лингвиста характерно лишь на первых этапах формирования ранних современных языков: В.К. Тредиаковский и М.В. Ломоносов в России, Ямада Бимё в Японии. Позднее такое совмещение становится нехарактерным.

¹⁵ В этом случае и в ряде других споры кончились тем, что в литературный язык вошли все формы, о которых дискутировали, но с различиями по вежливости или по сфере употребления.

¹⁶ Русская культура воспринималась в Японии периода вестернизации безусловно как часть западной.

¹⁷ У Е.Д. Поливанова такое неразличение было сознательным и отражало его общее стремление "поднять" лингвистическую ценность диалектов, показать их равноправность для исследователя с литературным языком.

даже именовали его "токийским диалектом"), то русисты спорят об основе: одни, как В.В. Виноградов, считают его русским по происхождению, но испытавшим церковно-славянское влияние, другие, как Б. Унбегаун – церковно-славянским по происхождению, но испытавшим русское влияние. Однако и там, и там происходил синтез двух языковых систем, причем если посмотреть на то, как синтез происходил в разных ярусах этих систем, то обнаруживается несомненное сходство (безусловно, закономерное и, по-видимому, свойственное далеко не только России и Японии).

Хотя в отличие от Японии в России существовали строгие нормы произношения литературных текстов, они в целом не прижились в новом литературном языке. В книге М.В. Панова [1] показано, как постепенно на протяжении XVIII в. этот язык изживал нормы такого произношения вроде различения *е* и *я* или *оканья*. К первой половине XIX в. все это исчезло или сохранилось в качестве реликта вроде произношения словоформ *бога*, *богу* и т.д. с фрикативным заднеязычным, в целом не закрепившимся в литературной системе (отметим, что совпадение тех или иных явлений церковно-славянского произношения, например, *оканья*, с явлениями диалектов не помогало им остаться в литературном языке: слишком далеки диалекты от "высокого штиля")¹⁸. Сходное развитие мы имеем и в морфологии: в основе система соответствовала русской. Хотя В.К. Тредиаковский в период борьбы за создание нового литературного языка при общей установке на разговорный язык включал в норму форму родительного падежа единственного числа на *-ья* как широко распространенную [7, с. 102], она все же сначала ушла целиком в поэтический язык, а потом исчезла. Система времен также сформировалась на русской основе, а имперфект и аорист не вошли в новый литературный язык с самого начала¹⁹. Правда, подсистема причастий перешла из церковно-славянского, но и ряд морфологических элементов нового японского литературного языка был заимствован из бунго. В то же время орфография при измененной форме знаков (чего в Японии не было) формируется, как и в Японии, на основе прежнего письменного языка: разграничение *е* и *я* надолго останется и тогда, когда они в произношении совпадут окончательно, а написания вроде *сегодня* сохранились и поныне.

Наибольшие отличия от Японии имели место в лексике. Если не было четкой грани между лексикой бунго и *кôго*, то славянизмы весьма строго противопоставлялись "низкой лексике", хотя понятие славянизма вызывало, как показывает Б.А. Успенский, разные ассоциации. Это во многом связывалось с наличием церковно-славянского произношения, выделявшего и охватываемую этим произношением лексику. Различия слоев лексики были в первую очередь стилистическими, но бывали и семантические сдвиги. А дальше шел долгий, противоречивый и сложный процесс сращения двух слоев лексики, закончившийся либо исчезновением или уходом на далекую периферию одного из дублетов, либо сохранением обоих с различием значений²⁰.

Если содержание процесса формирования нового литературного языка в двух странах было сходным, то форма его протекания различалась. Достаточно сказать, что в России важнейшую роль сыграла ломоносовская концепция "трех штилей", аналогов которой в Японии не было. Причин этому, вероятно, было две.

¹⁸ Есть впрочем и иные источники *оканья* на периферии современного литературного языка. Оно возможно в заимствованиях вроде *НАТО* с целью избежать омофонии. Особенно оно заметно в профессиональных подязыках, скажем, у японистов: даже в русской речи бессознательно хочется различить *яп. тикай* 'высокий' и *Токай* (точнее, *Тôкай*) – название района Японии и университета; при этом *оканье* сохраняется, а долгота гласного нет. Ср. также *оканье* в некоторых стилях произношения в словах типа *поэма*, *бомонд*.

¹⁹ В "низовой" литературе начала XVIII в. еще можно встретить примеры вроде *сташа во фрунтъ* [8, с. 74], но затем они исчезают.

²⁰ Дублеты охватывали далеко не всю систему. "Многих слов, которые были в русском языке, церковно-славянский язык не знал, употреблять их в славянских текстах можно было как особое стилистическое средство, а скорее всего – вообще нельзя. Например, в церковно-славянском языке не было слова *стул*" [1, с. 320–321]. В Японии эта проблема не была столь острой.

Во-первых, в России гораздо быстрее, чем в Японии, старый литературный язык отодвинулся на периферию языкового развития. Возможно, это было связано с отсутствовавшей у бунго религиозной окраской церковно-славянского языка. Светский характер послепетровского культурного развития не совмещался с ней, поэтому данный язык в чистом виде уже к середине XVIII в. уходит целиком в культовую сферу. Даже в "высоком штиле" не могло быть, например, свободного употребления форм имперфекта и аориста; те формы, какие употреблялись, имели характер штампов и формул²¹. "Высокое", "пурпурное", по выражению М.В. Панова, произношение также далеко не совпадало с церковно-славянским [1, с. 322–323]. В Японии же бунго сохранял жизнеспособность и престижность и не было нужды в создании какого-то особого "высокого штиля".

Во-вторых, иным было представление о литературных жанрах. В России исходили из нормативных представлений классицизма, прежде всего французского, о "высоких" и "низких" жанрах, требовавших разного языка. К тому же вообще проблема жанров была и проблемой литературного языка в целом, поскольку этот язык и тогда, и еще долго позже понимался едва ли не исключительно как язык художественной литературы. Хотя нормы этого языка и тогда распространялись на деловой и газетный стили, но они находились вне жанровых систем и считались "низкими" по определению. И в конце XVIII в. карамзинисты отрицательно относились к "приказному" и "семинарскому" языку, что имело и социальные причины [7, с. 43]. Характерен и сам термин "литературный язык", сохранившийся до наших дней. Буквальный аналог этого термина в японском языке – как раз "бунго", а литературный язык в обычном терминологическом смысле никогда так не назывался: так же как бунго не ощущался как преимущественно культовый язык, так и кто-то не был языком художественной литературы по преимуществу. Если в России (да и на Западе) существовало и существует представление о "изящной словесности" в противовес непрестижному творчеству журналистов и канцеляристов, переносившееся на оценки языка, то в Японии никого не смущало то, что на самом престижном языке – бунго – писали в первую очередь деловые бумаги. Системы "высоких" и "низких" жанров в столь законченном виде, как в Европе, никогда в Японии не было, а на Западе к моменту европеизации Японии она уже была разрушена и ее невозможно было заимствовать. Роль "высокого" стиля внутри нового литературного языка в лингвистическом (не социальном!) смысле скорее играл в Японии стиль газетно-публицистический, наиболее близкий к бунго.

Как и в Японии, в России формирование новых литературных норм быстрее всего произошло в области морфологии: "в течение 1730-х–1740-х гг. морфологическая проблема была в общем разрешена" [8, с. 130]. Но разрыв между разговорным и церковно-славянским языками в сфере фонетики и лексики не мог быть преодолен быстро и почти на полвека закрепился благодаря установленным М.В. Ломоносовым нормам трех "штилей". Их различие было прежде всего лексическим и касалось разного соотношения между русской и церковно-славянской частями словаря: "в пределах каждого стиля – за исключением низкого – сочетались, соединялись в одном тексте слова по происхождению церковно-славянские и слова бытовой русской речи" [1, с. 286]. В фонетике же "был высокий стиль произношения, и ему противостоял средний стиль (его же называли и низким)" [1, с. 318].

Если в Японии уже через два десятилетия после начала формирования нового литературного языка развернулось движение "гэмбун-итти", то в России сопоставимая с ней деятельность Н.М. Карамзина и его сторонников начинается лишь с 90-х гг. XVIII в. В Японии, если применять к ней русскую шкалу измерений, перешли непосредственно от петровского времени к карамзинскому, минуя эпоху Ломоносова и

²¹ Таких штампов и формул типа *Христос воскрес, ничтоже сумняшеся* немало и в современном языке. Их можно сопоставить с вкраплениями камбуна в современный японский язык. В "высоком штиле", конечно, их роль была значительнее.

Сумарокова. Впрочем, как показано в [7], В.К. Тредиаковский и В.Е. Ададуров во многом предвосхитили идеи карамзинистов еще в 30-е гг. XVIII в., то есть примерно через такое же количество лет после начала вестернизации, какое потребовалось для появления сходных идей в Японии. Однако в Японии эти идеи сразу стали популярными, а в России их время тогда еще не пришло, а сам В.К. Тредиаковский с 40-х гг. XVIII в. перешел на позиции сохранения церковно-славянского языка. Б.А. Успенский связывает такой поворот событий с политической ситуацией: с началом царствования Елизаветы активная вестернизация сменилась усилением национализма, что проявилось и в языковой области [7, с. 173–174]. В Японии же активная вестернизация шла до начала XX в., а значительное усиление национализма произошло уже тогда, когда нормы нового литературного языка установились и языковая ситуация стабилизировалась.

Цели Карамзина и деятелей движения "гэмбун-итти" во многом сходились: сблизить письменный язык с устным языком образованных людей, сформировать нормы литературного языка, независимого от старописьменного. Но материал, с которым они работали, был разным. В Японии к 80-м гг. XIX в. бунго противопоставлялась разнородная и неупорядоченная смесь систем, сближение устного и письменного языков одновременно было и окончательным формированием литературных норм. В России же к концу XVIII в. такие нормы уже существовали, но не были едиными: оставались жанровые барьеры, в конечном итоге обусловленные сохранением остатков былой диглоссии. "Н.М. Карамзин сделал еще один шаг в сторону преодоления русского двуязычия: он выдвинул из трех стилей как основной и важнейший средний стиль. Два других (высокий и низкий) отодвинулись далеко на окраину литературной речи" [1, с. 287].

Но различия между карамзинистами и деятелями "гэмбун-итти" существовали еще по крайней мере в двух пунктах. "Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты" [7, с. 41]. Токийское же койне, на которое в наибольшей степени ориентировались в Японии, еще до эпохи Мэйдзи имело более широкое распространение: на нем уже говорили не только самураи.

Еще важнее были различия с точки зрения цели. Как подчеркивает Б.А. Успенский, в Западной Европе новые литературные языки формировались как национальные, переход от латыни к французскому или итальянскому языку означал демократизацию литературного языка; однако в России новый литературный язык в эпоху карамзинистов представлялся как язык элиты не только по происхождению, но и по назначению. "Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его" [7, с. 68]. Церковно-славянский язык, знакомый (как и бунго) не только элите, оказывался даже в чем-то демократичнее. Карамзинистам просто не приходило в голову распространение создаваемого ими языка через народные школы, хотя объективно их деятельность способствовала этому. В Японии ситуация была ближе к западной, а в силу поздней вестернизации демократизация литературного языка шла еще последовательнее. Новый литературный язык с самого начала воспринимался как общий не только для всего государства (это имплицитно принимали и карамзинисты), но и для всех социальных слоев, не разъединяющий, а объединяющий общество, более демократичный, чем бунго, поскольку на нем легче учиться. И он быстро вошел в школьное обучение.

Другое различие состояло в том, что для карамзинистов "литературный язык ориентируется на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) *текст*, а не на *систему* нормативных правил" [7, с. 21]; характерно, что они (в отличие от своих предшественников В.К. Тредиаковского, В.Е. Ададунова и М.В. Ломоносова) не были лингвистами. В Японии же, где уже существовала своя лингвистическая традиция и в то же время быстро осваивалась западная наука о языке, с самого начала устанавливались строгие правила для нового литературного языка, поначалу сильно зависимые от ранее существовавших правил для бунго.

"Полной победы у реформы Карамзина в XVIII в. не было" [1, с. 287], как не сразу победило и движение "гэмбун-итти". Однако первая половина XIX в. при всех откатах назад и прорывах вперед ("архаисты и новаторы") была периодом, когда новый литературный язык окончательно занял господствующее положение, подчинив себе другие формы существования русского языка. Как и в Японии, он распространяется по всей территории государства; прежде всего это происходит через школу и через книгу. Также происходит закрепление его норм через грамматики и академические словари.

3. ПЕРИОД РАННИХ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

Мы пользуемся (достаточно условно) термином, предложенным И. Неуступны [16, с. 152] в отношении языков, свойственных обществам, характеризующимся капитализацией при сохранении значительных докапиталистических черт, определенной зависимостью от передовых стран Запада²². В этот период в обеих странах сложилась более или менее стабильная социолингвистическая ситуация, развитие, конечно, шло, но достаточно медленно, без ярко выраженных сдвигов. В России этот период продолжался почти столетие: с 20-30-х гг. XIX в. до начала XX в.²³ В Японии, вообще развивавшейся более ускоренно, соответствующий период был гораздо короче: с 10-х по 40-е гг. XX в.

Для обеих стран ведущую роль в языковой ситуации играл уже вполне сложившийся и в основном уже вполне нормированный и получивший четкие границы литературный язык, употреблявшийся и в устной, и в письменной речи. Там и там он был противопоставлен игравшим значительную роль диалектам, ограниченным как территориально, так и функционально. Там и там не сложилось достаточно развитых промежуточных языковых образований типа региональных койне (в Японии, как говорилось выше, они раньше были, но затем либо сузили свою функцию до диалектной, либо расширили до функции литературного языка); исключение в Японии впрочем составляли изолированные острова Рюкю, где и в это время жители разных островов еще нередко общались друг с другом по-окинавски²⁴. Не было и развитого территориального варьирования литературного языка (если оно и было, то представляло собой влияние диалектов в чистом виде). В России существовало различие норм петербургского и московского произношения, не раз упоминаемое в книге М.В. Панова, но все же оно не было очень значительным. Нечто аналогичное можно усмотреть в противопоставлении токийского и киотоского вариантов японского языка. В бывшей столице Киото и расположенной рядом Осаке даже культурные люди говорили не совсем так, как в Токио. При этом такие различия затрагивали не только фонетику и лексику, но и морфологию, чего в Москве и Петербурге, кажется, не было.

Типичную для Японии ситуацию описывал Н.И. Конрад, бывавший там в начале данного периода, в 1910-е гг.: «Мы слышали вокруг себя такую речь, которую понимали очень плохо: это был местный диалект. Так бывало в городах и тем более в деревнях: здесь часто приходилось искать кого-либо, говорящего по-токиоски... Обычно таким человеком оказывался местный чиновник или школьный учитель. Крестьяне

²² Перечисление черт ранних современных языков у И. Неуступны [16, с. 153–157] весьма интересно, но, пожалуй, слишком привязано к японской конкретике. Вряд ли можно говорить, например, об универсальности для данного этапа развитой системы форм вежливости.

²³ Отмена крепостного права при всей ее важности для капитализации России не привела к какому-либо заметному изменению языковой ситуации.

²⁴ Впрочем, некоторую роль играл и, например, говор г. Акита на севере Японии, на котором говорили носители разных местных говоров. Упоминается любопытный факт: в 30-х гг. любительский кружок разыгрывал на нем "Предложение" А.П. Чехова [20, с. 6]. Ситуация, видимо, немыслимая на родине автора этой комедии. Упоминаемый М.В. Пановым "докающий Чацкий" или пародийный "монолог Чацкого в исполнении виленского семинариста", исполнявшийся В.И. Качаловым, были просто отражением недостаточного владения нормой.

же "столичную речь" кое-как понимали, но на наши вопросы отвечали так, что мы их не понимали почти совсем» [4, с. 19]. Отметим еще сохранявшиеся представления о литературном языке как о "столичном". Но в русской деревне в сущности было так же (хотя в городе, пожалуй, такая ситуация уже была немислима). Разница, может быть, была лишь в том, что в России несмотря на значительно более обширную территорию диалектные различия часто не были столь сильны, как в относительно небольшой, но разделенной горами и проливами на изолированные части Японии (если бы мы отделяли языки от диалектов лишь по чисто лингвистическим критериям, не учитывая наличие общего для всех языкового образования, то мы вряд ли бы могли говорить о едином японском языке).

Главным источником распространения литературного языка в обеих странах, несомненно, была школа²⁵. Другим важным его источником была книга: национальным свойством обоих народов (конечно, лишь грамотной их части) была и остается склонность к чтению, удивляющая наблюдателей из других стран, например, американцев. Были и различия. Хотя в Японии, как и в России, "местный чиновник", часто присланный из города, а то и из центра, играл роль распространителя языковой нормы, но документы, которые он писал, должны были составляться на бунго, тогда как в России языковая норма распространялась вширь и через делопроизводство. В России с середины XIX в. "возникает образец, живое воплощение орфоэпического идеала: театральная речь" [1, с. 94]; в Японии театр такого значения не имел: традиционный театр типа кабуки стал достаточно архаичным по языку, а театр европейского типа был, наоборот, склонен к просторечию и отклонениям от нормы; столь большого культурного значения, как театр в России, ни тот, ни другой не имели. Зато Япония на данном этапе уже имела радио, появившееся в 20-е гг. XX в., в России радиовещание появилось примерно в это же время, но это была уже иная эпоха.

Можно отметить и некоторые другие общие черты языковой ситуации в России и Японии на данном этапе. В обеих странах существовали очень строгие орфографические нормы, жестко закрепленные в инструкциях и преподававшиеся в школах, но не было столь же жестких орфоэпических норм (впрочем, как мы увидим, степень нормализации здесь была в России выше, чем в Японии). Там и там распространение литературного языка на письме было, особенно в провинции, шире, чем в устной речи. Немало было грамотных людей, говоривших "некультурно", обратная же ситуация встречалась редко. Эти черты И. Неуступны считает, видимо, не без оснований общим свойством ранних современных языков. Общим был и консерватизм орфографии, сохранявшей черты, унаследованные от старописьменных языков.

Были и заметные различия. Одной из них было различие в использовании старописьменных языков: бунго функционировал много шире, чем старославянский. Последний уже давно законсервировался в церковной сфере, но и там его роль сводилась к воспроизведению старых текстов, но не к созданию новых. Даже "высокий штиль", гибрид русского литературного с церковнославянским, к середине XIX в. вышел из употребления. Какая-то традиция еще оставалась, причем в менее культурной среде больше, чем среди уже вполне европеизировавшегося общества: вспомним рассказ М. Горького о том, как дед учил его уже в 70-е гг. XIX в. грамоте по-церковнославянски. Но это уходило в прошлое.

Иное положение существовало в Японии. Бунго вплоть до второй мировой войны оставался (в отличие от камбуна) вполне живым языком. В деловой сфере "все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией о приеме белья в прачечную" [4, с. 12]. Продолжал он сохраняться в традиционных видах поэзии

²⁵ Если судить об этом распространении по лингвистической литературе, то может показаться, что в Японии роль школы была больше: японские ученые много пишут об этом факторе, тогда как отечественные исследователи, включая М.В. Панова, уделяют гораздо большее внимание роли художественной литературы (М.В. Панов также театра). Но, думается, происходит это отчасти из-за недостатка материала о роли школы, отчасти из-за общего для нашей культурной традиции и часто бессознательного желания особо выделить значение "высокого искусства" в жизни.

(прозу на нем уже не писали), традиционном театре типа но, в религиозной сфере²⁶ и частично в сфере науки, где однако шел постепенный процесс его вытеснения: видный лингвист Ямада Ёсио (1873–1958) и в 30-е гг. печатал свои книги на бунго, но лингвисты, родившиеся в 80-90-е гг., уже писали на кôго.

Один из этих ученых, Токиэда Мотоки так характеризовал в 1941 г. роль бунго в связи с разграничением позиции наблюдателя (внешней по отношению к языку) и позиции субъекта (носителя языка): "С позиции наблюдателя современный и старописьменный языки рассматриваются как разные этапы развития языка; с точки зрения субъекта они, скорее, различаются по престижности" [22, с. 93]. То есть в это время бунго оценивался в Японии так же, как церковно-славянский в России кануна петровской эпохи ("архаисты" сохраняли этот взгляд и в начале XIX в.). Такой подход выдерживался и лингвистами. Если до революции 1867–1868 гг. и первое время после нее единственным достойным объектом изучения считался бунго, то в 20-30-е гг. господствовало комбинированное описание, хорошо представленное в изданной в русском переводе грамматике [23]: описывалась единая надсистема бунго и кôго, при каждом примере указывалось, в каком из языковых вариантов он употребляется, лишь в одной главе, посвященной приглагольным служебным элементам, единый способ описания сохранить не удавалось, и он распадался на две части, посвященные раздельному описанию этих элементов в кôго и бунго.

Поскольку бунго оставался живым языком, он не мог не изменяться. Многие изменения сводились к влиянию со стороны нового литературного языка. Такие изменения хорошо прослежены А.А. Холодовичем в книге [24], где описан канцелярский бунго XX в., использовавшийся в частности и в послуживших материалом книги военных приказах, уставах и наставлениях (отсюда название книги). Нет нужды останавливаться на том, что подавляющего числа применявшихся в таких текстах военных терминов не было до XIX–XX вв. в старописьменном языке. Но и грамматика менялась несмотря на строго закрепленные нормы. При этом употребление грамматических форм новояпонского языка (в том числе кôго), еще не встречавшихся в образцовых для бунго текстах IX–XIV вв., строго запрещалось. Однако произошла редукция старой системы там, где она не имела параллелей в современном языке. А.А. Холодович писал: "Возьмем приведенные нами примеры... Если бы мы изучали феодально-литературный язык (бунго. – В.А.) в полном объеме, то нам пришлось бы знать употребление *двадцати семи* разновидностей этих окончаний...; военный же язык добывается выражения тех же самых значений с помощью всего лишь *семи* разновидностей; таким образом, он экономит, сдает в архив 75% ненужных ему форм" [24, с. 4–5]. Менялось и значение: "*Тару* по своему происхождению является глаголом-окончанием совершенного вида. В классическом литературном языке он употреблялся для выражения законченности, завершенности действия как в прошедшем, так и в будущем времени. Однако в военном языке он является показателем просто прошедшего или прошедшего-результативного времени" [24, с. 65, 66]. Из этого *-тару* в современном языке получился показатель прошедшего времени *-та*. В текстах на бунго нельзя было употреблять *-та*, но можно было использовать *-тару* в той же функции, а исконное значение *-тару* забылось²⁷.

Если бы русские военные приказы времен Брусилова писались по церковно-славянски, то весьма вероятно, что там бы уже не было ни аориста, ни имперфекта, а аналитический перфект использовался в значении русского прошедшего времени. Но такой

²⁶ Показателен пример возродившегося в эпоху Мэйдзи (но не ставшего особо популярным) христианства: все канонические тексты уже тогда перевели только на бунго. В книге [21], содержащей фрагмент из Евангелия на 770 языках и диалектах, нет современного японского, а под названием "Japanese" приводится текст на бунго [с. 64–65].

²⁷ Есть основания считать, что в старояпонском языке и в классическом бунго категории времени не было вообще, она развилась лишь в новояпонском языке. Но в XX в. она ужé была и в диалектах, и в литературном языке, и через последний проникла в бунго.

ситуации в России не было. А церковно-славянский, уйдя из живого употребления, перестал и изменяться.

Были различие и в степени охвата населения литературными нормами. На письме охват был значительно больше в Японии. Там уже к началу данного периода практически не было неграмотных и если не писать, то хотя бы читать на кого уже могли почти все. В России даже перед революцией до этого было еще далеко: неграмотных было более половины русского населения. Япония здесь обогнала Россию не только относительно (на соответствующем этапе), но и абсолютно по времени. С другой стороны, Япония отставала по распространению устных норм. Не только бунго, но и новый литературный язык во многом понимался как письменный, несмотря на все старания деятелей "гэмбун-итти" и их последователей. Выше уже приводились слова Н.И. Конрада о том, что даже в городах в это время устной формой литературного языка владели, по крайней мере активно, лишь немногие. А ведь, как следует из той же цитаты, школьные учителя тогда были уже везде. Особенно плохо дело обстояло с распространением литературной акцентуации: за пределами Токио и тогда, и даже позже устойчиво сохранялось ударение местного диалекта, хотя во всем остальном речь могла быть вполне литературной²⁸. В школе старались отучить от слишком явных диалектных черт в произношении, но литературная норма, во многом еще воспринимавшаяся как токийская, нигде строго не формулировалась: еще очень значимым было представление о языке культуры как о языке письменности, а на устную речь много внимания не обращали²⁹, хотя столичное произношение стихийно распространялось через миграции населения, языковое общение, а к концу периода и через радио. В России же еще в первой половине XIX в. произошло "признание бытовой речи культурной ценностью" [1, с. 188], что облегчало распространение орфоэпических норм, даже если они и не были хорошо сформулированы.

4. ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Мы далеки от того, чтобы приравнять в социальном плане события революции и гражданской войны в нашей стране с событиями японской истории, последовавшими за поражением во второй мировой войне. Однако в обоих случаях произошли коренные общественные перемены, сменились прежние системы ценностей, наступил период нестабильности. И сменился этот период в обеих странах новым этапом "гонки за лидером", форсированной индустриализацией и новой вестернизацией.

Общественная нестабильность привела и к языковой нестабильности. Просторечная и диалектная стихия ломала ранее существовавшие барьеры, старые нормы многим казались связанными с отвергнутой системой ценностей и потому подлежащими упразднению. Нестабильность языковой ситуации там и там продолжалась и тогда, когда общая обстановка в стране уже стала менее напряженной: в СССР все 20-е гг., в Японии примерно до второй половины 50-х гг.

В нашей стране тогда «иные с надеждой говорили о сломе старого "буржуазного" языка. Другие боялись этого» [1, с. 15]. Точку зрения первых в свойственной ему крайней форме выразил академик Н.Я. Марр: "Тут не о реформе письма или грамматики приходится говорить, а о смене норм языка, переводе его на новые рельсы действительно массовой речи. То, что нужно, это... речевая революция, часть культурной революции" [26, с. 47]. И еще: "Не реформа, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень стадияльного развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка"

²⁸ Японское музыкальное ударение отличается от русского силового не только качественно, но и функционально: оно, несмотря на существование минимальных пар, не играет такой смысловоразличительной роли, как в русском языке. Зато оно издавна служило индикатором происхождения человека.

²⁹ В сущности собственного ударения японские ученые, по их признанию, разобрались лишь под влиянием Е.Д. Поливанова, работавшего в Японии в 1914, 1915 и 1916 гг. См. воспоминания Сакума Канаэ в книге [25].

[27, с. 371]. А так говорил последователь Н.Я. Марра В.Б. Аптекарь: «Сейчас у нас, безусловно, язык рабочих, прежде всего, будет иметь преобладающее место в литературе и мы будем изгонять интеллигентские особенности языка... И если сейчас определенно господствующая группа вводит свой стиль в литературный язык, то прежние стилистические украшения, обязательные для каждой статьи, как например, "Что он Гекубе, что ему Гекуба", исчезают... Такими языками раньше могла говорить интеллигенция, но не широкие массы, теперь же это, очевидно, в корне переживется» [28, с. 41].

В Японии при всем различии ситуаций говорили нечто похожее. Вскоре после войны именитый писатель Сига Наоя утверждал, что японский язык безнадежно плох и лучше заменить его, например, французским (подобные идеи высказывались в Японии и в самом начале европеизации). Японские левые, в частности, писатель и языковед Такакура Тэру, призывали приблизить языковую норму к "языку простого народа", а для этого упразднить или свести к минимуму иероглифику, не употреблять непонятные на слух слова китайского происхождения, исключить из языка формы вежливости; попутно предлагали и развить в японском языке по европейскому образцу категории лица и числа. Н.И. Конрад, обычно более осторожный в своих прогнозах, отнесся к этим высказываниям очень серьезно, заявив: "По-видимому, сейчас Япония вступает в фазу действительного завершения строительства этого (национального литературного. – В.А.) языка" [29, с. 120]. Отмена иероглифики и переход к латинскому алфавиту планировались, по некоторым данным, и американской оккупационной администрацией [30, с. 176]. Отметим, что и у нас Н.Ф. Яковлев предлагал перевести русский язык на латиницу, предложив три варианта латинского алфавита для этого языка [31].

Но это были либо декларации, либо проекты, не претворенные в жизнь. Однако в эпохи общественных перемен в обеих странах проводились и реальные реформы языковых норм. Кое-что здесь было сходным. Там и там почти сразу после революции в России и оккупации Японии провели орфографическую реформу, связанную с отказом от исторических написаний соответственно в кириллице и хирагане и катакане. Написание приблизили к произношению, причем в Японии радикальнее: там историческое написание сохранилось лишь в нескольких частотных грамматических показателях, а русская реформа не затронула написания типа *сегодня*³⁰.

В обеих странах языковые реформы осуществлялись достаточно жесткой властью (оккупационной в случае Японии), а выступавшие в качестве "спецов" ученые³¹ исходили из представлений о возможности целенаправленного вмешательства в развитие языка; тезис Ф. де Соссюра о невозможности языковой политики критиковался в обеих странах (Л.П. Якубинский в СССР, Нисио Минору в Японии). Однако реформа в Японии была (несмотря на меньшую радикальность социальных преобразований) намного радикальнее, чем в нашей стране.

Причин здесь было две. Во-первых, главное внимание советских реформаторов уделялось языкам других народов СССР, которые стремились как можно скорее довести до того уровня, на котором уже находился русский язык. Упомянувшийся проект латинизации русского языка Н.Ф. Яковлева был лишь эпизодом в его очень активной деятельности, гораздо больше он занимался языками Северного Кавказа. Тот же И. Неуступны, ссылаясь на Е.Д. Поливанова, указывает, что в СССР уже к 20-м гг. русский язык находился на такой стадии развития, на какой была необходима не языковая политика, а культура речи, тогда как в отношении других языков надо было вести языковую политику [16, с. 266]. Но культура речи в ситуации 20-х гг. не была первоочередной задачей, поэтому русский язык оказался почти вне деятельности

³⁰ "Акающая" орфография (вполне возможная, как показывает пример белорусской письменности) не была введена, по-видимому, из-за того, что она психологически воспринималась как слишком "неграмотная", тогда как, например, различие *е* и *я* казалось просто архаизмом, несмотря на их разную судьбу в некоторых диалектах.

³¹ Речь идет о деятелях языкового строительства, а не о создателях принятой после революции орфографии, разработанной намного раньше.

языковых реформаторов; кстати, и марристы дальше деклараций здесь не пошли, несмотря на завоеванную ими власть в языкознании.

Во-вторых, в Японии нерешенных задач действительно оставалось больше. Для русского языка явным архаизмом была орфография, которую давно предлагали изменить, но лишь революция позволила это сделать. В Японии оставались еще три проблемы, по разным причинам неактуальные для нашей страны: бунго, сложность иероглифики и формы вежливости.

Сразу после войны использование бунго в официальной документации было отменено. Символом этой перемены стало принятие в мае 1947 г. новой конституции, написанной на *кото*. После этого бунго сразу ушел на периферию функционирования языка. Иероглифику³², как уже говорилось, оккупационные власти планировали отменить, но для начала установили иероглифический минимум из 1850 иероглифов, которым обязали пользоваться, и упростили написание ряда сложных иероглифов. Сложная система форм вежливости, не только среди советских японистов, но и многими в самой Японии воспринимавшаяся как "феодалная", подверглась жесткому отбору: в соответствии с новыми нормами ряд особо вежливых форм не рекомендовался к употреблению; в частности, сюда попали слова и грамматические формы, употреблявшиеся только в отношении императорской семьи³³. Большинство указанных преобразований произошло в первые год-два после войны, но установление новых норм продолжалось в течение примерно десятилетия, до середины 50-х гг. В СССР же после 1918 г. к вопросам разработки норм русского языка всерьез вернулись лишь в 30-е гг., когда ситуация стабилизировалась.

5. ПЕРИОД ВТОРИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

В Японии это период со второй половины 50-х гг. XX в. до наших дней, у нас с 30-х по 80-е гг. XX в. В общественном плане СССР и Япония, конечно, при некоторых элементах сходства имели гораздо больше различий. Однако языковые ситуации все же имеют здесь больше сходств, чем различий, что, по-видимому, объясняется тем, что оба общества окончательно достигли индустриальной стадии (Япония затем сумела перейти на постиндустриальную стадию, а СССР этот барьер взять не удалось).

В обеих странах именно в этот период впервые создается общий для всех и охватывающий все сферы общения литературный язык. Ранее такой всеобщности не было, хотя и за счет разных факторов. В России и до революции существовал вполне сложившийся и годный для любой сферы общения нормированный язык. Однако он не был всеобщим: даже большинство русского населения, не говоря о нерусском, не знало грамоты, не училось в школе и не владело каким-то стилем речи, кроме бытового. Как ни оценивать советский период нашей истории, но именно тогда сложилась единая система школьного образования. В Японии, наоборот, такая система существовала и до второй мировой войны, но литературный язык, будучи всеобщим, не охватывал все сферы общения: читали и как-то писали на нем почти все, но говорили очень немногие, а некоторые стили, как, например, деловой, вообще не были им охвачены. Теперь же в отличие от времен Н.И. Конрада человек, владеющий литературным языком, сможет общаться с населением любой японской деревни. Но и в России сейчас в основном так. Исключение в обеих странах составляет лишь часть людей старшего поколения.

В основе в обеих странах литературные языки остались теми же, что и раньше.

³² Строго говоря, кириллическое письмо, как и японское, относится к смешанным фонетико-иероглифическим. Однако, исключая особые подязыки вроде математического, употребительных иероглифов здесь даже меньше, чем букв в алфавите (цифры, знаки параграфа, номера, температуры и пр.), и особой проблемы они не составляют.

³³ И в России была аналогичная лексика, а также особые написания типа *Наследник Цесаревич*. После свержения монархии все это исчезло так быстро, что не понадобились и специальные постановления.

В 20-е гг. в СССР многим казалось, что литературный язык стал или становится совершенно иным по сравнению с прежней эпохой. Даже Е.Д. Поливанов, сопоставляя вслед за А.М. Селищевым язык комсомольских рассказов Марка Колосова с "языком рядового интеллигента довоенного времени", восклицал: "Да, это уже *другой язык*" [32, с. 168]. Но тут же он указывал: "Отнюдь не фонетика, а *словарь*, и только словарь, делает современный язык... непонятным для обывателя с языковым мышлением 1910–1916 годов" [33, с. 138]; см. также [32, с. 169–171]. Как подчеркивал Е.Д. Поливанов, в период социальной нестабильности менялся не столько сам язык, сколько состав его носителей: "На пути к бесклассовому своему характеру русский литературный язык становится классовым языком уже не той группы лиц, которая была носителем этого языка до революции, а более широких и социально-разнородных слоев населения Союза" [34, с. 227].

Правильно оценивая настоящее, Е.Д. Поливанов не совсем верно дал прогнозы на будущее. Ему казалось, что через одно-два поколения русский язык должен существенно измениться за счет интерференции между литературным языком и говорами широких масс, его осваивающих, а также в связи с овладением этим языком массами нерусского населения [34, с. 227–228]. Этого не произошло. Однако он как раз был прав, предсказывая, что русский литературный язык станет "бесклассовым". Только произошло это не по тем причинам, о которых он думал: японский литературный язык также стал "бесклассовым" и раньше, чем русский³⁴.

Конечно, какое-то влияние диалектного и иноязычного субстрата на русский литературный язык существовало и существует, но этот вопрос изучен очень слабо. Во всяком случае оно не лежит на поверхности. В целом же "сохранение языковых (в том числе и фонетических) ценностей – важнейший результат истории русского литературного языка XX в... Школа, радио, звуковое кино, театр, граммофонная и патефонная пластинка помогли остановить натиск диалектов" [1, с. 16]. Язык комсомольских рассказов М. Колосова современному интеллигенту ненамного понятнее, чем интеллигенту 1910–1916 гг., а сам Колосов, доживший до 1989 г., писал в более поздних произведениях на вполне стандартном языке.

В Японии в целом шел тот же процесс, но по причинам, о которых речь пойдет ниже, влияние локальных вариантов языка было заметнее; к тому же этот вопрос изучен явно лучше. Различие отражается и в подходе японских социолингвистов. Привычному для нас термину "литературный язык" в Японии соответствовало несколько. Наряду с упоминавшимся термином *кōго* ("устный язык"), отошедшим на второй план с выходом из активного употребления бунго, еще до войны распространился термин *хэджунго* ("образцовый язык"). Последний термин существует и сейчас, но распространился и еще один термин – *кёцүго* ("общий язык"), при этом *хэджунго* и *кёцүго* нередко употребляются не как синонимы. Об этом писал С.В. Неверов: «В ходе обследования (языковой ситуации в провинциальном городе. – В.А.) выяснилось, что большинство жителей этого района практически в своей повседневной жизни и деятельности не пользуется национальным литературным "образцовым" языком (*хэджунго*). Для систематизации научных представлений об этом явлении потребовались сведения о языке макропосреднике – общем языке, несколько отличающемся с точки зрения норм произношения и словоупотребления от литературного "образцового" языка, но понятного жителям всей страны (в том числе и данного района) в противоположность местным диалектам, употребление которых локально ограничено. В качестве условного наименования для этого языка-макропосредника было принято слово *кёцүго*» [2, с. 14].

По-видимому, в *кёцүго* можно выделить разные компоненты. Ядро его составляет

³⁴ В 30-е гг. Е.Д. Поливанов, Н.И. Конрад и др. называли этот язык "буржуазным" в противоположность "феодалному" бунго и "народным" диалектам, однако через школу он уже в то время распространился во всех слоях населения.

хёдзюngo: "классический стандарт литературного национального языка, фиксируемый как общая норма – за пределами индивидуального стиля – в орфоэпии, орфографии, синтаксисе и функциональной стилистике" [2, с. 15]. Но входят сюда и допустимые отклонения от этого образца начиная от индивидуальных и кончая общепонскими. Например, в *хёдзюngo* очень частотная форма длительного вида образуется присоединением к деепричастию смыслового глагола вспомогательного глагола *иру* "быть": от *миру* "видеть" – *митэ иру*; форма потенциалиса 1 образуется только от глаголов с согласным исходом основы а, например, от того же *миру* ее образовать нельзя. Однако в разговорном, а иногда даже в письменном языке формы длительного вида стягиваются в единое слово: *митэ иру* → *митэру*, а от *миру* образуется форма потенциалиса 1 *мирэру*. Наконец, *кёцүго*, являясь общим для всех языком, не исключает и локального варьирования. Особенно это проявляется в сфере акцентуации, несмотря на то, что уже давно нормы существуют и здесь. Обычно японец, даже прекрасно владеющий литературным языком, сохраняет в той или иной степени акцентуацию того района, где он родился; материнская акцентуация преобладает даже при перемене места жительства, см. [35]. Упомянутый Сибата Такэси говорил в одном из выступлений, что прожив 45 лет в Токио, он до сих пор не знает правильную акцентуацию ряда слов. Взаимопониманию это однако не мешает.

Речь одного и того же человека в пределах *кёцүго* варьируется: на письме, перед телекамерой или в разговоре с вышестоящим она более приближается к *хёдзюngo*; при этом надо учитывать, что этот же человек может пользоваться и диалектом (см. ниже). Определенный разрыв между письменной и устной речью³⁵ безусловно существует и сейчас, хотя в области художественной литературы, как отмечает И. Неуступны [16, с. 172], наблюдается второе движение "гэмбун-итти", связанное со стремлением писать на чисто разговорном языке; И. Неуступны видит в этом аналог того, что происходило в литературе Запада 1900–1920-х гг.

В связи с этим необходимо сопоставить *кёцүго* с русским разговорным языком. М.В. Панов, противопоставляя этот язык (РЯ) кодифицированному литературному языку (КЛЯ), пишет: "РЯ – некодифицированный. ... Он усваивается только путем непосредственного общения между культурными людьми. Ведь РЯ – одна из двух систем, составляющих литературный (культурный) язык, поэтому его носители – те же лица, которые владеют КЛЯ" [1, с. 19].

Можно ли говорить, что *хёдзюngo* соответствует кодифицированному литературному языку, а *кёцүго* покрывает обе системы, составляющие литературный язык? Если на первый вопрос можно ответить безусловно положительно, то на второй вопрос приходится ответить и "Да", и "Нет". С одной стороны, любой носитель литературного языка говорит и в Японии не так, как пишет, а в неофициальной обстановке говорит совсем не так, как в официальной. О большом варьировании японского языка, в том числе по сравнению с западными, пишут многие; см., например, [36, с. 55; 37, с. 6]. Например, японские студенты в общении между собой говорят и даже пишут так, что их с трудом понимают окружающие, но экзаменационные сочинения пишут на правильном *хёдзюngo* [38, с. 8–12]. Но с другой стороны, на разговорных вариантах "общего языка" говорят далеко не все, а лишь население крупных городов, прежде всего Токио с пригородами и городов Хоккайдо.

М.В. Панов связывает появление разговорного языка с реакцией на "оказнивание" литературного языка в советский период [1, с. 19]. Он же считает, что до революции его не было. Последнее утверждение нам кажется спорным, но даже если с ним согласиться, то все равно нельзя однозначно связывать формирование подобной системы с советским строем, как имплицитно получается из книги М.В. Панова: в Японии она есть тоже. Скажем, упомянутая форма *мирэру*, весьма основательно изученная, не

³⁵ В японском языке этот разрыв усиливается еще особенностями, связанными с иероглифической письменностью, многие из которых не переводятся в устную речь. Но это особая тема.

признается учебниками и нормативными грамматиками, но употребляется в неофициальном общении абсолютно культурными людьми, причем по всей Японии. И таких примеров много. Можно отметить по крайней мере две причины, поддерживающие существование в Японии особой системы разговорного языка. Во-первых, для японцев очень значимо противопоставление "свой-чужой", проявляющееся и в речи, каждому японцу важно противопоставлять речь с близкими людьми, входящими в тот же коллектив, что и он, и речь с людьми вне своего коллектива (границы между "своими" и "чужими" могут меняться в зависимости от ситуации). Во-вторых, мы уже упоминали о формах вежливости, весьма различных в официальной и неофициальной речи. Впрочем, и вопрос об оказывании стандартного языка, о сведении его к массовым стереотипам вполне актуален и для Японии [см. 2, с. 41–42; 39, с. 146–149].

Всеобщее распространение нормы в обеих странах шло в целом схожими путями. Продолжала сохраняться роль школы и книги, но все большее значение приобрели средства массовой информации, особенно телевидение. В СССР телевидение началось в 1938 г., а в Японии лишь в 1953 г., но массовое значение оно приобрело примерно в одно время – к концу 50-х гг. И опять-таки роль телевидения в распространении языковой нормы и язык телевидения с точки зрения соответствия норме хорошо изучены в Японии (подробнее см. [40, с. 103–108]), но не у нас. В Японии общепризнано, что если орфографии в основном обучаются в школе, то орфоэпии – через телепередачи, и лишь с массовым распространением телевидения орфоэпические нормы (кроме отчасти акцентуационных) стали всеобщим достоянием, особенно влияя на речь детей.

Роль средств массовой информации, значительная в обеих странах, намного более осознана и признана в Японии. Любопытны слова лингвиста Тоёда Кунио: "Язык постоянно нуждается в норме. Для определения правильности нормы необходим авторитет или какое-то обоснование. Авторитеты, которые давали это обоснование, менялись с течением времени. От жрецов в древнейшие времена право быть авторитетом переходило к знающим письменность ученым и к людям искусства. В современной Японии таким авторитетом является массовая коммуникация" [41, с. 15]. В СССР представления были иными и скорее более архаичными. Пример – дискуссия в советской печати в 1964–1965 гг. по проекту реформы орфографии: в общественном мнении выступления писателей, обычно лингвистически элементарно неграмотные, воспринимались как самые весомые, лингвистов слушали гораздо меньше, а работники средств массовой коммуникации, по крайней мере электронных, вообще не высказывались³⁶.

Не удивительно, что в Японии нормирование языка сосредоточено в двух ведомствах: Министерстве просвещения и полугосударственной теле- и радиоконпании Эн-эйч-кэй; их нормы, жестко выполняемые лишь соответственно в школьном преподавании и в передачах Эн-эйч-кэй, оказывают тем не менее влияние на всю языковую ситуацию. Нормы двух ведомств, несколько более пуристичные у Министерства просвещения, иногда не совпадают и конкурируют друг с другом.

В СССР Гостелерадио и его предшественники, хотя также выпускали справочники для дикторов, не оказывали особого влияния на выработку языковых норм. В качестве нормализаторов языка также выступали Министерство просвещения (через издание учебников), Академия наук (словари и справочники), играли роль и издательства, выпускавшие нормативные словари и справочники.

Сами по себе способы изменения и уточнения нормы в обеих странах аналогичны: это либо постановления и циркуляры о частичном изменении, уточнении или отмене каких-либо правил, либо нормативные словари и грамматики, при переизданиях которых что-то меняется.

Ни в той, ни в другой стране после достижения стабилизации уже не стоял вопрос о коренной смене литературной нормы в каком-либо отношении. Вспомнив термины

³⁶ Японский рецензент советской "Энциклопедии юного филолога" Тино Эйити удивлялся наличию там статей о писателях, указывая, что японская традиция не могла бы такое позволить [42, с. 37].

И. Неуступны, можно сказать, что в обеих странах перешли от языковой политики к культуре речи, норма прежде всего на этом этапе сохраняется неизменной, лишь в деталях изменяясь или уточняясь. Ни о приближении русского литературного языка к "языку рабочих", ни об отмене японских форм вежливости, ни о переводе того или иного языка на латинский алфавит речи уже не шло. Даже менее радикальные перемены оказывались невозможными. Неудача проекта орфографической реформы 1964 г. последовала не из-за упомянутой выше позиции писателей: сама эта позиция отражала точку зрения "нормального" взрослого грамотного носителя языка, которому прежде всего не хочется переучиваться. Лишь в годы революций или коренных реформ можно преодолеть такое нежелание.

Даже реформы периода всеобщей ломки прижились по-разному. Орфографические реформы в обеих странах оказались успешными (показательно, что в нашей стране в последние годы при массовом движении за возвращение к "исконной" топонимике не стали сколько-нибудь заметными призывы вернуться к старой орфографии). В Японии также полностью оправдали себя отмена бунго, упрощение написания иероглифов и упразднение императорских форм. Но уже реформа форм вежливости удалась не полностью, многие рекомендации себя не оправдали. Лишь частично удался и иероглифический минимум. Хотя несомненно число употребляемых иероглифов уменьшилось и возврат к старому уже невозможен [16, с. 271; 43, с. 28], но количество реально употребляемых иероглифов всегда заметно превышало этот минимум: в 1966 г. в ведущих газетах Японии было употреблено 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше минимума [43, с. 26]; многие рекомендации по написанию конкретных слов остались на бумаге, особенно в отношении собственных имен. Минимум несколько раз пересматривался, последние пересмотры произошли в 1981 и 1990 гг. В целом изменения шли в сторону увеличения, сейчас в минимуме 2.229 знаков, но реально их все равно больше. Попытка упразднить так называемую фуригану (написание чтения иероглифа азбукой сбоку от него для пояснения или стилистического эффекта) вообще не удалась: фуригана никогда не исчезала даже в учебниках, в 1972 г. постановление о ее отмене было аннулировано. Более поздние попытки ввести какие-то более или менее значительные изменения нормы не прижились. Это можно сопоставить с постановлением 1944 г. о введении в русском письме обязательного употребления буквы ё. Даже в те во многих других отношениях строгие времена добиться такого употребления не удалось.

Это однако не исключает изменения написания или произношения отдельных слов, что происходило не так уж редко: автор этого текста учился писать *подмышку*, *биллиард*, *Лос-Анжелос*, а потом пришлось привыкать к написаниям *под мышку*, *бильярд*, *Лос-Анджелес* (в последнем случае изменилось и произношение). Только у нас такие изменения нередко производятся "на глаз", а в Японии они — результат длительного и массового наблюдения над языком и опроса множества информантов. Если оказывается, что дикторы телевидения регулярно произносят некоторое слово не так, как это предписывается нормой, а информанты предпочитают то же произношение, что и дикторы, то норма меняется.

С точки зрения распространения литературного языка обе страны в данные периоды имеют сходство. Но роль других языковых образований оказывается иной. В русскоязычных районах СССР литературный язык не имел конкурентов. Конечно, диалекты всегда существовали, а степень владения литературным языком была и остается различной, но диалекты в советское время окончательно стали непрестижными, а под влиянием средств массовой информации и контактов между людьми их особенности быстро изживались. Не сложились региональные койне, а региональные особенности литературного языка, и раньше не очень большие, совсем сгладились: "Перемешивание людских масс в годы великих исторических потрясений было постоянным и максимально широким, где тут устоять локальным особенностям" [1, с. 16]. С другой стороны, церковно-славянский язык с ослаблением позиций церкви в государстве ушел на еще более далекую периферию, а славянизмы если и продолжали проникать в литературный язык, то лишь в нарочито сниженном значении: в газетном

стиле *приснопамятный* и *подвизаться* могли быть лишь ругательствами. И сейчас, хотя роль церкви вновь начала усиливаться, вряд ли можно ожидать "обмирщения" церковно-славянского языка.

В Японии же далеко не исчерпана историческая роль бунго и тем более диалектов, а региональные койне, ранее почти исчезнувшие, вновь начинают появляться. Роль бунго резко снизилась после 1945 г., но до сих пор бунго учат в школе, классическую литературу чаще издают в оригинале с комментариями, чем в переводе на современный язык, только на бунго пишут стихи в традиционных жанрах танка и хайку (правда, в большинстве эпигонские и нередко с ошибками), сохраняется бунго в традиционном театре и в религиозной сфере, включая и христианство. Но важнее не само функционирование бунго, достаточно ограниченное, а продолжение его влияния на современный литературный язык. Одна из черт, удивляющих иностранца при знакомстве с японской лексикографией – большой процент старой лексики, часто никогда не употреблявшейся в новом литературном языке [см. 44]; ср. русские толковые и двуязычные словари, куда не принято включать лексику, вышедшую из употребления в допетровский период. Пока бунго был живым языком, а образцом для него оставались тексты древних эпох, то любой архаизм имел шанс быть употребленным в тексте на бунго, а через него попасть и в кого (в период ускоренной европеизации так нередко происходило со словами, которые использовали как эквиваленты для передачи новых понятий). Сейчас это встречается много реже, но не исчезло совсем, особенно в некоторых специализированных текстах (юридических, патентных), где и грамматика приближена к бунговской. Грамматические заимствования из бунго нередки и в иных стилях вплоть даже до разговорного, воспринимаясь как более вежливые и изысканные. Ср. также состояние камбуна, о котором говорилось выше.

Но намного важнее современная роль диалектов, о которой мы писали подробнее [40, с. 17–24]. По-прежнему они остаются главным средством коммуникации в семье и с близкими друзьями и соседями. Мы уже говорили, что русскому разговорному языку соответствующее языковое образование в Японии соответствует лишь частично: в деревне и в малых городах полностью преобладают диалекты. Именно на диалектах большинство японцев начинают говорить, лишь затем через телевидение и школу они осваивают литературную норму.

Сохраняя свою роль функционально, диалекты меняются структурно, испытывая влияние литературного языка. Например, система фонем в современных диалектах обычно совпадает с литературной. Однако не говоря об акцентуации, и многие грамматические и лексические диалектные черты остаются очень устойчивыми. Более того, очень многие японские исследователи отмечают появление так называемых "новых диалектов", это явление отмечено в самых разных районах Японии. В "новых диалектах" наряду с явлениями, происходящими из старых диалектов или из литературного языка, наблюдаются и ранее не существовавшие лексемы и даже грамматические формы.

Престижность диалектов заметно повысилась сравнительно с довоенным временем, когда люди даже скрывали знание диалектов. Раньше свободное владение диалектом свидетельствовало о незнании или недостаточном знании литературного языка. Теперь большинство японцев вполне владеет обеими системами и свободно переходит от одной к другой. Нам приходилось видеть, как в телепередаче группа женщин из префектуры Мияги на севере Японии вела беседу между собой на диалекте, но увидев телекамеру, эти женщины перешли на вполне нормальный литературный язык. Среди носителей русского языка такой способностью вряд ли обладает кто-либо, кроме специалистов-диалектологов.

Если до войны в школах отучивали детей от диалектных особенностей, то теперь диалекты рассматриваются как национальное достояние: в научно-исследовательском институте при компании Эн-эйч-кэй вместе с записями голосов знаменитых людей хранятся записи исконных, не подвергшихся литературному влиянию диалектов (которые все-таки почти исчезли). В школах вводятся особые для каждого региона курсы

правильного пользования местным диалектом, а в местном радиовещании встречаются передачи на диалектах. Тем самым диалекты, сохраняя локальность, начинают подвергаться нормализации. Но упорядочить каждый говор невозможно. Такие нормализованные языковые образования уже скорее не диалекты, а региональные койне, в которых усредняются особенности отдельных диалектов. Со временем из них могут образоваться и локальные варианты литературного языка.

Как трактовать такую роль диалектов, не имевшую и не имеющую аналогов в России? Свидетельство ли это перехода к постиндустриальному обществу, где жесткое вытеснение одних языков другими и одних вариантов языка другими вариантами того же языка сменяется "мирным сосуществованием"? Или же это отражение все той же склонности японцев проводить барьер между "своими" и "чужими"? В самом деле, владея одним лишь диалектом или одним лишь литературным языком, такой барьер провести труднее, а современный японец говорит на диалекте со "своими" и на литературном языке с "чужими" (в том числе в официальных ситуациях). "Перемешивания людских масс в годы великих исторических потрясений" (например, в конце войны, когда шла массовая эвакуация из районов бомбардировок) немало было и в Японии, но диалекты либо сохранялись, либо заменялись диалектами же. Например, остров Хоккайдо заселялся в основном лишь в последнее столетие и там перемешались выходцы из разных диалектных зон. При этом их исконные диалекты через два поколения исчезли, но образовался общий новый диалект. Так что диалекты в Японии очень устойчивы, в России же многие из них исчезли или исчезают.

Несколько лет назад на этом можно было бы поставить точку, но сейчас ситуация, мало изменившись в Японии, коренным образом изменилась в уже бывшем СССР. Уже очевидно, что за социальной дестабилизацией следует и языковая, на глазах теряют силу старые табу и предписания, расшатывается норма. Но выводы пока делать рано.

За недостатком места мы не коснулись ряда важных компонентов языковой ситуации, в частности, вопроса о заимствованиях, где тоже есть немало любопытных параллелей. Безусловно, мы не претендуем на решение поставленных нами проблем. Нам прежде всего хотелось бы привлечь к этим проблемам внимание как русистов, так и японистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Панов М В История русского литературного произношения XVIII–XX вв М, 1990
- 2 Неверов С В Общественно-языковая практика современной Японии М, 1982
- 3 Кодза-кокугоси Т 6 Бунтайси, гэнго сэйкацу-си Токио, 1972
- 4 Конрад Н И О литературном языке в Китае и Японии // Труды Института языкознания АН СССР Т X М, 1960
- 5 Алпатов В М Социолингвистическая ситуация в Японии XIX–XX вв // Диакроническая социолингвистика М, 1993
- 6 Ларин Б А Русская грамматика Лудольфа 1696 года Л, 1937
- 7 Успенский Б А Из истории русского литературного языка XVIII–начала XIX века Языковая программа Карамзина и ее исторические корни М, 1985
- 8 Винокур Г О Избранные работы по русскому языку М, 1959
- 9 Сыромятников Н А Становление новояпонского языка. М, 1965
- 10 Алпатов В М Басс И И Фомин А И Японское языкознание VIII–XIX вв // История лингвистических учений Средневековый Восток Л, 1981
- 11 Сибата Такэси Нихонго-но сайго но кабэ ва кандзи сие // Нихонго, 1990 № 1
- 12 Сибата Такэси Ару гайрайгогун-га тэйтяку-суру мадэ // Нихонго, 1990 № 7
- 13 Сыромятников Н А Развитие новояпонского языка М, 1978
- 14 Виноградов В В Избранные труды История русского литературного языка М, 1978
- 15 Naitada T Outlines of modern Japanese linguistics Tokyo, 1966
- 16 Neustupny I V Post-structural approaches to languages (Language theory in a Japanese context) Tokyo, 1978
- 17 Харада Танэнари Кокуго 1-но камбун-но сидо-ни цуйтэ // Кандзи-камбун, 1982 № 27
- 18 Сато Хисао Нэнга хагаки но хэгэн // Кокубунгаку-кахо 1974 № 3

- 19 *Мориока Кэндзи* Гэндай но гэнго сэйкацу // Кодза кокугоси 1972 Т 6 Бунтайси гэнго сэйкацу си
- 20 *Киносита Дзюндзи* Котоба то фурусато // Кокуго-дзусин 1983 № 5
- 21 *The Gospel in many tongues* London, 1950
- 22 *Токиэда Мотоки* Основы японского языкознания // Языкознание в Японии М, 1983
- 23 *Киэда М* Грамматика японского языка Т 1–2 М, 1958–1959
- 24 *Холодович А А* Синтаксис японского военного языка М, 1937
- 25 *Пориванову Е Д* Нихонго кэнкю Токио, 1976
- 26 *Марр Н Я* К реформе письма и грамматики // Русский язык в советской школе 1930 № 4
- 27 *Марр Н Я* Избранные работы Т II М–Л 1936
- 28 Архив РАН, фонд 468 (Н М Каринский), опись 1, ед хр 210
- 29 *Конрад Н И* Вопросы языка в послевоенной Японии // Вестник АН СССР 1948 № 6
- 30 *Suzuki T* On the twofold phonetic realization of basic concepts in defence of Chinese characters in Japanese // Language in Japanese Society Tokyo, 1975
- 31 *Яковлев Н Ф* За латинизацию русского алфавита // Культура и письменность Востока Кн VI Баку 1930
- 32 *Поливанов Е Д* Русский язык сегодняшнего дня // Литература и марксизм, 1928 Кн 2
- 33 *Поливанов Е Д* – Родной язык и литература в трудовой школе 1928 № 3 – Рец Селищев А М Язык революционной эпохи
- 34 *Поливанов Е Д* О литературном (стандартном) языке современности // Родной язык в школе Сб 1 М, 1927
- 35 *Сугито Миеко, Окумура Аяко* Оя но хогэн-акусэнто га кодомо-но акусэнтоката-но хацун ни атаэру эйкэ // Осака-сёин-дзеси дайгаку ронсю № 21 1984
- 36 *Охаси Сумико* Ханасикотоба-но хангяку-ни цуйтэ // Сого-бунка кэнкюдзе кие 1984 Т 1
- 37 *Касивамура Сидзюко* Кокугога гакусю-гои ни кансүру кэнкю // Гогоаку бунгаку 1983 № 21
- 38 Гэнго сэйкацу 1984 № 11
- 39 *Mizutani O* Japanese the Spoken language in Japanese life Tokyo, 1981
- 40 *Алпатов В М* Япония язык и общество М, 1988
- 41 *Тоеда Кунио* Нихон но кокуго сэйсаку-но мондай // Гэнго-сэйкацу, 1972, № 9
- 42 Гэнго сэйкацу 1984 № 12
- 43 *Имаи Тадаси* Кокуго ни окэру кандзи но уммэй // Убэ-танки-дайгаку гакудзюцу хококу 1980 № 16
- 44 *Алпатов В М* О специфике японских словарей // Язык и культура Новое в японской филологии М 1987

© 1995 г. И.Г. ДОБРОДОМОВ

ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В русской исторической лексикологии нового времени книга Ю.С. Сорокина "Развитие словарного состава русского литературного языка в 30–90-е годы XIX века" (именно так она названа в выходных данных, а на переплете и титульном листе предлог *в* оказался опущенным, что приводит часто к неточному называнию книги в литературе), вышедшая в 1965 г. представляет собой важное явление [1]. В ней сделано много интересных и чрезвычайно важных выводов на основе точного материала и учета мнений, ранее высказанных в специальной литературе. Особую значимость суждениям Ю.С. Сорокина придает тщательность в подаче четко документированного материала, чем обеспечивается достоверность и доказательность выводов. Осмыслению конкретного материала с разных сторон помогают разные суждения о нем, зачастую даже противоречивые, высказываемые различными исследователями, которые, конечно, также зависят от использованного ими материала. Проекция большого материала на высокий уровень всей суммы языковедческих разысканий является необходимой предпосылкой успеха и значительного продвижения вперед любого труда по русской исторической лексикологии. Большое значение здесь будет иметь каждое начинание по фиксации всего сделанного усилиями исследователей, как это суммировано, например, в составленном под руководством Ю.С. Сорокина кратком опыте указателя литературы по истории отдельных слов [2]. Кроме подобного рода чисто индексного указателя, возможны и более желательны обзоры аннотированные или даже аналитические, но, к сожалению, работа над ними не ведется, хотя это было бы весьма полезно для развития исторической лексикологии во всех отношениях.

Отсутствие достаточно подробного и полного русского исторического словаря заставляет каждого исследователя в случае надобности самостоятельно подбирать лексический материал из письменных источников и интерпретировать его в духе исторической лексикологии для разных историко-лингвистических целей. Самостоятельность исследователя в поисках и обработке словоупотреблений не позволяет ему достигать каких-то своих специфических целей на достаточно репрезентативной основе, чтобы сделать вполне убедительные выводы.

Эту фактически сложившуюся практику удобно рассмотреть на одном каком-нибудь примере многочисленных попутных историколексикологических экскурсов, которые столь необходимы особенно для историков русского литературного языка. В подобном отношении чрезвычайно показательно отражение истории на русской почве французского выражения *faire la cour* "ухаживать за дамой, любезничать", которое вошло в русский язык как в виде полукальки *строить куры*¹, так и в виде глагола *ферлакурить* с рядом производных.

Русские этимологические словари по поводу этого выражения дают слишком краткие и не во всем точные сведения.

У Н.В. Горева справка об этом выражении весьма лаконична: "**Куры** строить =

¹ На необходимость тщательного изучения истории этого выражения уже обращали внимание (см.: [3, С. 74]).

буквальн. перевод в 18 в. фр. *faire la cour à..*" [4], – хотя фактически мы имеем дело с полупереводом (полукалькой).

Соображения А.Г. Преображенского основаны уже на более богатом материале, касаясь и вопросов истории выражения на русской почве, которая была, однако, мало исследована: «КУРЫ, Р. кур (или куров?) – "ухаживанье" в выпр. *строить куры*. – Из фр. *faire la cour*. Интересно было бы знать, когда появилось в рус. В перечне Смирнова [5. – И.Д.] нет. Вероятно, позднее П[етра] В[еликого]. У Грота² об этом не сказано. Сост[авите]лю приходилось слышать *ферлакурить* "ухаживать"» [6]. Здесь весьма любопытна попытка выделить в качестве самостоятельного слова элемент *куры* в значении "ухаживанье", что в нашей лексикографии не принято.

М.Р. Фасмер о выражении *строить куры* дал весьма краткую этимологическую справку в духе Н.В. Горяева и А.Г. Преображенского, а однословный глагол зафиксировал в формах *ферлякурить* с глухой отсылкой на сочинения П.И. Мельникова (А. Печерского) и *ферлакурить* со ссылкой на 3-е издание Словаря В.И. Даля [8], но у последнего есть только *ферлакурничать*, что и было учтено в русском переводе путем безоговорочного исправления неточности: вместо *ферлакурить* немецкого издания [9] в русском фигурирует *ферлакурничать* [10], что полностью согласуется с источником [8].

Историки русского литературного языка сделали по поводу этого выражения ряд интересных наблюдений и собрали довольно любопытный материал, причем редко учитывали мнения своих коллег. Эти разноречивые мнения да и сам материал оказались неучтенными в трудах по русской исторической лексикологии, в том числе и в больших трудах по заимствованиям, но в известной старой книге И.И. Огненьки оборот *строить куры* ("ухаживать" ← *faire la cour*) просто значится среди "выражений, буквально взятых с французского" без развития его истории [11]. В лингвистической литературе обращалось внимание на факт употребления выражения *faire la cour* без перевода [12], но вне связи с полупереводом *строить куры* в истории русской фразеологии, причем даже довольно начитанные в русской литературе авторы зачастую опирались на недостаточно показательный материал, который не всегда уполномочивал их на вполне надежные выводы.

Касаясь проблемы обогащения русской лексики и фразеологии XVIII в. за счет калькирования "европеизмов", В.В. Виноградов в числе французских идиом и фраз, "которые укрепились в русском литературном языке и сохранились в большом количестве вплоть до современной эпохи" упоминает и выражение *faire la cour* – *строить куры*, не соотнося это с неточно цитируемым у него высказыванием А.С. Шишкова о том, что подобные "обветшалые иностранные слова ... прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам" [13, с. 24], и наличием известного ему употребления этого выражения у Н.В. Гоголя в девятой главе "Мертвых душ": «"Как? неужели он и протопопше строил куры?" – "Ах, Анна Григорьевна пусть бы еще куры..."». При этом последнее употребление сопровождается у Виноградова интересным комментарием: "Характерно, что Гоголь вмещает в язык провинциальных дам и те архаические галлицизмы, которые в столицах считались уже купеческими или мелкочиновничьими" [14; 15], что говорит о некоторой архаизации выражения уже в XIX в.³, поэтому в первом высказывании В.В. Виноградова вызывает возражение лишь буквальное понимание слов о сохранении выражения *строить куры* "вплоть до современной эпохи": в современном русском языке это явно архаическое выражение фигурирует исключительно благодаря знакомству общества с произведениями писа-

² "Иногда ед.ч. переделываем во множ.: *фортетианы* (слышится вм. – но), *строить куры* (*faire la cour*)". [7, с. 771].

³ Слова А.С. Шишкова часто неточно приводят в разных других трудах [16], не учитывая, что у самого А.С. Шишкова выражение *строить любовные куры* употреблено в пародийной "Элегии" как типичное выражение "нового слога" [13. С. 452]. Последнее обстоятельство несколько противоречит высказыванию А.С. Шишкова о выходе выражения "из большого света".

телей прошлого, где этот архаизм еще находил свое довольно активное употребление⁴. Надо при этом учесть, что в 30-е годы XX в., когда писал В.В. Виноградов, эта известность выражения могла быть несколько больше, чем сейчас – в конце XX в. Чуждость этого выражения народному русскому языку подчеркивал С.В. Максимов, считавший его придуманным исключительно "для городского обихода" [19].

Совсем в другом месте В.В. Виноградов не вполне удачно и ясно говорит об эфемерности выражения *строить куры* в связи с судьбой заимствований, проникавших в русский язык: «На протяжении своей истории русский язык с необычайной широтой и свободой пользовался словами и выражениями чужих языков, погружая их в русскую национальную стихию и ассимилируя с ней. При этом метод национального освоения европеизмов, выработавшийся в XVIII в. и усовершенствованный Карамзиным, подвергается решительному преобразованию в языке Пушкина и других писателей XIX в., когда определилась норма общерусского национального языка. Заимствования сразу же приходят теперь через внутреннее испытание духом русского языка. Они оцениваются с точки зрения семантических норм общерусского языка. Пушкинская реформа пресекает немотивированное проникновение в русский язык калькированных слов – понятий и выражений, как это был нередко в XVIII в. (например, *строить куры*, *дева красоты* вместо "красивая девушка", на *дружеской ноге* и т.п.). Наличие прочных национальных основ литературной речи решительно изменяло самые принципы заимствований европеизмов. Образование литературно-языковой нормы устранило всякие опасности наводнения иностранных слов» [20].

В своих произведениях А.С. Пушкин совсем не употреблял выражения *строить куры*⁵ и не высказывал к нему никакого отношения. Любопытно, что его старший современник М.М. Сперанский, считал в 1831 г. идиому вышедшей из употребления (см. об этом в [7, с. 191]), что, однако, действительности не соответствовало.

Выражение *строить куры*, появившееся в русском языке XVIII в. в качестве модного галлицизма, употреблялось и в XIX в., постепенно выходя из активного употребления вне какой бы то ни было заметной связи с "пушкинской реформой". Любопытно, что сходные галлицизмы на базе франц. *faire la cour* знают также немецкий (*den Hof machen*, *die Cour machen* или *die Cour schneiden*), шведский (*göra någon sin kur*) и польский (*kury* или *konkury palic*).

Говоря об отражении в произведениях комедийного жанра русской литературы XVIII в. своеобразного "щегольского наречия" щеголих и петиметров, а также о перекличке комедий и сатирического журнала "Живописец" Н.И. Новикова в оценке этого явления, Г.О. Винокур выписывает из последнего такие синонимичные образцы модного жаргона: *строить дворики* (*faire la cour*), *махаться* (ухаживать за кем-нибудь, иметь с кем-нибудь любовную интригу, например, в "Именинах госпожи Ворчалкиной": "Я знаю, что у них великое маханье, только мне кажется, что он в болванчики ей не годится") и т.п. [24].

Опиравшийся на фактически тот же материал, но уже как иллюстрацию эфемер-

⁴ В связи с этим едва ли прав Л.А. Булаховский, рассматривавший выражение *строил куры* (в "Мертвых душах") как неосвоенный галлицизм в одном ряду с *скандалёз* (франц. *scandaleux*, *-leuse* "скандальный"), *оррёр* (франц. *horreur* "ужас") и т.п., употребленными в том же разговоре провинциальных светских дам [17]. В макаронической поэзии И.П. Мятлева выражение *строить куры* не выделяется курсивом в отличие от настоящих иноязычных вкраплений:

Офицер один швейцарский,
Ни уланский, ни гусарский,
Ме пуртан кавалерист
С шпорами а юн модист
Преусердно строит куры;
Там другие балагуры
Говорят про сё, по то... [18].

⁵ Впрочем, А.С. Пушкину лексикографы и лексикологи иногда неосновательно приписывали стихотворный каламбур с выражением *строить куры* [21; 22; 23], о чем речь пойдет дальше.

ности эвфемистической лексики и фразеологии Б.А. Ларин рассматривал выражение *строить куры* в качестве недолговечного эвфемизма, но из-за относительной скудости привлеченного материала он неправомерно считал эту идиому фактом русского языка лишь только XVIII века: «В.И. Даль еще счел нужным поместить в свой словарь почти забытое выражение XVIII в.: *куры строить*. Редактор 3-го издания, проф. Бодуэн де Куртенэ добавляет пояснение: из фран. *faire la cour* и вводит путем ссылки еще одно забытое слово, засвидетельствованное в XIX в.: *ферлакурить* [8; фактически *ферлакурничать*. – И.Д.]. Первое Даль поясняет словами середины XIX в.: "волочиться, любезничать", а последнее Бодуэн де Куртенэ – выражениями начала XX в.: "ухаживать за женщиной, заниматься флиртом". Однако раньше этих эвфемизмов, но в том же XVIII в., употреблялось *строить дворики, махаться*. Иллюстрации из "Живописца" Н.И. Новикова:

1. Ах, как он славен; с чужою женою и *помахаться* не смеет – еще и за грех ставит! (Опыт модного словаря, щегольского наречия) [25, с. 62. – И.Д.].

2. С которою *машусь*, ту одну хвалю, в ней одной все нахожу совершенства, а в протчих вижу только недостатки и пороки [25, с. 22. – И.Д.]⁶.

3. Пусть ученый человек со всею своею премудростью начнет при мне строить *дворики*, то я его так проучу, что он от всякой *щеголихи* тотчас на *четырёх ногах* поскачет.

4. Разговор ее [жены] ни в чем другом по большей части не стоит, как только рассказывает и делает заключения, кто кому *творит какой-то кур*: слово, которого я до женитьбы моей не знал [25, с. 24, 105. – И.Д.].

Употребление в литературе слов *ферлакур* "ухаживатель", *ферлакурный*, *ферлакурничать* иллюстрирует М.И. Михельсон в "Опыте русской фразеологии" [22, т. II, с. 441. – И.Д.]:

1. Где только барышни, так вот и льнет... Да уже не говорите, такой *ферлакур*, что просто беда! (Д.В. Григорович. Лотерейный бал).

2. Дамочка-то очень и очень смазлива, а карапузик-то со стеклышком очень и очень *ферлакурен*, и губа у него не дура (Н. Макаров. Мои воспоминания, кн. 4, гл. 2).

3. Старехонек был, а любил с дам(очк)ами поферлакурничать, – не ставил того во грех... (П.И. Мельников. Бабушкины рассказы)"» [28].

В этих суждениях, фактически, как в суждениях Г.О. Винокура, повлиявших на Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского [29], представляется безусловно ошибочным лишь указание на ограниченность употребления фразеологизма *куры строить* только XVIII веком (ср. дополнительный не всегда точный материал в [30]), чего можно было бы избежать даже обратившись хотя бы к тому же самому неточно названному Б.А. Лариным "Опыту русской фразеологии" М.И. Михельсона [22, т. I, с. 495 с тремя цитатами из произведений авторов XIX века, и к академическому словарю [23] также с тремя цитатами из авторов XIX века.

Нельзя слишком ригористично понимать высказывание Б.А. Ларина о том, что В.И. Даль и И.А. Бодуэн де Куртенэ объясняли соответственно выражение *строить куры* и глагол *ферлакурить* / *ферлакурничать* словами своего времени: эти слова были, конечно, тогда употребительны, хотя появиться они могли и раньше, а исчезнуть позже.

⁶ «*Махаться* – калька с франц. *s'agiter* "волноваться от страсти", с намеком над (!) *agiter la queue* "вертеть хвостом" (язвительно – об изъяснении чувств "на собачьем языке"), ср. соврем. бран. *верти-хвостка*» (примеч. Б.А. Ларина). Здесь Б.А. Ларин не учел более распространенного ходячего объяснения: "Так, общенародное слово *махаться* в салонном жаргоне XVIII века употреблялось в значении *кокетничать, волочиться*. Появление этого нового и своеобразного значения будет непонятно, если не напомнить, что оно исходило от махания веером" [26]. Это объяснение восходит к тем же "Бабушкиным рассказам" П.И. Мельникова (А. Печерского), где оно помещено на следующей странице после следующей далее цитаты с глаголом *поферлякурничать* (см. [27, с. 126 и 130]), но использование материала из вторых рук не позволило Б.А. Ларину его учесть.

Что касается использования словарного материала, то следует заметить, что у М.И. Михельсона [22, т. II, с. 441] не сохранена редкая орфография *поферлякурничать* в цитате из "Бабушкиных рассказов" П.И. Мельникова (А. Печерского), измененная в пользу более распространенной *поферлакурничать*. Но именно эта редкая орфографическая особенность принята за основное написание у М.Р. Фасмера [9, 10], который на втором месте после *ферлякурить* (с *ля*) дал более обычную орфографическую форму с *ла*: *ферлакурить*, на основе включения И.А. Бодуэном де Куртенэ в 3-е издание "Толкового словаря" В.И. Даля варианта *ферлакурничать* (М.Р. Фасмер ссылается просто на В.И. Даля, но имеет в виду 3-е издание, что надо помнить при пользовании его "Этимологическим словарем").

В остальном же М.И. Михельсон (в отличие от Б.А. Ларина) почти точен: только нужно учесть, что он цитирует "Бабушкины рассказы" по второй редакции [27], хотя сейчас они обычно перепечатываются [31] по первой публикации в журнале "Современник": "А хоть и старехонек был, однако все же очень любил с дамами поферлякурничать, – этого в грех не ставил".

Надо заметить, что ни Б.А. Ларина, ни обратившего несколько позже внимание на производные от французского фразеологизма *faire la cour* слова *ферлакур*, *ферлакурить*, *ферлакурничать* (и *ферлакурный*) А.М. Бабкина [32] не интересовала последовательность появления этих слов в русском языке, хотя это довольно важная проблема. Во всяком случае, необходимо отметить сомнительность показаний "Словословнообразовательного словаря" А.Н. Тихонова [33, т. II, с. 306], неправомерно ставящего во главу словообразовательного гнезда существительное *ферлакур*, от которого ошибочно выводится глагол *ферлакурить*, хотя именно последний явился результатом стягивания французского *faire la cour* в единое слово и оформления его по продуктивному глагольному типу *ферлакурить*, откуда в результате обратного словообразования получилось вторичное название лица *ферлакур*.

Слово *ферлакур* появилось аналогично существительному *жуир*, извлеченному вторично из глагола *жуировать*, о чем писал Л. Гальди: "Как кажется, здесь перед нами форма, возникшая на русской территории⁷. Вероятнее предполагать не переход из одной грамматической категории в другую (*jouir* – глагол, *жуир* – существительное), а заимствование *jouir* в форме *жуировать* и возникновение позднее существительного *жуир* в результате ложного "отталкивания". Авторы четырехтомного "Словаря русского языка" и семнадцатитомного "Словаря современного русского литературного языка", по-видимому, предполагали нечто аналогичное, так как они ограничиваются установлением происхождения глагола, ничего не говоря о происхождении существительного" [3, с. 46, 34, 45]. Это справедливое замечание не было учтено А.Н. Тихоновым, который так же ошибочно выводит *жуировать* от *жуир* [33, т. I, с. 352].

Уже в XVIII веке начинается устойчивая традиция употребления в выражения каламбурных целях:

Шалунья некая в беседе,
В торжественном обеде,
Не бредила без слов французских ни чево,
Хотя она из языка сево
Не знала ничего,
Ни слова одново:
Однако знанием хотела поблистати,
И ставила слова французские не к стати;
Сказала между тем: я еду делать кур.
Сказали дурище, внимая то соседки:
Какой плетешь ты вздор: кур делают наседки [34].

⁷ Должно быть: почве. – И.Д.

Не учитывая того обстоятельства, что в этой притче А.П. Сумарокова полупереведена совсем другая французская идиома *aller faire la cour* "ездить на поклон", Р.Р. Гельгардт по поводу совсем другого выражения говорит: «... в дворянском жаргоне XVIII в. французское *faire la cour* "ухаживать" было переведено сочетанием слов *строить куры* или же *делать кур*. Естественно, что люди, не знающие французского языка, могли воспринимать все слова, которые входят в состав этого речения, как слова русские. При этом французское *кур* (*cour*) в фразеологизме *делать кур* легко могло осознаваться как форма род.-вин. пад. мн. числа русского существительного *курица*. Именно такое осмысление мы находим в одном из стихотворений Сумарокова, высмеивавшего увлечение галлицизмами дворянского общества и тех слоев, которые стремились подражать его жаргону» [35]. Каламбурная сторона выражения *строить куры* учтена по Р.Р. Гельгардту в учебниках Н.М. Шанского [36].

Не исключено также, что здесь мы имеем дело с полупереводом французского выражения *faire une cure de...* "проходить лечение...", где фигурирует слово *cure* "лечение, забота", которое употреблялось в русских текстах XVIII в. и самостоятельно: "Продолжение моего водяного кура воспрепятствовало мне иметь удовольствие к вам, любезный мой князь Александр Борисович писать" [37].

Надо заметить, что полуперевод французского выражения (*aller*) *faire la cour* "(ездить) на поклон" известен в деловой переписке русских вельмож с середины XVIII века: "... да и не к стати бы было, чтобы я за день до ея приезде отъехал, но желал мои куры здесь ея светлости делать" [38, с. 227]. "... чужестранные министры, резидующие при нашем дворе, зело его ласкают, почти кур ему делают.." [38, с. 83].

В дальнейшем наряду с выходом из употребления полукальки *aller faire la cour* (ездить) *делать кур* "ездить на поклон" наблюдается ее формальная дифференциация с похожей на нее и семантически ей близкой полукалькой *faire la cour (à une dame)* *делать кур(ы)* "ухаживать (за дамой)", которая закрепилась в форме *строить куры* и привлекала к себе внимание лингвистов, оттеснив в небытие свое паронимическое соответствие, которое в XIX в. уже редко воспроизводилось в русской речи.

Гораздо более полной выглядит история выражения *строить куры* в статье Е.Э. Биржаковой, которая объясняет причины невключения этого выражения в "Словарь Академии Российской" и привлекает почти достаточный цитатный материал из произведений русских писателей XVIII–XIX вв. (два примера из XVIII и три из XIX вв.):

«В связи с очень ограниченным включением иноязычной лексики авторы [Словаря Академии Российской. – И.Д.] были скупы также и в привлечении фразеологии, иноязычный источник которой был для них отчетлив, например: *платить тою же монетою, быть не в своей тарелке, делать кур* и др. О том, что эти выражения были употребительны, свидетельствуют произведения XVIII в. ...

Делать кур "ухаживать" – частичный перевод французского выражения *faire la cour*.

В е т р о м а х : *Je jurerai toujours,*
Что я могу сказать не делай я ей кур,
И тем не сделаю немалого я крима:
Ona divinité [39. – И.Д.]

Т а р а т о р а ... только скажи, всех со двора собью; и перьваго мужа.

П л у т а н а : Нет ничего, а этова Тянислава, которой, кажется, вам кур делает [40. – И.Д.]⁸.

Это выражение закрепилось позднее в форме *делать, строить куры*:

⁸ На этот изолированный пример позже обратил внимание и Р.Р. Гельгардт [41].

Девушкам красоткам
Он ли строил куры (Пушкин. К Жуковскому).

Балахнов чрезвычайно любил дамское общество и, при случае, не прочь был даже строить куры. (Григорovich. Проселочные дороги, ч. I, гл. 15).

Но это еще не все, ты посмейся, он даже вздумал мне делать куры (Писемский. Фанфарон)» [21]⁹.

В этих материалах Е.Э. Биржаковой не стоит преувеличивать значимость поседнего примера, ибо он является очень редким для XIX в. исключением в виде возврата к старинной форме *делать кур(ы)* на фоне устойчивого употребления *строить куры*, которое, впрочем, иногда могло подвергаться и другим, довольно редким отклонениям типа употребления у Г.Ф. Квитки-Основьяненко в "Пане Халявском" (1839): "Я ... не был влюблен в ту Анисиньку и скажу без меланхолии, прямо: есть ли она, нет ли – для меня было все равно, и если и допускал ей куры, так чтобы не быть для нее скучным" [42].

Эти примеры хорошо показывают, что отмеченный А.С. Шишковым переход выражения *строить куры* (и его вариантов) "к купцам и купчихам" расширил сферу употребления фразеологизма и продлил время его существования в русском языке XIX в., причем эпизодические примеры варьирования совсем не характеризуют ходовое употребление выражения *строить куры* в русской литературе XIX в.

В материалах Е.Э. Биржаковой вызывает возражение лишь ошибочное приписывание А.С. Пушкину незамысловатых каламбурных стихов, по ложной традиции, идущей, вероятно, от "Опыта русской фразеологии" М.И. Михельсона [22, т. I, с. 495] и семнадцатитомного академического "Словаря современного русского литературного языка" [23]. Ни "Словарь языка Пушкина", ни авторитетные собрания его сочинений не подтверждают употребление выражения *строить куры* этим писателем, хотя известен случай употребления его французского оригинала *faire la cour* в "Разговорах с Н.К. Загряжской": "... а Миних, как ни в чем не бывало, разговаривает с дамами, *leur faisant la cour*" [44].

Вероятно, из-за недостаточности эксцерпированного материала наши важнейшие словари [45; 23; 46] слишком большое значение придают единичному употреблению этого выражения в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?" (1863) применительно к женщинам, чем искажается семантика фразеологизма, сильно отходящая от французского первоисточника: "И девицы, и вдовы, молодые и старые, строили ему куры, но он не захотел жениться во второй раз.." [47].

Это время окончательного упадка активного функционирования выражения, которое перед выходом из живого употребления приобрело слишком неопределенную, расплывчатую семантику.

Аналогичным образом в "Словаре фразеологических синонимов русского языка" плохо документированная цитата из "Братьев и сестер" Ф. Абрамова также отражает ненормативное употребление сейчас вышедшего уже из употребления архаизма, что не учтено составителями, ошибочно считающими его только разговорным и шутивным, но не архаичным: "Мужчина интересный, интеллигентный, а к интеллигентам Варвара всю жизнь была равнодушна, – не было в Пекашине учителя, которому бы она не строила куры" [48].

Вероятно, также под влиянием дефиниции В.И. Даля, «КУРЫ *строить* франц. "лстить, подыскиваться; волочиться, любезничать» [8] в словарях закрепилось неточное толкование "ухаживать за кем-либо" вместо "за женщинами", что в "Опыте этимологического словаря русской фразеологии" доведено до значения "флиртовать, завлекать" [49], скорее относящегося к женщинам.

Характерно, что однословное русское отражение французского выражения *faire la*

⁹ Надо учесть, что у А.Ф. Писемского употребляется и более обычная для XIX в. форма фразеологизма: "он, с своей стороны, тоже продолжал строить куры горничной" [43].

сош – глагол *ферлакурить/ферлакурничать* не имел колебаний в семантике, всегда обозначая только ухаживания за дамами

Обзор языковедческих исследований по истории литературной русской лексики и фразеологии, где затрагивалась проблема истории уже устаревших теперь выражения *строить/делать кур(ы)* и глагола *ферлакурить/ферлакурничать* (с производными), показал, что лингвистами уже накоплен достаточно серьезный материал по этому вопросу и история этих единиц, хотя порою и фрагментарно, в целом описана, нуждаясь, однако, в привлечении нового материала для уточнения деталей, а также в проверке старого, поскольку ни исследователи, ни лексикографы часто не задумывались над проблемами источниковедческой чистоты своих трудов. Фронтальная проверка уже привлеченного материала по первоисточникам, а также обращение к новым источникам помогут дать полную картину бытования рассмотренных фразеологизма и слов во всех ее сложнейших перипетиях, которые сейчас только наметились и требуют углубленного изучения на проверенном достоверном материале с его источниковедческой оценкой, чем не всегда были достаточно серьезно озабочены даже многие крупные языковеды-русисты

Все замечания в связи с освещенными попытками анализа выражения *строить куры* и его истории, сделанные здесь, должны рассматриваться как принципиальные, которые важны для исторической лексикологии и фразеологии русского языка в целом. Обильный и достоверный материал способен обеспечить надежность выводов в этой области

Учет предшествующих разысканий последующими исследователями не только обогатил бы последних и раньше освободил бы науку от застарелых ошибок и неточностей, но и избавил бы ее от накопления новых, что обеспечило бы историческую лексикологию надежными выводами

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Сорокин Ю С Развитие словарного состава русского литературного языка в 30-е–90 е годы XIX века М., Л 1965 565 с
- 2 Левашов Е А История слов русского литературного языка (XVIII–XIX вв.) Опыт указателя литературы, изданной в СССР на русском языке с 1918 по 1970 г. Л., 1983
- 3 Гальди Л Слова романского происхождения в русском языке М., 1958
- 4 Горяев Н В Сравнительный этимологический словарь русского языка [2 е изд.] Тифлис, 1896 С 177
- 5 Смирнов Н А Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху СПб., 1910
- 6 Преображенский А Г Этимологический словарь русского языка Вып 6 М., 1912 С 419
- 7 Грот Я К Филологические разыскания 4-е изд., СПб., 1899
- 8 Даль В И Толковый словарь живого великорусского языка, 3 е изд Т II М., СПб., 1905, Стб 578, т IV 1909 Стб 1136
- 9 Vasmer M Russisches etymologisches Wörterbuch Heidelberg Bd I, 1953 S 703, Bd III, 1958 S 205
- 10 Фасмер М Р Этимологический словарь русского языка М., Т II, 1967 С 430 Т IV, 1973 С 190
- 11 Огиенко И И Иноземные элементы в русском языке Киев, 1915 С 92
- 12 Бабкин А М Шендецов В В Словарь иноязычных выражений и слов, 2 е изд [Т I] Л., 1981 С 471–472
- 13 Шишков А С Рассуждение о старом и новом слоге российского языка СПб., 1803
- 14 Виноградов В В Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв 2 е изд М 1938 С 163, 214 361
- 15 Виноградов В В История слов М., 1994 С 1023
- 16 Левин В Д Очерк стилистики русского литературного языка конца XVII – начала XIX в. Лексика М., 1964 С 274
- 17 Будаховский Л А Русский литературный язык первой половины XIX века Лексика и общие замечания о слоге Киев, 1957 С 236
- 18 Мятлев И П Стихотворения Сенсации и замечания госпожи Курдюковой Л., 1969 С 338
- 19 Максимов С В Крылатые слова М., 1955 С 31
- 20 Виноградов В В Великий русский язык М., 1945 С 123
- 21 Биржакова Е Э Описание фразеологического состава русского литературного языка XVIII века в Словаре Академии Российской 1789–1794 гг // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века М., Л., 1965 С 268–269
- 22 Михельсон М И Русская мысль и речь Свое и чужое Опыт русской фразеологии Сборник образных слов и иносказаний Т I–II (Б м., б г.)

- 23 Словарь современного русского литературного языка Т 5 М Л, 1956 Стб 1883–1884
- 24 Винокур Г О Избранные работы по русскому языку М, 1959 С 155
- 25 Живописец Н И Новикова 1772–1773 Изд П А Ефремова СПб, 1884
- 26 Ефимов А И Стилистика художественной речи, 2-е изд, М, 1961 С 237
- 27 Рассказы Андрея Печерского (П И Мельникова) М, 1876 с 125, 2-е изд СПб, М 1888 С 129
- 28 Ларин Б А История русского языка и общее языкознание М 1977 С 111
- 29 Лотман Ю М Успенский Б А Споры о языке в начале XIX в как факт русской культуры // Уч зап Тартуского ун та Вып 358 1975 С 249
- 30 Палевская М Ф Материалы для фразеологического словаря русского языка XVIII века Кишинев, 1980 С 327
- 31 Русская повесть XIX века 60 х годов Т 1 М, 1956, С 131
- 32 Бабкин А М Русская фразеология, ее развитие источники Л, 1970 С 12
- 33 Тихонов А Н Словообразовательный словарь русского языка Т I–II М, 1985
- 34 Сумароков А П Полное собрание всех сочинений Ч VII М 1781 С 197
- 35 Гльзгардт Р Р О лексической ассимиляции в связи с ложной (народной) этимологией // РЯШ 1956 № 3 С 39
- 36 Шанский Н М Фразеология современного русского языка М, 1963 С 94
- 37 Архив князя Ф А Куракина Кн VI СПб, 1896 С 254
- 38 Архив князя Воронцова Кн 2 М 1871 С 227, Кн 24 М, 1880 С 83
- 39 Княжнин Я Б Сочинения Т I СПб, 1847 С 618
- 40 Крылов И А Проказники // Российский театр Ч 40 СПб, 1793 С 220
- 41 Гльзгардт Р Р Крылов-комедиограф // Вопросы филологии М, 1969 С 52
- 42 Квитка Основьяненко Г Ф Проза М, 1990 С 198–199
- 43 Писемский А Ф Собрание сочинений Т IV М, 1959 С 257
- 44 Пушкин А С Полное собрание сочинений Т XIII М, Л, 1949, С 175
- 45 Словарь русского языка Т II М, 1959 С 204 2-е изд М, 1982 С 154
- 46 Фразеологический словарь русского языка М, 1967 С 462
- 47 Чернышевский Н Г Что делать? Л, 1975 С 298
- 48 Словарь фразеологических синонимов русского языка М, 1987 С 291
- 49 Шанский Н М Зимин В И Филиппов А В Опыт этимологического словаря русской фразеологии М, 1987 С 141

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1995 г. Я.Г. ТЕСТЕЛЕЦ

И.Ш. КОЗИНСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

1970-х – 1990-х годов

Научные результаты, полученные И.Ш. Козинским (1947 – 1992), позволяют отнести его к числу наиболее выдающихся лингвистов-типологов последних десятилетий. Уже в конце 1970-х гг., когда он начал публиковать в виде докладов и статей результаты своей работы, многим было ясно, что – это лингвист исключительного масштаба. Однако в конце концов все решает время, и часто бывает необходимо увидеть, в каком направлении пойдет развитие данной области науки.

Известно, что с 1970-х гг. резко ускорилось развитие типологии, получившей мощный стимул от открытий в области теоретической лингвистики и беспрецедентного расширения эмпирической базы – появления полноценных соизмеримых описаний сотен языков, материал которых был ранее недоступен типологам. Достаточно напомнить, что тогда с первыми своими значительными работами по типологии выступили С. Андерсон, Т. Гивон, Р. Диксон, Э. Кинэн, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов, Б. Комри, были созданы типологически ориентированные теоретические модели: “реляционная грамматика” Д. Перлмуттера и П. Постала и “референциально-ролевая грамматика” Р. Ван Валина и У. Фоли; ленинградская типологическая школа в те годы создала или опубликовала свои наиболее значительные произведения. К этому же ряду относятся и исследования И.Ш. Козинского.

За недолгую жизнь ему удалось внести значительный вклад в разработку трех больших тем. Это, во-первых, неопубликованная до сих пор кандидатская диссертация “Некоторые грамматические универсалии в подсистемах выражения субъектно-объектных отношений” [1], законченная в 1979 г. и защищенная в 1980 г. на филологическом факультете МГУ. Во-вторых, большая статья “О категории “подлежащее” в русском языке”, опубликованная в виде препринта в 1983 г. [2], – по целям, методам и выводам исследования она в той же мере относится к типологии, как и к русистике. Обе эти работы, на мой взгляд, можно считать образцовыми в том, что касается последовательности и отточенности метода, – в них автору удалось довести до совершенства традиционную таксономическую типологию. Последняя, третья область исследования – работы по результативу и различным залоговым конструкциям [3–6], относящиеся к середине 1980-х гг.

1. Эмпирические универсалии: проблемы метода. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что диссертация Козинского [1] – классическое произведение в области лингвистики универсалий. В ней автору удалось гармонически соединить два, казалось бы, противоположных методологических принципа.

Первый принцип, восходящий к исследовательской практике Дж. Гринберга, сформулирован в диссертации следующим образом: “Основные категории и понятия общего языкознания, выработанные главным образом на материале индоевропейских языков (“фонема”, “слово”, “часть речи”, “член предложения”), достаточно адекватны для описания многих других языков мира [1, с. 10]”; “Отсутствие универсальных опре-

делений лингвистических признаков **отнодь** не означает, что эти определения вообще невозможно дать, а опыт **показывает**, что когда такие определения разработаны, то даваемые ими результаты **очень** хорошо согласуются с практикой обозначения некоторых явлений в разных языках одними и теми же терминами на интуитивной основе... В связи с этим некритическое использование данных грамматических описаний... можно считать вполне допустимым и, на практике, единственно возможным для большинства случаев [1, с. 31–32]”.

Перед нами – важнейшее исходное допущение любой работы, которая оперирует материалами большой выборки языков – настолько большой, что исследователь вынужден в значительной части опираться на чужие данные, которые он не в состоянии проверить. Отметим, что в 1970-е гг., вследствие бурного развития грамматической теории, основанный на таком допущении метод Дж. Гринберга утратил популярность и многим казался наивным и устаревшим. К тому времени была обнаружена неоднозначность традиционных грамматических понятий и неадекватность их по отношению ко многим языкам. Успех порождающей грамматики с ее разграничением “глубинной” и “поверхностной” структур и сложной нетрадиционной аргументацией подорвал доверие к данным таксономических (т.е. классификационных) описаний.

Однако с конца 1980-х годов ряд крупных успехов, достигнутых в рамках гринберговского подхода, показали его огромные перспективы, верно угаданные И.Ш. Козинским, а равно и возможность объяснения индуктивных универсалий с позиций современной грамматической теории. Я имею в виду прежде всего решение важнейшей задачи, поставленной еще самим Дж. Гринбергом – создание такого обобщения на множестве универсалий порядка слов, которое бы свело бы к минимуму количество типов и одновременно дало бы единое объяснение всем или почти всем известным “гармонирующим” корреляциям. После ряда попыток, предпринятых разными исследователями, эта задача получила наконец убедительное и ныне, можно сказать, общепризнанное решение в работах М. Драйера [7; 8] и Дж. Хокинса [9], причем Хокинсу удалось связать в единую теорию наблюдаемые факты универсалий, процессов грамматикализации и синхронных неграмматических предпочтений в области порядка слов. Можно упомянуть еще важное открытие, сделанное Дж. Николс [10] в рамках того же гринберговского подхода: разграничения языков с маркированием вершины (head-marking) и маркированием зависимого (dependent-marking), а также работу Дж. Байби [11], посвященную выявлению индуктивных универсалий в области морфологических категорий.

Второй принцип, восходящий к работам первых советских структуралистов в конце 1950-х гг., выглядит как несовместимый с предыдущим: традиционные грамматические понятия многозначны и нуждаются в уточнении, которое достигается с помощью формального моделирования: например, термину “слово” ставится в соответствие столько моделей его употребления, сколько разных значений у него целесообразно выделить. Так, в диссертации Козинского были разработаны универсальные формальные определения понятий подлежащего, различных дополнений, переходного и непереходного глаголов, действительного и страдательного залога; образцом здесь служило моделирование грамматических категорий, ранее осуществленное А.А. Зализняком, А.В. Гладким и И.И. Ревзиным (см. в особенности [12]).

Напомним, что целью грамматического моделирования является экспликация содержания традиционных терминов. При этом предполагается, что разные исследователи, работая с разным материалом, называют этими терминами одинаковые или сходные явления. Если даже исследователь русского языка и исследователь, скажем, языка кечуа не могут дать достаточно строгого определения, что такое “падеж”, они оба, опираясь на свою интуицию, обозначают этим термином одинаковые или сходные явления в обоих языках. Такая общая интуиция и создает основу для соизмеримости грамматических описаний. Она может быть раскрыта и формализована в универсальной модели данного грамматического понятия.

Приведем лишь один конкретный пример. Основываясь на презумпции доверия к

авторам описательных грамматик, И.Ш. Козинский устанавливает количественные распределения основных гринберговских типов порядка слов. Оказывается, что языков с порядком OSV (Дополнение–Подлежащее–Глагол) обнаруживается в выборке И.Ш. Козинского только 2 (в выборке Дж. Гринберга таких языков не нашлось вовсе). Это австралийский язык дирбал и, предположительно, хурритский язык (впоследствии обнаружилось некоторые другие возможные кандидаты; наиболее полный анализ проблемы OSV см. у М.С. Полинской [13, 14]). Затем, применяя предложенные им строгие универсальные определения подлежащего и пассива, И.Ш. Козинский показал, что в соответствии с этими определениями предложения с порядком слов OSV в дирбале и, скорее всего, в хурритском являются пассивными конструкциями, – следовательно, не свидетельствуют об основном порядке слов и не противоречат выявленной универсалии об отсутствии языков OSV.

Особое значение имеет разработка И.Ш. Козинским проблемы статистической верификации эмпирических универсалий. Интересно, что, в отличие, например, от антропологии или социологии в лингвистике универсалий даже простейшие статистические критерии долгое время не применялись, да и сейчас применяются крайне редко (единственное заметное исключение представляют работы Дж. Николс [10]).

И.Ш. Козинский показал, что традиционное деление универсалий на абсолютные и статистические [15; 16], или, как еще иногда говорят, универсалии и фреквенталии [17], является чистойшей иллюзией. До него считалось, что если в некоторой достаточно репрезентативной выборке исключений нет, то налицо большая вероятность того, что перед нами – абсолютная универсалия, т.е. эмпирическим путем найденное утверждение, верное для всех языков. Этому взгляду И.Ш. Козинский противопоставляет следующее простейшее рассуждение.

Возьмем достаточно представительную случайную выборку из 100 языков. Если некоторый лингвистический признак X обнаружен во всех языках этой выборки, мы можем предложить универсалию “Во всех языках есть X”. Вероятность того, что эта универсалия “абсолютна” в традиционном смысле слова, т.е. того, что не существует ни одного языка за пределами выборки, в котором нет явления X, будет ничтожно мала.

В самом деле, предположим, что размер генеральной совокупности, т.е. множества всех языков Земли составляет 5000 (выводы не изменятся, если мы примем объем этого множества за 1000, 2000 или 20 000). Допустим, что в генеральной совокупности имеется один язык, не обладающий признаком X, который, в силу определения “абсолютной” универсалии, делает ее неправильной. Вероятность того, что этот язык-исключение попадет в нашу выборку из 100 языков, равна $100/5000 = 0,02$, “то есть надежность нашей универсалии (в такой формулировке) равна всего 2%! Легко видеть, что получить мало-мальски приемлемую надежность в 90% для подобной универсалии можно только включением в выборку 90% всех языков – задача явно утопическая” [1, с. 15].

Итак, единственный вид эмпирических универсальных обобщений, реально доступный исследователю, который не имеет возможности просмотреть данные о всех языках Земли или хотя бы большей их части – статистические то есть имеющие форму: “в подавляющем большинстве, например, в 90% всех языков, есть X”.

И.Ш. Козинский предложил использовать для расчета достоверности корреляционных универсалий, т.е. утверждений о том, что некоторые два признака X и Y связаны друг с другом неслучайным образом, стандартную статистическую методику. Эта методика может применяться, если ожидаемые количества языков с некоторым сочетанием признаков не меньше 3, а объем выборки не меньше 20. Факт наличия неслучайной корреляции между любыми двумя признаками X и Y и ее надежность определялись им с помощью χ^2 -критерия; затем определялась логическая форма корреляции, т.е. зависит ли X от Y-а или Y от X-а или они оба взаимозависимы (подробности см. в статье [18]).

Козинский предложил блестящую в методическом отношении трактовку исключе-

ний к лингвистическим универсалиям. Важно не то, что исключений много или мало, а то, чтобы их количество не превышало расчетной величины, ограничивающей уровень значимости, т.е. надежность универсалии. Наибольший интерес для исследователя представляют систематические, или неслучайные, исключения, вызванные возмущающими факторами. Возмущающий фактор – это некоторый лингвистический признак F, наличие которого в языках может нарушать (хотя и не обязательно нарушает) некоторую универсалию U. При этом чем больше исключений, вызванных F, обнаруживается для универсалии U, тем легче обнаружить этот возмущающий фактор, “поэтому не должна казаться парадоксальной рекомендация, что коль скоро к некоторой универсалии обнаружены исключения, ее формулировку и определения соответствующих лингвистических признаков следует подбирать так, чтобы число исключений было по возможности большим (разумеется, если универсалия при этом сохраняет требуемую надежность). После этого достаточно проверить статистическую надежность корреляции вида $U \vee F$ [$\vee$ – знак инклюзивной дизъюнкции. – Я.Т.]. Если корреляция подтверждается, F и есть искомый возмущающий фактор” [1, с. 34].

Эффективность предложенного метода автор демонстрирует на следующем примере. В языках, имеющих субъектное и объектное спряжение, аффиксы согласования глагола с подлежащим и прямым дополнением могут предшествовать глагольному корню (схематически – п-Г, д-Г) или следовать за ним (Г-п, Г-д). Зададимся вопросом, связаны ли между собой два признака: наличие форм вида п-Г и наличие форм вида д-Г в словоизменительной глагольной парадигме. И.Ш. Козинский составил выборку из 120 языков, имеющих субъектно-объектное спряжение. Из них 68 языков обладают хотя бы одной формой вида д-Г и 79 языков – хотя бы одной формой вида п-Г. Расчет ожидаемых количеств языков в предположении независимости этих признаков показывает, что наиболее вероятное количество языков, обладающих одновременно формами д-Г и п-Г равно 45. В действительности в выборке оказалось 57 языков с формами д-Г и п-Г, т.е. на 12 больше ожидаемого количества. Достаточно ли этой разницы для того, чтобы отвергнуть гипотезу о независимости признаков и принять гипотезу о наличии корреляции между ними? Проверка с помощью χ^2 -критерия показывает, что здесь действительно с вероятностью 99% имеет место положительная корреляция между обоими признаками. Затем с помощью критерия Макнимара [19] устанавливается логическая форма корреляции – эквиваленция. Эту эквиваленцию удобно сформулировать в виде двух противоположно направленных импликаций, т.к. в таком случае в списке исключений к каждой из них будут языки с одним и тем же сочетанием признаков: Универсалия 87 и Универсалия 88 (см. ниже публикацию отрывка “Корреляция между порядком аффиксов глагольного спряжения и порядком слов в языках”). Обе универсалии статистически достоверны, несмотря на большое число исключений. Более того, исключения помогают выявить возмущающий фактор: для универсалии 87 это – основной порядок слов с глаголом в конце предложения, а для универсалии 88 – наоборот, тип основного порядка с начальным положением глагола. В результате становится возможным сформулировать и верифицировать аналогичным образом еще две универсалии – 89 и 90 (см. подробнее там же).

И.Ш. Козинский предложил также простые и эффективные методы верификации универсалий с целью исключения внешних факторов, обусловленных ареальной или генетической близостью языков. Обычно подобные “ареальные корреляции” обнаруживаются в неравномерных выборках, где представлено слишком много языков из некоторого ареала (аналогичная трудность в этнографии известна под названием “проблемы Гальтона”, см., например, [20]). “Если по крайней мере один из признаков не встречается за пределами небольшой географической зоны, то следует выделить... несколько более широкий ареал, в который входила бы данная зона... После этого из данного расширенного ареала (и только из него) отбирается новая выборка языков достаточного объема, чтобы туда вошли все или хотя бы большинство языков с изучаемыми “подозрительными” признаками, и на этой выборке производится новая статистическая проверка “подозрительной” корреляции. Если при этом корреляция

оказывается статистически значимой, она признается универсалией несмотря на свой ареальный характер” [1, 39]. Этот прием позволяет отбросить малоинтересные корреляции – например, о связи бедности фонологической системы с двойственным числом и сохранить ценные – например, о связи морфосиллабизма с фонологическими тонами.

Предложенный Козинским метод “борьбы” с ареальными возмущающими факторами представляет сейчас огромный интерес в связи с проблемой “больших ареалов”, обнаруженной М. Драйером [21]. Драйеру удалось доказать, что ряд значений важных типологических признаков неслучайным образом связан с ареалами, которые равны целым континентам (например, постпозиция всех видов определений в языках различных семей Африки; препозиция прилагательных в языках с конечным положением глагола – яркая черта Евразии и т.п.). Излишне говорить, какие дополнительные трудности создает этот фактор для верификации универсалий.

Драйер начинает с того, что делит все языки на генетические “группы” (genera), приблизительно равные по степени расхождения индоевропейским группам: славянской, германской и т.п.; из каждой такой группы он допускает в свою выборку не более одного языка. Затем он проверяет универсалию отдельно для каждого большого ареала, коих насчитывает пять (Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия и Австралия с Океанией), и лишь исходя из общей картины принимает окончательное решение. В отличие от Драйера, Р. Перкинс [22] предложил использовать не априорную стратификацию выборки, а обосновывать ее членение статистически, измеряя зависимость лингвистических переменных от генетических и ареальных. При этом для каждого исследуемого явления оптимальный размер выборки различен и варьирует от десятков до сотен языков. Группа голландских исследователей (Я. Рейхофф, Д. Баккер, К. Хенгевелд и П. Карель [23]) предлагают метод расчета степени расхождения (diversity value), с помощью которого можно определить, какое число генетически родственных языков может быть включено в выборку требуемой величины.

Задолго до появления этих работ Козинский показал ненужность таких громоздких и трудоемких процедур по составлению оптимальной расчлененной выборки – репрезентативной и в то же время содержащей только независимые элементы. Вместо этого он предложил учитывать ареальные и генетические отклонения в “обычных” нерасчлененных выборках. Его метод здесь явно выигрывает в гибкости и простоте: для верификации универсалии может оказаться достаточным двадцать любых наугад (т.е. из хорошо “перемешанного” множества) взятых языков, и столько же – для проверки любого ареала или семьи, где обнаруживаются какие-то специфические корреляции; в общем случае, нет необходимости проверять все семьи и ареалы.

Завершая раздел, посвященный вопросам метода, И.Ш. Козинский замечает, что попытки механически инкорпорировать индуктивные универсалии в теорию языка вызвано иллюзорным разделением их на “полные” и “неполные”, в то время как в действительности они все являются неполными, статистическими по своей природе, утверждениями, исходным материалом для теории, который не может заменить саму теорию.

В заключение отметим, что И.Ш. Козинский был, вероятно, последним крупным специалистом в области лингвистики универсалий, не имевшим доступа к компьютеру и проделавшим всю работу вручную.

2. Типология предикативной конструкции. В [1] И.Ш. Козинский принял за основу предложенную незадолго до того А.Е. Кибриком [24] классификацию “конструкций предложения”, т.е. стандартных способов выражения основных семантических и синтаксических функций актантов при различных типах глагола-сказуемого. А.Е. Кибрик установил, что такая классификация может быть задана с помощью исчисления, в основу которого положены семантические роли. И.Ш. Козинский реинтерпретировал ее в терминах разработанной им системы универсальных понятий, включающей различные виды подлежащих и дополнений (см. подробнее ниже). Затем он обратился

к проблеме распределения в одном и том же языке различных типологических характеристик, прежде всего, эргативности и аккумулятивности (= номинативности), которая как раз в те годы стала одной из наиболее широко обсуждаемых тем в синтаксической типологии [25–28]. То, что не все логически возможные сочетания признаков эргативности и аккумулятивности реально представлены в языках мира, было известно и раньше, однако универсальные ограничения на подобные сочетания были сформулированы лишь в конце 1970-х годов, причем та версия этих ограничений, которую предложил И.Ш. Козинский, до сих пор остается одной из самых полных и точных. Рассматривая кодирующие возможности различных формальных средств, он установил классификацию “тактических” конструкций, т.е. использующих порядок слов для различения актантов (к аналогичным результатам независимо пришел и Р. Диксон [27]).

И.Ш. Козинский обнаружил, что понятие падежа в его традиционной форме непродуктивно в лингвистике универсалий. Вместо этого он предложил понятие “синтаксической формы” – к одной и той же синтаксической форме относятся все сегменты, которые имеют одинаковый набор выполняемых ими синтаксических функций. Под “сегментами” имеются в виду существительные или местоимения, снабженные грамматическими или полуграмматическими показателями синтаксической функции. отождествление синтаксических форм осуществляется с помощью синтаксической матрицы, в которой помечается способность или неспособность данного сегмента выступать в синтаксических функциях, относящихся к некоторому фиксированному набору (в данном случае – подлежащего при переходных и непереходных глаголах, а также в страдательном залоге, и прямого дополнения)¹. В том же направлении двигалась и англоязычная типология, вводя, впрочем, не столь четко и последовательно, различие терминов *case* и *case marking* [30]. Так, типологически значим, например, тот факт, что в русском языке часть неодушевленных существительных не различает форм именительного и винительного падежей. В соответствии с общепринятым пониманием термина “падеж (*case*)” это две разные, хотя и омонимичные, падежные формы, но одна и та же “синтаксическая форма (*case marking*)”. Большинство универсалий, относящихся к падежам, апеллируют именно к понятию “синтаксической формы”, а не падежа в традиционном смысле².

И.Ш. Козинскому удалось независимо от М. Сильверстейна [33], и притом несравненно точнее, сформулировать основные импликационные универсалии, связывающие распределение эргативных и аккумулятивных синтаксических форм с лексическими и референциальными признаками имен [34]. “Для противопоставления СФ [синтаксической формы. – Я.Т.] аккумулятива/СФ номинатива местоимения 3-его лица ведут себя так же, как местоимения 1-ого и 2-ого лица, но не так, как существительные. По частоте наличия данного противопоставления можно составить следующий ряд (в порядке убывания): местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица, личные имена, существи-

¹ Синтаксические матрицы Козинского не представляют собой чего-то содержательно оригинального: это всего лишь удачная формализация наиболее важной из характеристик, на которых основываются традиционные определения конструкций предложения: эргативной, аккумулятивной и активной. Ср. с этим действительно оригинальную позицию И.А. Мельчука [29], предложившего другой набор характеристик, в результате чего эргативными оказываются и некоторые конструкции, традиционно не считавшиеся таковыми.

² Внимание на это обратил и И.А. Мельчук, указавший, что недопустимо смешивать понятия “падеж” и “падежная форма” [29, с. 79]; дело, однако, именно в том, что в типологии чаще бывает полезно применять второе понятие, а не первое. Рассматривая данные языка дирбал, И.А. Мельчук выделяет в нем не эргативную (по Р. Диксону) и не пассивную (по И.Ш. Козинскому и Дж. Джейк), а особую “патетивную” конструкцию, основываясь, в частности, на том, что пациенс в этой конструкции выражается падежом, отличным от падежа единственного актанта непереходного глагола (формальное различие между ними имеет место только у местоимений, имен собственных и некоторых терминов родства); ясно, что здесь имеется в виду падеж, а не “падежная форма” [31; 32]. “Патетив” И.А. Мельчука – ценное новшество, заимствованное и И.Ш. Козинским, который выделял “патетивную синтаксическую форму” (т.е. особую у подлежащего страдательного залога).

тельные, обозначающие людей, существительные, обозначающие животных, прочие существительные. Для противопоставления СФ эргатива/СФ номинатива четкое различие наблюдается только между местоимениями 1-го и 2-го лица, с одной стороны, и всеми прочими словами – с другой, причем местоимения 3-го лица включаются в последнюю категорию” [1, с. 148]. Интересно, что, пытаясь найти объяснение для этой группы универсалий, Козинский пошел по тому же – на мой взгляд, совершенно бесперспективному – пути, по которому пошли независимо от него сам М. Сильверстейн [33], а также Б. Комри, Р. Диксон [27] и А. Вежбицка [28] (их работы были частью неопубликованы и частью недоступны ему к моменту завершения диссертации, кроме статьи [35], которую он успел учесть). Как и перечисленные авторы, он исходил из представления о маркированности эргатива и аккузатива³; морфологическая маркированность может противоречить семантической немаркированности личных местоимений в типично тематической позиции подлежащего при переходном глаголе, и поэтому во многих языках личные местоимения не имеют СФ эргатива. Наоборот, семантическая маркированность личных местоимений в нетипичной для них роли прямого дополнения соответствует морфологической маркированности СФ аккузатива: поэтому-то личные местоимения часто обладают особой формой аккузатива даже в тех языках, где эта форма отсутствует у существительных.

Гипотеза соответствия семантической и формальной маркированности разбивается, однако, о тот факт, что за пределами этой группы категорий ничего подобного не происходит: неверно, что названия типичных инструментов бывают чаще немаркированы в инструментальном падеже; названия типичных ориентиров не проявляют тенденции быть немаркированными в синтаксических формах с локативной функцией; предельные глаголы не бывают чаще немаркированы в совершенном виде, чем непредельные; имена собственные не обнаруживают тенденции принимать нулевое окончание в вокативе и т.д. И.Ш. Козинский отметил, впрочем, что, вопреки ожидаемому в соответствии с предложенной гипотезой, одушевленные существительные совсем не проявляют тех же универсальных свойств, что и личные местоимения. Слабое место гипотезы Сильверстейна – Комри – Козинского было указано точно: через несколько лет Г. Мэллинсон и Б. Блейк [36], подсчитав частотность употребления лексических классов имен в функции агенса и пациенса, обнаружили, что единственное серьезное различие обнаруживается как раз между одушевленными и неодушевленными, а не между местоимениями и существительными, чем, по-видимому, окончательно “похоронили” эту гипотезу.

После сенсационной публикации Р. Диксоном в 1972 г. описания австралийского языка дирбал [37] интерпретация его синтаксического строя превратилась в особую проблему эргативистики, породившую большую литературу. Одна из гипотез, высказанных по поводу дирбала и заключающаяся в том, что это – язык с маркированной активной аккузативной конструкцией и необычно высокой употребительностью пассива, именуется в англоязычной литературе “гипотезой Джейк”, по имени Дж. Джейк, высказавшей ее в 1978 г. [38]. Однако она с не меньшим основанием может называться “гипотезой Козинского”, который выдвинул ее в своей диссертации независимо от Джейк и более тщательно аргументировал (опубликовано в [39])⁴.

3. Универсалии, связанные с порядком значимых элементов. С проблематикой по-

³ В отличие от них, он эту идею выдвинул не в качестве допущения, а попытался ее обосновать, выдвигнув и верифицировав две универсалии: первая гласит, что если у существительных имеется СФ аккузатива, то по крайней мере часть ее алломорфов – ненулевые (исключения – языки майту, сомали, юма); вторая – что если у существительных есть СФ эргатива, то по крайней мере часть ее алломорфов – ненулевые (исключений не обнаружено) [1, с. 151].

⁴ Вывод, к которому приходят Джейк и Козинский, а именно то, что дирбал по своему синтаксическому строю принципиально не отличается, например, от русского языка, сам по себе настолько парадоксален и противоречит интуиции, что может считаться аргументом против тех универсальных определений подлежащего и пассива, на которых он базируется. К сожалению, все “дирбалологические” дискуссии требуют довольно обстоятельных вводных разъяснений, на которые мне здесь просто не хватило бы места.

рядка элементов связаны наиболее значительные успехи "гринберговского" подхода в типологии, и здесь ряд заслуг принадлежит И.Ш. Козинскому. Ему удалось обосновать большое число универсалий, устанавливающих зависимости между различными последовательностями согласовательных аффиксов и глагольного корня (пример — универсалия 46: "Если в двухличной парадигме есть конструкция п-д-Г и д-Г-п, то в ней есть и конструкция п-Г-д" [1, с. 158]).

На выборке из 200 языков Козинскому удалось определить количественное распределение языков по основным типам словопорядка, не зависящее от генетических или ареальных факторов: 50% — языки SOV, 30% — языки SVO, 15% — VSO, 5% — VOS, вовсе не представлены — OSV и OVS. Он предположил, что в основном порядке не может нарушаться более одного из следующих трех принципов: 1) подлежащее предшествует прямому дополнению (выдвинут Дж. Гринбергом); 2) глагол-сказуемое и прямое дополнение располагаются контактно (этот же принцип был заново обоснован через 10 лет Р. Томлином [40]); 3) подлежащее и прямое дополнение располагаются контактно. Порядок принципов обуславливает количественное распределение языков по типам: в наиболее распространенном порядке не нарушается ни один из принципов, во втором по распространенности нарушается лишь третий, наименее значимый и т.д.

Количественное распределение типов основного порядка через несколько лет получило независимое подтверждение в работах Дж. Хокинса [41], М. Драйера [7], Дж. Николс, А. Северской [42] и других авторов, составивших свои репрезентативные выборки; интересно при этом, что некорректно составленная выборка Р. Томлина [40] обнаруживает другое распределение (см. критику Драйера [21]).

В заключение обратим внимание читателя на публикуемую ниже небольшую главу из [1], посвященную соотношениям между порядком слов и порядком частей словоформы, прежде всего корня и согласовательных аффиксов. В этой главе особо следует выделить открытые автором зависимости между начальным либо конечным положением глагола в предложении и порядком личных аффиксов и инкорпорированного имени, которые до сих пор ускользают от других исследователей, даже в лучших работах на эту тему [43–46], а также краткое методологическое введение.

4. Понятие подлежащего. И.Ш. Козинский резко противопоставил свою теорию подлежащего тем взглядам на эту категорию, которые были и остаются наиболее популярными в синтаксической типологии⁵. Подлежащее объявляется либо неопределяемым (primitive) универсальным синтаксическим понятием, либо рассматривается как многофакторная категория. В последнем случае "подлежащее" отождествляется с "грамматически привилегированным актантом", т.е. подлежащее — это такая именная группа, которая среди прочих именных групп обладает максимумом приоритетных свойств из некоторого универсального или специфического для данного языка набора (способность контролировать согласование с финитным глаголом, рефлексивизацию, кореферентное опущение, отпускать от себя кванторы, изменять форму при вставлении в матричное предложение и мн. др.) [47; 24]. Поскольку набор приоритетных свойств ("факторов") не полностью фиксирован, а варьирует от языка к языку и распределение этих свойств между различными актантами в каждом конкретном

⁵ В свою очередь, типологический подход к подлежащему явился реакцией на трактовку этой категории в порождающей грамматике. Как известно, в порождающей грамматике понятие подлежащего не имеет теоретического значения и полностью выводится из фразовой структуры: подлежащим называется та именная группа, над которой в дереве составляющих непосредственно доминирует узел предложения — S (в современных версиях этот узел называется "финитной группой" — IP). Поскольку именная группа подлежащего подчинена непосредственно самому высокому узлу в структуре предложения, она в силу этого обладает "структурным приоритетом" (с-command) над остальными именными группами. В последние годы утверждается также, что некоторые подлежащие в базовой структуре подчинены не непосредственно предложению (IP), а непосредственно глагольной группе (VP-internal subjects), однако и в составе глагольной группы подлежащим обычно называется та именная группа, которая обладает структурным приоритетом над всеми другими актантами глагола. В отличие от генеративистов, большинство типологов настаивает на том, что грамматические отношения, такие как подлежащее и дополнение, образуют особый уровень, промежуточный между конкретно-языковыми (формальными и функциональными) признаками актантов и их универсальными ролевыми характеристиками.

языке может быть самым причудливым и неожиданным, "подлежащность" (subjecthood) при многофакторном подходе рассматривается как многомерная шкала, а не как бинарный признак; во многих языках могут иметь место лишь "слабые" подлежащие, обладающие незначительным количеством приоритетных признаков, или же эта категория может вообще отсутствовать.

Многофакторный подход предполагает при этом, что в таких языках, как русский, где налицо явные приоритетные признаки типа контроля согласования, сочинительного сокращения и мн. др., подлежащее несомненно выделяется. В своей работе о русском подлежащем [2] И.Ш. Козинский задался целью показать, что многофакторный подход оказывается полностью беспомощным тогда, когда в расчет берутся не разрозненные факты и расплывчатые впечатления, а все релевантные признаки или хотя бы какая-то их существенная часть. Козинский стремится подвести читателя к неизбежному выводу: вряд ли найдется много языков, более "удобных" для многофакторного подхода к подлежащему, чем русский; следовательно, провал этого подхода по отношению к русскому материалу означает его полную неадекватность.

Козинский анализирует вначале свойства "прототипических" актантов: к таковым он причисляет подлежащее переходного глагола, непереходного глагола, глагола в страдательном залоге и прямое дополнение. "Эталонным" подлежащим является подлежащее непереходного глагола, которое соединяет в себе все приоритетные свойства по причине своей единственности: других актантов при подлежащем непереходного глагола либо вовсе нет, либо они столь низкого статуса, что на роль носителей приоритетных свойств никак не претендуют. Сравним свойства всех других "прототипических" актантов с эталонным подлежащим. Очевидно, что по признаку падежа (номинатив) и согласования с финитным глаголом все три типа подлежащих объединяются с эталонным подлежащим, но отличаются от прямого дополнения, которое оформляется аккузативом, и глагол с ним не согласуется. Однако согласование адъективных групп в творительном падеже по числу и роду уже дает другой результат: прилагательные, за исключением нескольких (*первый, последний, следующий...*), могут согласовываться со всеми прототипическими актантами, кроме подлежащего переходного глагола: *Они считали, называли, помнили и т.д. его талантливым (*талантливыми)*. Селекция актантов по категории числа при глаголах множественного действия, опять-таки, за исключением некоторых лексем с индивидуальными свойствами (*перепробовать*), не может контролироваться переходным подлежащим: *Гости перебили тарелки (*тарелку)*. Что касается контроля рефлексивизации, то устойчивее всего он со стороны переходного подлежащего, непереходное подлежащее может утрачивать его в пользу экспериментальной именной группы (*Эта рассеянность мне в себе не нравилась*), см. подробно об этом [48]. Еще слабее контроль со стороны подлежащего при страдательном залоге (*Этот дворец был построен султаном для своей/его наложницы //для себя/*него*). Контроль референции нулевого актанта деепричастия в деепричастном обороте обычно недопустим (по крайней мере, стилистически) со стороны пассивного подлежащего (*?Оказав сопротивление, преступник был убит*). Непереходное и пассивное подлежащие часто утрачивают контроль нулевого актанта инфинитивных оборотов – как с союзом *чтобы*, так и без него, подробный анализ см. в [49]. Синтаксическое сокращение в русском языке последовательно и строго аккузативно и контролируется тремя прототипическими подлежащими, но не прямым дополнением (*Мальчик ударил девочку и убежал/*убежала*). Переходное подлежащее, и только оно, не может трансформироваться в родительный при отрицании (**Его не придет ответ*) и в выражение: *по + именная группа* в дистрибутивном значении: (*?Каждую рукопись читает по редактору*).

Итак, поведение одинаково оформленных именительным падежом "прототипических" подлежащих оказывается неоднородным: разбиение признакового прост-

ранства не оправдывает принятое деление "прототипических" актантов на две группы – подлежащих и не-подлежащих. Скорее можно было бы считать оправданным разделение всех прототипических актантов на переходное подлежащее, с одной стороны, и все остальные, с другой.

Еще более сложной является признаковая характеристика не "прототипических" подлежащих (*А царица хохотать*), а также нулевых актантов; необходимость введения последних ясна из того, что без них правила контроля безнадежно запутываются: если не постулировать нулевое подлежащее, например, в причастном обороте *Я вижу девочку_i, рассматривающую себя в зеркале*, окажется, что рефлексив *себя* контролируется прямым дополнением *девочку_i*⁶. Для каждого непрототипического актанта отмечается, совпадает либо не совпадает его поведение с соответствующим прототипическим. Так, из общей суммы из 11 релевантных свойств именная группа в дативе в предложениях типа *Не догнать тебе бешеной тройки* разделяет с прототипическим подлежащим *Ты не догонишь бешеную тройку* 6 признаков полностью и один частично; родительный при отрицании (*Ответа не пришло*) имеет 4 релевантных признака; экспериенцер (*Мне холодно, жаль, видно, хочется...*) имеет всего лишь 3 прототипических свойства.

Козинский считает, что на фоне этого хаоса, создаваемого в результате последовательного применения многофакторного подхода, более привлекателен предложенный им ранее в диссертации метод работы с категориями, имеющими как понятийную, так и формальную сторону (см. публикуемый ниже отрывок "Опыт универсального определения..."). Решающим фактором для объединения именных групп в номинативе, выступающих при переходных и непереходных глаголах в действительном и страдательном залогах, является не сходство их грамматических свойств вообще, а только тех из этих свойств, которые обнаруживают высокую статистическую корреляцию с их основным прагматико-коммуникативным свойством "быть темой в наиболее частотных и системно значимых типах предложений данного языка существенно чаще, чем любой другой актант". Это свойство лежит в основе универсального операционного определения подлежащего, на подробностях которого мы здесь не можем останавливаться. В соответствии с этим определением признаки именительного падежа, согласования с финитным глаголом и контроля сочинительного сокращения действительно оказываются в русском языке свойственными подлежащему. Многофакторный подход в русском языке выделяет не подлежащее, а сущность, которую можно назвать "грамматически привилегированным актантом": например, в предложении *Не догнать тебе бешеную тройку* таким актантом является *тройку* (имеет 5 приоритетных свойств против 3 у *тебе*). Актант, который в некотором типе предложений является типичной темой, Козинский предложил называть "субъектом", – в соответствии с реальной практикой терминологического употребления этого слова в грамматической литературе на русском языке. Например, в предложении *Мне холодно мне* – субъект, но не подлежащее и не грамматически привилегированный актант.

Первое впечатление, которое производит работа Козинского о русском подлежащем – полный разгром многофакторного подхода и неадекватность наиболее популярных в типологии взглядов на природу синтаксических отношений. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что многофакторный подход не столь уж безнадежен: из 11 учитываемых признаков грамматического приоритета примерно

⁶ "Нулевой актант" у И.Ш. Козинского – строго таксономическое понятие, восходящее к И.А. Мельчуку [50] и отличается поэтому от "фонологически пустых категорий" в порождающей грамматике, которые могут выступать как результаты применения правил преобразования синтаксической структуры. Несмотря на то, что Козинский считал абсурдными описательные трактовки в порождающей грамматике, выводившие все многообразие синтаксических свойств актантов из их лексических либо структурных характеристик, аргументация в пользу существования скрытых категорий у него и в порождающей грамматике во многом совпадает.

половина является универсальными или, по крайней мере, приложимыми к большому числу языков (падеж, согласование, рефлексивизация, сочинительное сокращение, контроль инфинитива, номинализация), а другая половина, такие, как согласование адъективных групп в творительном падеже, трансформируемость в дистрибутивную форму, в родительный при отрицании и т.п. специфичны для русского языка (часто – и для других славянских). Если принять в расчет лишь характеристики, принадлежащие к универсальной грамматике, многофакторный подход в русском языке дает вполне удовлетворительный результат, т.е. выделяет примерно то же, что и традиционные определения подлежащего. Наоборот, углубляясь в специфические приоритетные характеристики русского языка, мы обнаруживаем, что они действительно не сгруппированы вокруг какой-либо приоритетной категории. Современные работы по русскому подлежащему, выполненные в русле порождающей грамматики, показывают, что Козинский неудачно отождествил в одной "эталонной" категории непереходного подлежащего актанты глаголов действия и глаголов состояния⁷. Развивая применительно к русскому языку популярную в современном генеративизме и заимствованную из реляционной грамматики идею *unaccusative subjects* (т.е. таких подлежащих некоторых – в основном, пациентных, – непереходных глаголов, которые в базовой структуре занимают ту же позицию, что и прямое дополнение) [51; 52], Д. Песецкий [53] показал, что только они, но не все подлежащие при непереходных глаголах, разделяют часть свойств прямых дополнений, – например, могут быть выражены родительным при отрицании: ср. *Студентов не прибавилось*, но: **Студентов не играло*, или группой с предлогом *по* в дистрибутивном значении: *На каждом столе стояло по бутылке*, ср.: **На каждой дорожке бежало по бегуну*.

Несмотря на эти недостатки, статья о русском подлежащем должна была сыграть ключевую роль в дискуссиях о природе синтаксических отношений (но, разумеется, не сыграла ввиду труднодоступности публикации и языкового барьера; впрочем, в 1983 г., при тогдашней ситуации в лингвистике, считалось удачей опубликовать ее даже в виде препринта). Эксплицитность метода, образцовая полнота в сборе фактов и концептуальная ясность, свойственная этой работе, могли бы задать необходимый уровень для дальнейшей дискуссии. Читая только что опубликованную статью такого авторитета, как У. Фоли [54], посвященную проблеме синтаксических отношений в папуасском языке йимас, трудно подавить в себе чувство горечи. Отмечая, что йимас не предоставляет ясных и единых критериев для выделения грамматических отношений (т.е. подлежащего и дополнений) в рамках какой-либо из существующих теорий, Фоли видит в этом "предостережение от слишком поспешных заключений о синтаксической организации языка исходя из поведения определенных конструкций. Это поведение может попросту отражать семантику конкретных конструкций и не содержать данных для определения основной синтаксической ориентации языка" [54, с. 170–171]. Фоли вряд ли подозревает, что в слепом ротапринте 1983 г., вышедшем крошечным тиражом на русском языке и нигде не переизданном, убедительно показано, что сколько угодно примеров подобного "поведения" можно обнаружить и ближе Новой Гвинеи...

5. Залоговые и результативные конструкции. После выхода в свет одной из наиболее значительных работ ленинградской школы, посвященной типологии результативов [55], И.Ш. Козинский заинтересовался рядом нерешенных и даже загадочных вопросов, которые не смогла охватить глубокая и тонкая теория результативов В.П. Недякова и С.Е. Яхонтова. Сформулировав ряд интересующих его проблем в рецензии на эту монографию [56], он затем принял участие в ее расширенном издании на английском языке [57]. Раздел, написанный Козинским – замечательный пример объяснительной типологии, особенно выигрывающий на фоне преимущественно описательной установки, характерной для ленинградской типологической школы (да и отечественной лингвистики в целом). И.Ш. Козинский последовательно выделяет

⁷ На этот факт мое внимание обратила Н.Ю. Кондрашова.

четырнадцать проблем, возникающих тогда, когда теория неверно предсказывает языковые факты, связанные с результатами, и предлагает свои объяснения для некоторых из этих проблем.

Результативом, по Недялкову и Яхонтову, является грамматическая категория со значением состояния, образованная регулярным способом от глаголов со значением действия, способного приводить к такому состоянию. Козинский смог придать определениям В.П. Недялкова и С.Е. Яхонтова более отчетливую форму, выделив в них два логически независимых признака: 1) стательность, т.е. семантическая характеристика, которая обнаруживается, например, в способности сочетаться со стательными наречиями типа *все еще* и 2) наличие тривиального результата, т.е. такого, который выводится из лексического значения глагола. Оба признака отличают результатив от перфекта: перфект не сочетается со стательными обстоятельствами и допускает наличие любого, а не только тривиального, результата. Благодаря такому уточнению Козинскому удалось объяснить факт более частого совпадения результата по форме с производным стативом, а не с перфектом. Желая показать независимость этих двух признаков, он приводит интересный, хотя и не бесспорный материал; кроме того, он предложил иерархию образования результативов, связав в единую цепь ограничения на глаголы, от которых результатив может образовываться. Заслуживает упоминания также открытие им "вдвойне предельных" глаголов, т.е. таких, результативная форма от которых обозначает одновременно состояние субъекта и состояние объекта, и анализ имперфективных результативов типа *Туман обволакивает город* (о взглядах Козинского на результатив см. также в [58]).

Универсальные определения залогов, предложенные Козинским, интересны тем, что они не парадигматичны, т.е. в отличие от большинства других определений, апеллируют не к парам предложений типа "актив/пассив", а определяют пассив и другие залоговые конструкции независимо от их парадигматических коррелятов. Так, все типы моделей управления, где пациенс совпадает с темой не реже, чем агенс, и при этом чаще, чем любой другой актанта, относятся к группе моделей управления страдательного залога [1, с. 73]. При наличии дополнительных значений, выражаемых только страдательным залогом (как это имеет место в салишских или полинезийских языках), для правильной идентификации необходимо выяснить, сохраняет ли эта конструкция основную функцию этого залога, а именно особый вид корреляции актантов с категориями актуального членения. Сравнивая формы подлежащего в страдательном залоге, агентивного дополнения и подлежащего при непереходном глаголе, И.Ш. Козинский установил основные структурные типы пассива и выдвинул ряд связанных с ними универсалий. В [39] ему удалось показать эффективность своего подхода к залогам при исследовании диахронических процессов.

Распределение залоговых конструкций по статистическим корреляциям входящих в них именных групп с коммуникативными статусами получило дальнейшее развитие (разумеется, и в этом случае независимо от И.Ш. Козинского) в работах Т. Гивона и его школы [59], причем критерии, введенные Гивоном для выяснения коммуникативных свойств входящих в залоговые конструкции актантов, во многом параллельны тем критериям, которые были предложены в [1] и [39].

В этой статье удалось отразить лишь часть того богатства идей, которое обнаруживается в опубликованных и неопубликованных работах И.Ш. Козинского и которыми он делился в личном общении. За рамками нашего рассмотрения остались его взгляды на морфологическую типологию, на типологию частей речи и семантические основания частеречной классификации (краткое изложение его точки зрения см. в [60]), неопубликованная работа о понятиях согласования, управления и примыкания, состав нулевых категорий в русском синтаксисе [2], типологическая верификация реконструкций и многое другое. Некоторые универсалии, обоснованные Козинским в [1], затрагивали весьма интересные проблемы, которые, насколько я знаю, больше никем нигде не поднимались, но ждут дальнейшего исследования: связь

основных надежных форм с функцией оstenсивного определения (изолированного на- зывания предмета; впрочем, эта проблема впоследствии заинтересовала И.А. Мельчу- ка [29]); выражение обстоятельств времени и места синтаксической формой аккуза- тива; связь между характером согласовательной парадигмы в глаголе и выбором контролера согласования и др.

* * *

Вероятно, в заключение необходимо вкратце сказать о том, почему имя И.Ш. Ко- зинского остается донныне неизвестным большинству типологов в нашей стране и за рубежом, а его главная работа [1] до сих пор не опубликована.

В 1970–80-х гг. типология считалась у нас весьма популярной и престижной областью языкознания. При этом методическое и тематическое разнообразие того, что называлось "типологией", было весьма велико. Такое разнообразие можно было бы только приветствовать, если бы оно не осложнялось тем, что разные авторы обладали неодинаковыми представлениями о современном научном уровне. Доста- точно упомянуть, например, что тезисы Козинского не были приняты на типоло- гическую секцию III Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языко- знания "Типы языковых общностей и методы их изучения" в 1984 г. По мнению рецензентов, тезисы были посвящены "конкретным явлениям" и не годились для теоретического форума. Как с горькой иронией говорил сам Козинский: "Большой ученый – это такой, который может обойтись без доски и мела; к сожалению, я – небольшой ученый".

Другая, более серьезная и содержательная, трудность заключалась в том, что подход Козинского был в силу разных причин чуждым для ряда авторитетных специалистов. Как раз в те годы некоторые ведущие типологи усомнились в адек- ватности аналитического и классификационного подхода и отказались от требования, согласно которому все используемые понятия должны обладать суммой необходимых и достаточных свойств [61; 62]. Эта методологическая проблема заслуживает, конечно, отдельного разговора. Еще меньше точек соприкосновения было у И.Ш. Козинского с исследователями, которые стремились развивать направление, основанное И.И. Ме- щаниновым, – для него, как и для других лингвистов, продолжавших (в конечном счете) традиции русской формальной школы⁸, были неприемлемы идеи, цели и методы мешаниновской "парадигмы" [63]. Тем не менее, хорошее взаимопонимание сложилось у И.Ш. Козинского с лингвистами-типологами, работавшими в Институте востоковедения, а в последние годы он активно сотрудничал с ленинградской типологической школой, основанной А.А. Холодовичем, аксиоматика и методологические принципы которой были ему близки. Его последние работы по антипассиву и проблеме "удвоения" синтаксических ролей созданы в соавторстве с М.С. Полинской, во многом благодаря ей доведены до конца и опубликованы [4–6].

Судьба И.Ш. Козинского показывает, к сожалению, сколь несправедливо большое значение для ученого имеет способность привлечь внимание к своим идеям и к своей личности. Особенное значение это качество приобретает в той ситуации, когда при наборе научных сотрудников руководствуются соображениями, не имеющими отношения к науке. В результате за двадцать лет научной деятельности, будучи в своей области одним из ведущих специалистов в мире, он не проработал ни дня в лингвистическом научном учреждении, обладая безупречной манерой чтения лекций – прочитал в течение жизни единственный небольшой курс по типологии для студентов (неофициально, бесплатно и вне вузовских стен), а вопрос о включении его работ в издательские планы, насколько известно, никогда всерьез не ставился. Мне кажется гениальным, что сам он всегда с каким-то ужасом относился к необходимости искать

⁸ Совершенно очевидно, что взгляды И.Ш. Козинского на грамматику сформировались под влиянием одного из ответвлений этой традиции, представленного именами Н.Н. Дурново и А.А. Зализняка.

поддержки со стороны людей, которым были в лучшем случае безразличны и он сам, и его работа. Он чувствовал себя уверенно лишь среди друзей и коллег, которые знали ему цену и любили его, и необходимость выйти за пределы этого круга всякий раз была для него мучительна.

Представление его диссертации во время защиты было неудачным, и даже сочувственно настроенная часть аудитории не смогла достаточно ясно понять, в чем содержание работы. Оказавшись в центре не слишком доброжелательного внимания со стороны людей, которым казалась дикой сама идея исследования на материале 300 языков, он явно изнемогал, вяло отвечал на критические замечания и выглядел растерянным и подавленным; создавалось впечатление, что он хотел лишь скорейшего окончания этого заседания – с каким угодно результатом. Хотя исход голосования оказался положительным, ему до конца жизни так и не удалось найти для себя официально признанного места в академической среде. Трудно сомневаться в том, что эта профессиональная неустроенность, наряду с трагическими семейными обстоятельствами, подорвала его здоровье и способствовала ранней кончине.

Все это, конечно, лишь мои предположения и впечатления, однако бесспорным является то, что работа выдающегося ученого осталась незамеченной и вовремя не оцененной большинством его коллег. Настоящая публикация – попытка, пусть и запоздалая, в какой-то степени отдать этот долг⁹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козинский И.Ш. Некоторые грамматические универсалии в подсистемах выражения субъектно-объектных отношений. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1979.
2. Козинский И.Ш. О категории "подлежащее" в русском языке // Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 156. М., 1983.
3. Kozinsky I.Sh. Resultatives: results and discussion // Typology of resultative constructions / Ed. by Nedjalkov V.P. Amsterdam, 1988.
4. Kozinsky I.Sh., Nedjalkov V.P., Polinskaja M.S. Antipassive in Chukchee: oblique object, object incorporation, zero object // Passive and voice / Ed. by Shibatani M. Amsterdam, 1988.
5. Polinsky M., Kozinsky I. Ditransitive constructions in Kinyarwanda: coding conflict or syntactic doubling? // Papers from the 28-th Regional meeting of the Chicago linguistic society. Chicago, 1992.
6. Kozinsky I., Polinsky M. Causee and patient in the causative of transitive: coding conflict or doubling of grammatical relations? // Causatives and transitivity / Ed. by Comrie B., Polinsky M. Amsterdam, 1993.
7. Dryer M.S. Object-verb order and adjective-noun order: dispelling a myth // Lingua. 1988. V. 74. № 1.
8. Dryer M.S. Greenbergian word order correlations // Language, 1992. V. 68. № 1.
9. Hawkins J.C. A parsing theory of word order universals // Linguistic Inquiry. 1990. V. 21. № 2.
10. Nichols J. Head-marking and dependent-marking grammar // Language. 1986. V. 62. № 1.
11. Bybee J. Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
12. Проблемы грамматического моделирования / Под ред. Зализняка А.А. М., 1973.
13. Полинская М.С. Порядок слов "объект – субъект – глагол" // ВЯ, 1989. № 2.
14. Polinsky M.S. Object-initiality: OSV // Linguistics, 1989. V. 27. № 2.
15. Гринберг Дж., Озгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970.
16. Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965. С. 12, 179.
17. Серебренников Б.А. О лингвистических универсалиях // ВЯ. 1972. № 2.
18. Козинский И.Ш. К вопросу об исключениях из лингвистических универсалий // Лингвистическая типология / Под. ред. Солнцева В.М., Вардуля И.Ф. М., 1985.
19. Закс Л. Статистическое оценивание. М., 1976. С. 338–341, 443–444.
20. Naroll R. Galton's problem // A handbook of method in cultural anthropology / Ed. by Naroll R., Cohen R. N.-Y., 1973.
21. Dryer M.S. Large linguistic areas and language sampling // Studies in language, 1989. V. 13. № 2.
22. Perkins R.D. Statistical techniques for determining language sample size // Studies in language. 1989. V. 13. № 2.
23. Rijkhoff J., Bakker D., Hengeveld K., Kahrel P. A method of language sampling // Studies in language. 1993. V. 17. № 1.

⁹ Я признателен В.П. Недялкову, М.С. Полинской и В.А. Плунгяну за весьма ценные замечания, которые по мере возможности учтены; все неточности и ошибки принадлежат исключительно автору.

24. Кибрик А.Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
25. Dahlstrom A. Agent-patient languages and split case marking systems // Berkeley linguistic society. 9-th annual meeting. 1983.
26. DeLancey S. An interpretation of split ergativity and related patterns // Language. 1981. V. 57. № 3.
27. Dixon R.M.W. Ergativity // Language. 1979. V. 55. № 1.
28. Wierzbicka A. Case marking and human nature // Australian journal of linguistics. 1981. V. 1. № 1.
29. Мельчук И.А. Еще раз к вопросу об эргативной конструкции // ВЯ. 1991. № 4.
30. Blake B.J. Case marking in Australian languages. Canberra, 1979.
31. Mel'čuk I.A. Studies in dependency syntax. Ann Arbor. 1979. P. 33–46.
32. Mel'čuk I.A. Dependency syntax: theory and practice. Albany. 1988. Chapter 4.
33. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages / Ed. by Dixon R.M.W. Canberra, 1976.
34. Козинский И.Ш. Некоторые универсальные особенности систем склонения личных местоимений // Теория и типология местоимений / Под ред. Вардуля И.Ф. М., 1980.
35. Comrie B. Ergativity // Syntactic typology / Ed. by Lehmann W.P. Austin; London, 1978.
36. Mallinson G., Blake B.J. Language typology. Cross-linguistic studies in syntax. Amsterdam, 1981.
37. Dixon R.M.W. The Dyirbal language of North Queensland. Cambridge. 1972.
38. Jake J. Why Dyirbal isn't ergative at all // Chicago linguistic society. 14-th regional meeting. 1978.
39. Козинский И.Ш., Соколовская Н.К. О соотношении актуального и синтаксического членения в синхронии и диахронии // Восточное языкознание: грамматическое и актуальное членение предложения / Под ред. Солнцева В.М. М., 1984.
40. Tomlin R. Basic word order: functional principles. L., 1986.
41. Hawkins J.A. Word order universals. N.-Y., 1983.
42. Siewierska A., Bakker D. The distribution of subject and object agreement and word order type//EUROTYP working papers. Theme group 2: Constituent Order. Working paper 6. Strasbourg, 1994.
43. Hawkins J.A., Gilligan G. Prefixing and suffixing universals in relation to basic word order // Papers in universal grammar: generative and typological approaches. Lingua special issue. 1988. V. 74. № 2/3.
44. Mithun M. The evolution of noun incorporation // Language. 1984. V. 60. № 4.
45. Bybee J.L., Pagliuca W., Perkins R.D. On the asymmetries in the affixation of grammatical material // Studies in typology and diachrony. Papers presented to Joseph H. Greenberg on his 75-th birthday / Ed. by Croft W., Denning K., Kemmer S. Amsterdam/Philadelphia. 1990.
46. Cutler A., Hawkins J.A., Gilligan G. The suffixing preference: a processing explanation // Linguistics, 1985. V. 23. № 5.
47. Keenan E.L. Towards a universal definition of "subject" // Subject and topic / Ed. by Li Ch. N.-Y. 1976 (русс. пер. в: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982).
48. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. Гл. 9.
49. Козинский И.Ш. Кореферентные связи инфинитивных оборотов в русском языке // Типология конструкций с предикатными актантами / Под ред. Храковского В.С. Л., 1985.
50. Мельчук И.А. О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций. Диатезы и залог / Под ред. Холодовича А.А. Л. 1974.
51. Rosen C. The interface between semantic roles and initial grammatical relations // Studies in relational grammar / Ed. by Perlmutter D., Rosen C. V. 1. Chicago, 1984.
52. Burzio L. Italian syntax: a government binding approach. Dordrecht, 1986.
53. Pesetsky D. Paths and categories. Ph. D. dissertation. Cambridge (Mass.). 1982.
54. Foley W. The conceptual basis of grammatical relations // The role of theory in language description / Ed. by Foley W. Berlin – N.-Y., 1993.
55. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / Под ред. Недялко-ва В.П. Л., 1983.
56. Козинский И.Ш. – ВЯ, 1985, № 5 – Рец.: Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
57. Typology of resultative constructions / Ed. by Nedjalkov V.P. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
58. Тестелец Я.Г. – ВЯ, 1991, № 4 – Рец.: Typology of resultative constructions. Amsterdam; Philadelphia. 1988.
59. Topic continuity in discourse / Ed. by Givón T. Amsterdam, 1983.
60. Тестелец Я.Г. Наблюдения над семантикой оппозиций "имя/глагол" и "существительное/прилагательное" // Части речи. Теория и типология / Под ред. Алпатов В.М. М., 1990.
61. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
62. Givón T. The pragmatics of word order: predictability, importance and attention // Studies in syntactic typology / Ed. by Hammond M., Moravcsik E., Wirth J. Amsterdam, 1988.
63. Климов Г.А. Типологические исследования в СССР. 20–40-е годы. М., 1981.

© 1995 г. В.П. НЕДЯЛКОВ, В.М. АЛПАТОВ

ИСААК ШАЕВИЧ КОЗИНСКИЙ

Судьба этого человека сложилась очень несчастливо. Он прожил всего сорок пять лет и умер от тяжелой, мучительной болезни, значительную часть жизни не имел своего дома, кончил свои дни в чужой стране, где ему также не везло. Неудачной оказалась и его научная судьба: он ни одного дня не работал ни в исследовательском институте, ни в вузе, не смог издать при жизни ни одной книги, до сих пор его идеи не получили должной известности. Человеку уже нельзя помочь, но можно хотя бы должным образом оценить, кого мы потеряли. О полученных И.Ш. Козинским научных результатах говорится в статье Я.Г. Тестельца, мы же хотим сказать несколько слов о нем как о человеке.

Исаак Шаевич Козинский родился в 1947 г. в Черновцах. В 1965 г. он поступил на романо-германское отделение филологического факультета МГУ по специальности "испанский язык и литература" и окончил его в 1971 г. Преподаватели романо-германского отделения не оказали на него сильного влияния. В то же время со студенческих лет он был связан с кафедрой и отделением структурной и прикладной лингвистики того же факультета, бывшими тогда центром передовых методов языкознания. На отделении обычно с предубеждением относились к "чужим" студентам, но Козинского приняли сразу, всем было ясно, что они имеют дело с перспективным лингвистом. На отделении структурной и прикладной лингвистики на одном курсе с ним училась и Наталья Соколовская, ставшая еще в студенческие годы его женой.

После окончания университета устроиться на работу долго не удавалось. Ситуация осложнялась тем, что ни И.Ш. Козинский, ни его жена не были москвичами. С огромным трудом удалось прописаться в Орехово-Зуеве, что давало возможность работать в Москве, но жить там было слишком неудобно. И много лет И.Ш. Козинский с женой вынуждены были скитаться по временно снимаемым квартирам. Н.К. Соколовской удалось поступить в аспирантуру академического Института востоковедения, но Исаак Шаевич смог устроиться лишь переводчиком в Московское отделение НИИ виноделия "Магарач". Одной из причин были имя, отчество и соответствующая им внешность. Но многим, гораздо менее талантливым лингвистам с тем же "недостатком" удавалось преодолевать это препятствие. А Козинский совершенно не умел устраиваться, добиваться выгод. Его больше интересовал сам процесс научного творчества, чем его результат.

Работа в "Магараче" имела одно преимущество: она оставляла много свободного времени и позволяла заниматься наукой. Быстро выполнив необходимую "барщину", Исаак Шаевич основную часть рабочего времени штудировал выписываемые на адрес института якобы для производственных целей грамматики различных языков, в основном иностранные. Именно в первые годы такой работы он окончательно сформировался как ученый. У него не было учителей в науке, он сам сделал из себя лингвиста через общение не столько с людьми, сколько с книгами. Если другие языковеды его поколения так или иначе примыкали к какой-либо из школ советской науки о языке или же отталкивались от них, то он во многом непосредственно испытывал влияние западных, в первую очередь американских исследований. И.Ш. Козинский великолепно знал несколько европейских языков, а по-английски писал, как

носитель этого языка. Его работы выглядели весьма "вестернизированными". И в то же время И.Ш. Козинский высоко ценил достижения отечественного языкознания и не раз отмечал в зарубежных работах, претендующих на новизну, те моменты, которые уже давно содержались в наших работах; сокрушался, что большинство западных лингвистов не читают по-русски. В письме к В.П. Недялкову он писал: "Это явно говорит о том, что нужно читать по-русски, а не то будешь открывать Индию вместо Америки".

Главным для И.Ш. Козинского было стремление доискаться до истины, разобраться в проблеме независимо от того, будет ли результат опубликован или нет. Именно поэтому у него было не так много публикаций. Он был прекрасным полемистом, быстро улавливал слабые места читаемой работы, но не просто критиковал, а предлагал свои решения той же проблемы. Мало кто умел так, как он, находить необычные, нестандартные решения. Он мог полемизировать месяцами, посылая по почте страницы и страницы текста, аргументируя свою точку зрения. В полемическом задоре его, как и всякого самостоятельно мыслящего ученого, нередко заносило в сторону, но в отличие от некоторых его коллег он обычно не упорствовал и не старался выйти победителем из спора любой ценой. Вот характерный отрывок еще из одного его письма: "Если уж кому пора на пенсию, так это мне, а не Вам. Перечитав цитаты из своих замечаний в Вашем письме, я понял, что выразился невнятно и непонятно и эту свою ошибку постараюсь исправить".

И.Ш. Козинский был, мягко говоря, очень некрасив и его внешний вид поначалу отпугивал собеседников (что, безусловно, сказывалось на отношении к нему тех, кто знал его очень мало). Но после первых же фраз разговора с ним понимали, что не очень привлекательная внешность сочеталась с обаянием, мягкостью, подкупающей манерой беседы. И те, кто знал его достаточно хорошо, причем люди разных взглядов и вкусов, относились к нему с большой симпатией.

К своим трудностям И.Ш. Козинский относился с юмором и долго не терял бодрости духа. Очень ему помогала поддержка жены, с которой ему очень повезло. Н.К. Соколовская сама была талантливым лингвистом, ряд работ выполнен ими совместно. Обладая более сильным характером, жена поддерживала его в трудные минуты.

Постепенно И.Ш. Козинский начал получать известность как лингвист. Он регулярно выступал на научных конференциях и дискуссиях, наиболее часто в Институте востоковедения АН СССР, где работала его жена и где ему постоянно помогал заведовавший тогда Отделом языков И.Ф. Вардуль. У него установились хорошие деловые отношения с ленинградской типологической школой, приглашавшей его для участия в коллективных работах. Ему удалось оформить соискательство на филологическом факультете МГУ и в октябре 1980 г. он защитил там кандидатскую диссертацию. Но попытки перейти из "Магарача" на научную работу по-прежнему оказывались неудачными. В 1983 г. для него и жены кончилась бездомная жизнь: после сложных обменов они получили малюсенькую квартиру возле платформы Тайнинская, у самой границы Москвы. Стал налаживаться быт. А Козинский любил заниматься домашними делами, был хорошим кулинаром. Все им приготовленное было вкусно от блинчиков до жареной курятины. Лучше всего ему удавался черный кофе, который он и его жена поглощали в большом количестве. В их квартире была очень уютная атмосфера, они любили принимать гостей и очень им радовались.

И все рухнуло в один день. Н.К. Соколовская внезапно умерла на операционном столе от неожиданной случайности в апреле 1985 г. Козинский оказался один (детей у него не было). После этого он сломался и долго не мог работать. Ощущение выбитости из колеи в сочетании с желаниями его родственников привело его к решению эмигрировать. Произошло это как раз тогда, когда (в конце 1988 г.) впервые появилась реальная возможность устроиться в Институт востоковедения. В августе 1989 г. И.Ш. Козинский уехал в США. Решившись на этот шаг, он проявил свойственную ему деликатность. В одном из последних писем перед отъездом он просил убрать его фамилию из готовящегося сборника с тем, чтобы не повредить его

подготовке, но позволить "продолжать участвовать в этом деле анонимно в той мере, в которой это возможно и/или желательно".

За океаном И.Ш. Козинскому тоже не везло. Ни в один американский университет он не смог устроиться. Рассказывают, что судьба и там зло над ним посмеялась: один раз он не получил в университете места по той причине, что место предназначалось для негра, а в другой раз – из-за того, что место выделялось для женщины. Опять пришлось устраиваться на работу, сходную с той, что была в СССР. И.Ш. Козинский смог лишь опубликовать несколько серьезных работ (в том числе совместно с М.С. Полинской), но в США ему было суждено прожить лишь три года. Он умер от рака в Нью-Йорке 2 ноября 1992 г.

В данной публикации мы надеемся привлечь внимание лингвистов к научному наследию И.Ш. Козинского и опубликовать хотя бы представительные фрагменты из него. Следовало бы издать сборник его работ и перевести их на западные языки, но в нынешней ситуации, когда ни на что нет денег, очень трудно на это надеяться.

© 1995 г. И.Ш. КОЗИНСКИЙ

ТРИ ЗАМЕТКИ ПО ТИПОЛОГИИ*

(ПАРАМЕТРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ)**

1. Флективный/агглютинативный.

1.1. Наличие явлений **фузии** на стыках морфем:

- чисто фонетически обусловленной (= агглютинация);
- непредсказуемой чисто фонетически (= флективность; привести пример 2-х фонетически сходных стыков, где будут фонетически разные результаты).

1.2. Наличие (= флективность)/отсутствие (= агглютинативность) фонетически необусловленных изменений корня при выражении того или иного грамматического значения и/или при том или ином грамматическом оформлении (**внутренняя флексия** индоевропейского типа).

1.3. Стандартность (= агглютинативность)/нестандартность (= флективность) грамматических показателей для разных классов корней (при отсутствии фонетической и/или семантической обусловленности выбора альтернативных показателей);

- наличие (флективн.)/отсутствие (агглютинативн.) разных типов склонения/спряжения, не обусловленных фонетически и/или семантически.

1.4. Типичны грамматические показатели, выражающие:

- одно и то же значение (род, число, падеж, лицо, время, наклонение) (=агглютинативн.);
- одновременно более одного значения (из разных грамм. категорий) (= флективн.).

2. Аналитический/синтетический.

2.1. Наличие синтетических словоформ и их функции.

Синтетические словоформы (их противопоставления) используются для:

- 1) межчастеречного словообразования (имени от глагола и т.п.);
- 2) внутривчастеречного словообразования;
- 3) словоизменения имен, не служащего для управления (число, определенность, падежи типа вокатива);
- 4) словоизменения глаголов, прилагательных (редко – существительных, наречий, предлогов), служащего для согласования (формы рода/числа/лица и т.д. прилагательных и глаголов и т.п.);
- 5) словоизменения и/или словообразования глаголов и других предикативов, не обслуживающего согласование (формы вида, времени, наклонения, залога и пр.);
- 6) словоизменения имен, обслуживающего управление (падежи).

Примечание: обычно с и н т е т и ч е с к и м называют язык, в котором хорошо представлен случай (6), независимо от всего остального, в противном случае говорят,

* Три нижеследующие работы И.Ш. Козинского ранее не публиковались. Подготовка текста и примечания В.М. Аллатова и Я.Г. Тестельца.

** Эта небольшая работа, оставшаяся в рукописи без заглавия, датируется началом 1980-х гг. По просьбе группы "Языки мира" Института языкознания И.Ш. Козинский составил перечень параметров, которые могли бы учитываться авторами энциклопедии "Языки мира" при характеристике морфологического типа описываемого языка. Читатель может сам судить, насколько удачно и сжато удалось И.Ш. Козинскому сформулировать наиболее известные критерии морфологических типов.

что язык аналитический (ср. латинский/испанский, русский/болгарский). Если в языке не представлены случаи (3) и (4), то часто его называют и з о л и р у ю щ и м.

2.2. Наличие корнесложений и редупликаций, образующих одно слово.

3. Изолирующий/аморфный (вариант: **основоизолирующий/корнеизолирующий**).

3.1. Роль порядка слов и служебных слов в грамматике.

3.2. Распространенность омонимии типа: знаменательное слово/служебное слово.

3.3. Наличие морфем, употребляемых только в составе сложных образований.

3.4. Наличие среди подобных (3.3) морфем таких, которые синхронно не имеют значений.

4. Инкорпорирующий/неинкорпорирующий.

4.1. Наличие и распространенность финитных глаголов с инкорпорированным прямым дополнением.

4.2. Возможность инкорпорации других членов предложения в глагол (подлежащих, косвенных дополнений, словосочетаний).

4.4. Степень обратимости инкорпоративных и неинкорпоративных вариантов.

4.5. Степень морфонологических изменений основ (корней) при инкорпорации.

5. Полисинтетический/неполисинтетический.

Наличие согласования финитного глагола одновременно с двумя и более членами предложения.

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПОРЯДКОМ АФФИКСОВ ГЛАГОЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ И ПОРЯДКОМ СЛОВ В ЯЗЫКАХ*

§ 148. Наличие связей между синтагматикой морфем в пределах слова и синтагматикой слов в пределах предложения неоднократно отмечалось в типологической литературе. Таковы наблюдения Дж. Гринберга [1] о связи тенденции к суффиксации с порядком слов ПДГ¹, тогда как языки с порядком слов ГПД более склонны к префиксации, о корреляции суффиксации с послелогом и постпозицией определения, а префиксации с предлогами и препозицией определения и т.д. Можно также показать, что в ряде работ такие связи понимаются чрезмерно прямолинейно и априорно: из внешнего подобия делаются далеко идущие, но не всегда обоснованные выводы. Так, из порядка аффиксов п-Г-д в ряде языков мунда Г.-Ю. Пиннов [2] делает вывод о том, что порядок слов в праунда был ПГД (в современных языках – ПДГ). Аналогичный вывод на том же основании делает Т. Гивон [3] для прасемитского (словопорядок в древнесемитских – ГПД). У.П. Леманн [4] утверждает, что сложные слова, образованные по модели Г + Д возможны только в языках, где Г и Д расположены контактно и Г предшествует Д, то есть в языках с порядком слов ПГД, но не ПДГ и ГПД, а компаунды по модели Д + Г в индоевропейских языках (санскр. *madhu-pa* "медовый напиток", лат. *bene-facere*, *male-dicere* и т.п.) свидетельствуют о наличии в праиндоевропейском порядке слов ПДГ, но не ПГД.

Эти и другие подобные утверждения апеллируют исключительно к внешнему сходству и "здравому смыслу". Между тем, эмпирическая проверка показывает, что порядок аффиксов спряжения п-Г-д крайне нетипичен для языков с порядком слов ПГД, порядок инкорпорированного дополнения в словоформе глагола вида Д + Г столь же типичен для языков с порядком слов ПГД, как и ПДГ; напротив, инкорпорация вида Г + Д как раз специфична для языков с порядком слов ГПД. Это лишний раз свидетельствует о верности тезиса, выдвинутого в начале данной работы (§ 3): любые, даже кажущиеся самоочевидными, лингвистические обобщения должны подвергаться эмпирической проверке и статистической оценке; без этого никакие апелляции к "естественности" таких обобщений не доказывают их истинности.

* Это – отрывок из диссертации И.Ш. Козинского, ярко демонстрирующий особенности его метода и, вероятно, лучшая работа на эту тему в типологической литературе.

¹ П – подлежащее, Д – прямое дополнение, Г – глагол-сказуемое (прим. ред.).

§ 149. Рассмотрим две следующие универсалии:

Ун-ия 87

Если в двухличной парадигме существуют формы, префиксально согласующиеся с дополнением (д-Г), то в ней есть (эти же или другие) формы, префиксально согласующиеся с подлежащим (п-Г).

Исключения: туника, даргинский, табасаранский, бурушаски, аюана, усаруфа, гадсуп, ава, кате, уманакайна, тонкава, бацбийский.

Ун-ия 88

Если в двухличной парадигме есть формы, префиксально согласующиеся с подлежащим (п-Г), то в этой парадигме есть (эти же или другие) формы, префиксально согласующиеся с дополнением (д-Г).

Исключения: каювава, отоми, цоцил, ихил, нанди, сук, луо, бугийский, барез, ненема, нигумак, аккадский, арабский, иврит, самаритянский, геэз, берберский, цимшиан, паренги, сора, жуанг.

Такое необычно большое число исключений не случайно, так как я специально выбирал для обеих универсалий формулировки с максимальным числом исключений. Тем не менее обе универсалии имеют высокую надежность (см. §§ 8–11). Легко видеть, что к ун-ии 87 исключениями являются языки, имеющие формы двухличного спряжения вида д-Г-п, но не имеющие форм вида п-Г-д. Исключения к ун-ии 88 имеют, напротив, формы п-Г-д, но не формы д-Г-п. На таком большом числе исключений нахождение возмущающего фактора не представляет трудностей. Действительно, все исключения к ун-ии 87, кроме языка тонкава, имеют порядок слов ПДГ. Из 22 исключений к ун-ии 88 в 17 языках имеется порядок слов ГПД или ГДП.

Отсюда следующие универсалии:

Ун-ия 89

Если в двухличной парадигме есть формы вида п-Г-д, но нет форм вида д-Г-п, то в данном языке доминирует порядок слов с начальной позицией глагола (ГПД или ГДП).

Исключения: аккадский, луо, сора, паренги, жуанг.

Из языков-исключений луо имеет порядок ПГД, прочие – порядок ПДГ. Подробнее эти языки-исключения рассматриваются в [5].

Ун-ия 90

Если в двухличной парадигме есть формы вида д-Г-п, но отсутствуют формы вида п-Г-д, то в данном языке доминирует порядок слов с конечной позицией глагола в предложении (ПДГ).

Исключение: тонкава (порядок ПГД).

§ 150. Две других закономерности близки к ун-ям 89 и 90, но не идентичны им и заслуживают самостоятельной формулировки.

Ун-ия 91

Если в двухличной парадигме имеется хотя бы одна форма глагола, префиксально согласующаяся с дополнением (т.е. хотя бы одна форма д-Г), то в таком языке самостоятельное подлежащее предшествует глаголу (доминирует порядок слов ПДГ или ПГД).

Исключения: масаи, теусо, науатл, агуакатек, чинук, волио, фокс, кер д'ален.

Корреляция значима (вероятность ошибки менее 0,01, ожидаемое число исключений – 16), несмотря на большое число исключений. Все перечисленные языки имеют в двухличной парадигме формы вида п-д-Г. Не исключено, что наличие таких форм и является возмущающим фактором (вероятность ошибки – чуть больше 0,01).

Ун-ия 92

Если в двухличной парадигме согласование с дополнением – только префиксальное (т.е. единственно возможными являются формы д-Г), то в таком языке самостоятельное подлежащее предшествует глаголу (порядок слов ПДГ или ПГД).

Исключения: масаи, теусо, наuatл, агуакатек, чинук.

Очевидно, что эта универсалия – частный случай ун-ии 91, но надежность ее существенно выше (ожидаемое число исключений – 20).

§ 151. Ун-ия 93

Если в двухличной парадигме согласование с подлежащим – только суффиксальное (формы Г-п – единственно возможные), то в таком языке самостоятельное подлежащее предшествует глаголу (порядок слов ПДГ или ПГД).

Исключения: сквамиш, шусвап, килеут, кус, суислав, квакиутл, сапотек (ожидаемое число исключений – 16).

Во всех языках-исключениях единственно возможными формами в двухличной парадигме являются формы Г-п-д. С вероятностью ошибки менее 0,01 это и является возмущающим фактором, а именно

Ун-ия 94

Если доминирует порядок слов ГП и в двухличной парадигме согласование с подлежащим – только суффиксальное, то согласование с прямым дополнением также только суффиксальное.

§ 152. Интересно, что все приведенные универсалии устанавливают корреляции между характером спряжения и позицией подлежащего в предложении и только универсалии 89 и 90 говорят еще и о позиции самостоятельного дополнения. Прочие возможные связи между порядком аффиксов субъектно-объектного спряжения и порядком слов в предложении оказались статистически незначимыми.

Интересно также своеобразное "зеркально симметричное" влияние различных конструкций спряжения на порядок слов. Конструкция п-Г-д обуславливает начальную позицию глагола в предложении, конструкция д-Г-п – конечную позицию глагола. В тех 16-ти языках, где сосуществуют обе эти конструкции, наблюдаются различные порядки слов, причем их распределение близко к среднестатистическому: то есть конструкции п-Г-д и д-Г-п как бы взаимно нейтрализуют свое действие на порядок слов. Ср. также симметричность возможных возмущающих факторов для универсалий 87 и 88, 91 и 93. Случаи, когда для различных грамматических противопоставлений наблюдаются зеркально симметричные зависимости (т.е. соответствующие универсалии различаются лишь направлением стрелки импликации), довольно часты. {...}

§ 153. В заключение, рассмотрим универсалии, связанные с инкорпорацией. Здесь и далее под инкорпорацией понимается регулярное включение в финитную глагольную словоформу корня или основы имени, причем инкорпорирующим считается только такой язык, где существует возможность трансформации предложения типа: предложение с инкорпорированным в глагол именем – предложение с тем же именем, выступающим как самостоятельный член предложения. Требование регулярности означает, что окказиональные образования типа русск. *плодоносить*, *благодарить*, *рукоплескать* не рассматриваются и русский язык инкорпорирующим не считается. Требование финитности глагола означает, что инкорпорацией не считаются такие образования, как русск. *водонос*, *полотер*, *чистотел* и т.п. Во многих языках, где в глагол включаются корни именного происхождения, возможна трансформация предложения так, чтобы превратить включенный в глагол корень в самостоятельный член предложения, отсутствует. В этом случае скорее нужно говорить не об инкорпорации, а о наличии в составе глагола деривационных элементов, исторически восходящих к именам.

Наиболее обычной является инкорпорация прямого дополнения, типа русск. *плодоносить*. Очень часто встречается также инкорпорация косвенных дополнений и обстоятельств типа русск. *руководить*, *благовестить*. Инкорпорация подлежащего встретила только в языках онондага, таос, сора и чукотском. Во всех этих языках инкорпорируется и прямое дополнение. Отсюда универсалия:

Ун-ия 95

Если в языке существует инкорпорация подлежащего, то в нем существует и инкорпорация прямого дополнения.

§154. Представляет интерес и расположение инкорпорированного члена в глагольной словоформе. Оказывается, что расположение инкорпорированного члена перед или после корня самого глагола тесно связано с доминирующим порядком слов. При порядке ПДГ инкорпорированное прямое дополнение предшествует глагольному корню, так же как и самостоятельное дополнение: донгола, яте, валапай, таос, чероки и др. При доминировании порядка ПГД инкорпорированное дополнение, в отличие от самостоятельного, также стоит перед глагольным корнем: чукотский, тиви, гуарани, ошондага и др. При доминировании порядка ГПД или ГДП инкорпорированное дополнение стоит после глагольного корня: волио, квакиутл, цимшиан, фокс, салишский и др. Таким образом, позиция инкорпорированного дополнения зависит от доминирующей позиции самостоятельного подлежащего. Отсюда универсалии:

Ун-ия 96

Если инкорпорированное прямое дополнение предшествует глагольному корню, то в данном языке самостоятельное подлежащее предшествует глаголу-сказуемому.

Ун-ия 97

Если инкорпорированное прямое дополнение следует за глагольным корнем, то в данном языке самостоятельное подлежащее следует за глаголом.

Исключения: сора, паренги, гта, оджибве, и, возможно, некоторые другие алгонкинские.

Порядок слов во всех языках мунда, к которым принадлежат сора, паренги и гта – ПДГ. Порядок слов в алгонкинских не одинаков. В одних из них этот порядок – ГПД (фокс), в других ПГД, но порядок ГПД является одним из альтернативных и достаточно частых во всех алгонкинских. Поэтому можно предположить, что постпозитивная инкорпорация в алгонкинских – морфологический архаизм и в прошлом порядок слов во всех алгонкинских характеризовался начальной позицией сказуемого. Что касается языков мунда, то поскольку ряд из них (в том числе паренги и сора) имеет еще одну морфологическую черту, гармонирующую только с начальной позицией глагола в предложении (порядок аффиксов спряжения п-Г-д – см. универсалию 89), можно предположить, что в древности они также имели порядок слов ГПД или ГДП (см. подробнее об этом [5]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970[1961].
- 2 Pinnow H – I The verb in Munda languages // Studies in comparative Austroasiatic linguistics. London, 1966
- 3 Givón T Topic, pronoun and grammatical agreement // Subject and topic / Ed. by Li. Ch. New York, 1976
- 4 Lehmann W P A discussion of compound and word order // Word order and word order change / Ed by Li Ch Austin (Tex) 1975
- 5 Козинский И Ш К вопросу о реконструкции порядка слов в предложении австроазиатского праязыка // Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания". Ч. I М. 1977.

ОПЫТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ*

§ 38. Исходя из презумпции адекватности используемых грамматических описаний, для построения универсального конкретного определения членов предложения необходимо, очевидно, обнаружить те критерии, которые используются авторами грам-

* Ниже публикуется (с небольшими сокращениями) отрывок из диссертации И.Ш. Козинского, наиболее важный для понимания его взглядов на природу универсальных грамматических понятий.

матик, составленных в рамках господствующей традиции, при идентификации этих членов в конкретных языках (критерии имплицитные или эксплицитные). Для этого бесполезно проанализировать общую стратегию терминологического отождествления категорий разных языков. Почему, например, некоторый согласовательный класс называется "женским родом" в русском, арабском, тиви, тонкава и многих других языках, несмотря на то, что формы выражения данной категории материально различны, а произвольно взятое имя женского рода одного языка совсем не обязательно будет принадлежать к тому же роду в другом языке?

§ 39. Подлинно универсальным определением "женского рода" может быть только **понятийное** (например: "слово женского рода обозначает существо женского пола"). Но тогда вряд ли найдется хотя бы один язык, в котором такое определение оказалось бы адекватным. Наиболее адекватными для каждого конкретного языка являются чисто **формальные** определения (например: "Слово женского рода – слово, заменяемое местоимением *она*"). Действительно, русские *стул* и *скамья* различаются чем угодно, но только не полом. Но тогда, если быть последовательным, необходимо признать, что совпадение названий согласовательных классов разных языков является чисто случайным или произвольным.

Тем не менее, по остроумному замечанию Дж. Гринберга, если формальным определением такие слова, как *мальчик*, *камень*, *нос* будут в некотором языке признаны глаголами, а слова *есть*, *пить*, *давать* – существительными, то такое определение будет тотчас же отвергнуто [1]. Точно так же, описание русского языка, в котором род слов типа *скамья* был бы назван "мужским", выглядело бы, мягко говоря, несколько необычно.

Похоже, все-таки, что грамматисты при терминологическом отождествлении формально определенных категорий разных языков опираются на какие-то объективные критерии, которые могут быть только семантическими. А из этого следует, что даже самые "формальные" грамматические категории имеют какую-то понятийную мотивацию (ср. [1–3]).

§ 40. Но тогда возникает вопрос, как согласовать это с тем очевидным фактом, что нет никаких понятийных оснований для того, чтобы усматривать в понятии *скамья* нечто женское, а в понятии *стул* – нечто мужское. Выход из этой антиномии лежит, как кажется, в признании у каждой грамматической категории **центральных и периферийных кругов** [4]; я далее для краткости буду говорить о **ядре и периферии**).

Ядро категории – это такая подсистема, где наблюдается четкая статистическая корреляция между формальными и некоторыми понятийными признаками. На **периферии** категории, по мере удаления от ядра, корреляция эта становится все менее отчетливой. Формальные признаки при этом полностью сохраняются, но их понятийные корреляты начинают заменяться другими, могут перепутываться самым причудливым образом или вообще исчезать.

Ядро категории может быть выделено в каждом языке по одним и тем же понятийным признакам. Так, ядром категорий женского и мужского рода в любом языке является подсистема названий людей (термины родства и традиционная социально-возрастная номенклатура) соответственно женского и мужского пола. Для среднего рода ядром будет подсистема названий заведомо бесполой предметов и абстрактных понятий. В русском и латинском будут обнаружены формальные корреляты для всех трех подсистем (например, местоимения *он*, *она*, *оно*). Во французском или тиви формальные корреляты найдутся только для первых двух подсистем, и следовательно там нет среднего рода. После нахождения формальных коррелятов понятийных признаков соответствующим категориям может быть дано чисто формальное определение, специфичное для данного конкретного языка. Сравнимость одноименных категорий в разных языках обеспечивается наличием в каждом языке одной и той же статистической корреляции между формальными и понятийными

признаками в одинаково выделенном ядре категории. Тактика грамматиста примерно такова:

1. Выделить ядерные подсистемы.
2. Отыскать в них формальные признаки, наилучшим образом коррелирующие с заданными понятийными различиями.
3. Присвоить формальным классам (если таковые обнаруживаются) названия, соответствующие их понятийной мотивации.
4. Объявить эти названия справедливыми для каждого случая присутствия выделенных формальных признаков, независимо от наличия и характера их понятийных коррелятов.

§ 41. На периферии категории по мере удаления от ядра все чаще можно наблюдать метафорический перенос на выделенные формальные признаки совершенно других значений, категория может "догружаться" дополнительными функциями и, наконец, полностью десемантизироваться.

Так, в индоевропейских и семитских языках наблюдается определенная тенденция соотносить названия больших и/или социально важных объектов скорее с мужским, чем с женским родом, а в языке тиви (Австралия) – наоборот. Названия половых органов в русском (и, – при персонификациях, – в английском) имеют род, соответствующий полу обладателя, а в тиви и испанском – противоположный полу обладателя. Степень корреляции формальных и понятийных признаков на периферии категории в одних языках выше, чем в других (ср. русский, где названия бесполовых объектов довольно часто относятся к мужскому или женскому родам, и английский, где, за редкими исключениями типа *ship*, все они – среднего рода). Практика грамматических описаний, несмотря на эти различия, терминологически отождествляет категории разных языков, и происходит это именно потому, что в ядре категории статистическая корреляция между специфическими для каждого языка формальными и универсальными понятийными признаками одна и та же для любого языка. Противопоставление *стул/скамья* идентифицируется как противопоставление мужского/женского родов не по семантическим критериям, а просто потому, что для этих слов характерны те же формальные свойства, что и для "ядерных" слов типа *муж/жена*.

§ 42. Из этого видно, что для построения универсального конкретного определения членов предложения (ЧП) необходимо найти универсальную процедуру выделения ядерных подсистем и некоторый, единый для каждого из этих ЧП и притом **единственный** понятийный признак, для которого будет определяться корреляция с формальными признаками. Очевидно, что для этого необходимо проанализировать практику формального определения ЧП в господствующей грамматической традиции.

Начнем с формальных признаков. Наиболее четкими и однозначными из таких признаков являются непосредственно наблюдаемые изменения форм слова (аффиксация, флексия корня, изменения тона или ударения) и наличие при нем разнообразных служебных и полуслужебных слов (предлоги, послелоги и т.п.). Такие признаки (назовем их **грамматическим оформлением**) будут считаться формальными признаками *par excellence*.

В тех случаях, когда грамматическое оформление само по себе не дает однозначного решения, для идентификации ЧП можно применять дополнительные признаки, в первую очередь грамматическое оформление сказуемого предложения, т.е. характер его согласования (если таковое имеется) с тем или иным актантом. Кроме того, в качестве дополнительных формальных признаков в случаях, когда грамматического оформления актантов и согласования недостаточно, можно использовать порядок слов и синтаксические свойства актантов.

Из сравнения грамматических описаний видно, что формальные признаки одного и того же члена предложения могут изменяться в одном и том же языке. Такие изменения наблюдаются в следующих случаях:

1. При изменении видо-временной или модальной формы глагола, например, русск. *я пью водку* – *я не пью водки*.

2. При изменении лексико-грамматического подкласса глагола: изменение оформления подлежащего при непереходных и переходных глаголах в эргативных языках и такие же изменения при глаголах действия и состояния в активных языках (сходные изменения при аффективных глаголах здесь не учитываются).

3. При изменении лексико-грамматического подкласса слова, которым выражен соответствующий член предложения.

Третий случай – самый простой, так как подобные изменения в грамматиках рассматриваются, как правило, в качестве алловариантов одного грамматического оформления. Первый и второй случаи так обычно не рассматриваются, поэтому определение должно рассматривать каждую из основных видо-временных и модальных форм и каждый лексико-грамматический подкласс глаголов отдельно, чтобы для каждого случая выделить адекватные формальные признаки членов предложения. Следовательно, необходимые правила выделения не одной, а нескольких "ядерных" подсистем, на которых эти члены будут опознаваться.

§ 43. Мнение о том, что подлежащее (грамматический субъект) и тема (логический субъект) в наиболее фундаментальных и частотных структурных типах предложений данного языка чаще совпадают, чем не совпадают, неоднократно высказывалась в работах по общему языкознанию (см., например [5–8]). "Подлежащее это главным образом грамматикализованная тема" [9]. Естественно, что главным признаком подлежащего при его определении может быть признана положительная корреляция между ним и темой в подсистемах "ядерных" предложений. С другой стороны, подлежащие при разных лексико-грамматических подклассах глаголов можно различить по дополнительному признаку семантической роли этих подлежащих в "ядерных" типах предложений. Так, подлежащее переходного глагола как действительного, так и страдательного залога обнаруживает положительную корреляцию с темой, но эти две **категориальные формы** единой категории **подлежащего** различаются по своей семантической роли (опять-таки в "ядерных" типах предложений). Дополнения отличаются от подлежащих тем, что реже, чем последние, совпадают с темой, а различные разновидности дополнений отличаются по своим типичным семантическим ролям. Так, семантическая роль "объект, который создается или уничтожается в результате обозначаемого глаголом действия (*печь хлеб, разбить стакан* и т.п.)" достаточно типична для прямого дополнения, но нетипична ни для одного из косвенных дополнений.

Таким образом, процедура выделения "ядерных" типов предложений должна быть разработана так, чтобы в число ядерных включались только те типы, где указанные корреляции семантических ролей с коммуникативным статусом наиболее четкие. Эта задача облегчается тем, что совпадение или несовпадение темы (т.е. определенного коммуникативного статуса) и подлежащего (т.е. определенного грамматического оформления) во многом зависит от семантического подкласса глагола (см. [10]). В то же время от семантики глагола зависят и семантические роли его актантов. Это означает, что проанализировав употребление терминов в грамматических описаниях, выполненных в рамках господствующей грамматической традиции, можно обнаружить те семантические подклассы глаголов, при которых определенные сочетания семантической роли и коммуникативного статуса актантов наиболее однозначно коррелируют с их обозначениями как тех или иных членов предложения.

§ 44. Такие корреляции представлены ниже в универсалиях 1–8. Следует отметить, что эти "универсалии" (за возможным исключением ун-ии 8) являются обобщениями несколько иного плана, чем все остальные, поскольку они описывают не сходства и закономерности в структурах самих языков, а сходства в терминопотреблении их грамматических описаний (а это, строго говоря, не одно и то же). В контексте данной работы эти "универсалии" следует рассматривать скорее как набор постулатов, на основе которых строится предлагаемое в ней универсальное определение членов предложения.

Ун-ия 1. Все или подавляющее большинство глаголов некоторого языка с общим значением "создавать" или "уничтожать" по своим формально-грамматическим свойствам являются переходными глаголами.

Ун-ия 2. Если в языке нет залоговых противопоставлений, то его грамматическое описание признает **подлежащим** предложений с такими глаголами имя, имеющее семантическую роль **агенса** (того, кто создает или уничтожает), а **прямым дополнением** – имя с семантической ролью **пациенса** (того, что создается или уничтожается).

Ун-ия 3. Если в языке есть противопоставление действительного и страдательного залогов, то в страдательном залоге подлежащим считается имя **пациенса** при тех же глаголах; синтаксическое членение действительного залога аналогично описанному в ун-ии 2.

Ун-ия 4. При наличии в языке противопоставления непереходных глаголов действия и непереходных глаголов состояния все или подавляющее большинство глаголов со значением "передвигаться тем или иным способом" по своим формально-грамматическим свойствам относятся к глаголам действия.

Ун-ия 5. Подлежащим предложений с этими глаголами в большинстве случаев является имя с семантической ролью **пeregринатора** (того, кто передвигается).

Ун-ия 6. Подлежащим предложений со значением "некоторый объект принадлежит к некоторому множеству объектов" (типа *Сократ – грек*) в большинстве случаев является имя объекта, включаемого во множество.

Ун-ия 7. Не существует отличий в грамматическом оформлении подлежащих предложений типа, указанного в ун-ии 6, и подлежащих при глаголах, которые в данном языке по своей семантике и/или грамматическим свойствам относятся к непереходным глаголам состояния.

Ун-ия 8. Во всех типах предложений, перечисленных в ун-иях 1–7, если их актуальное членение не предсказывается однозначно из контекста и в них отсутствуют средства, указывающие на эмфатически-экспрессивное подчеркивание отдельных актантов, тема предложения существенно чаще совпадает с его подлежащим, чем с любым другим членом предложения.

Нелишне отметить, что в лингвистической литературе уже высказывались положения, содержательно близкие к некоторым из вышеприведенных обобщений. См., в частности, [11] к ун-ии 2, [8] к ун-ии 4 {...}.

Собственно говоря, из этих обобщений читатель может получить вполне адекватное представление о принципах и характере возможного универсального определения членов предложения {...}. Предлагаемому определению придан операциональный вид, т.е. это система предписаний по анализу текстов на исследуемом языке, в результате которого лингвист получает набор эталонных предложений с задаваемым по определению взаимно-однозначным соотношением семантического, актуального и синтаксического членений. На этих предложениях определяются свойственные интересующим исследователя категориям формальные признаки, специфичные для данного языка. По этим признакам эти категории могут быть опознаны затем в любых других предложениях, независимо от их конкретной семантики, семантических ролей актантов и актуального членения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970 [1961]. С. 115–116.
2. Hjelmslev L. Principes de grammaire générale. København. 1928.
3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978 [1972]. С. 300–305, 336–339.

4. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975. С. 144–150.
5. Halliday M.A. Notes on transitivity and theme in English // *Journal of linguistics*, 1967, V. 3, N 1–2. 1968, V. 4, N 2.
6. Панфилов В.З. Языковые универсалии и типология предложения // ВЯ, 1974, № 5.
7. Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975 [1971]. С. 241–254.
8. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 194.
9. Li C.N., Thompson S.A. Subject and topic: a new typology of language // *Subject and topic* / Ed. by Li. C.N. N.-Y., 1976. P. 484.
10. Яхонтов С.Е. Классы глаголов и падежное оформление актантов // *Проблемы теории грамматического залога* / Под ред. Храковского В.С. Л., 1978.
11. Comrie B. Ergativity // *Syntactic typology. Studies in the phenomenology of language* / Ed. by Lehmann. W.P. Austin – London, 1978.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

B. Pottier. Sémantique générale. Presses Universitaires de France. Paris, 1992. 237 p.

Книга Б. Потье "Общая семантика" является завершающей в цикле работ, начатых автором в 1955 г. [1, 2, 3]; в частности, она служит дополнением к монографии [3], ссылки на которую постоянно присутствуют в тексте. Как отмечает в предисловии сам автор, эта книга, в отличие от предыдущих, является не систематическим трактатом, посвященным описанию семантики естественных языков, и не собранием фактов, а всего лишь совокупностью намеков, предложений (*suggestions*), рамкой, помогающей упорядочить мир языковых смыслов. Свободная манера изложения и тот факт, что в основе теории Б. Потье лежит психосистематика Г. Гийома, в данной монографии не эксплицируемая, но предполагаемая известной, делают чтение книги чрезвычайно трудным занятием для неосведомленного читателя. Идеи Гийома, очень самобытного лингвиста, в свое время не получили широкого признания, а иногда вызвали и резкую критику; тем не менее, они оказали существенное влияние на развитие лингвистики и продолжают пользоваться популярностью, особенно среди французских и канадских лингвистов. Поскольку русский читатель может теперь ознакомиться непосредственно с лингвистической концепцией Гийома благодаря переводу ряда его работ на русский язык [4], а соотношение концепций Гийома и Потье представляет собой весьма сложную проблему, в предлагаемой рецензии мы не будем рассматривать общие положения психосистематики, а сосредоточимся на той концепции, которую можно "реконструировать" при чтении рецензируемой монографии, отличающейся отмеченной нами свободой изложения и значительной рыхлостью композиции.

Отметим только, что Гийома и Потье объединяет стремление найти те общие механизмы, которые лежат в основе формирования семантических систем языка, а также те операции, которые реализуются в актах речи.

Описание психосистематики языка в понимании Потье можно найти в его первой монографии [1], характеризующейся семасиологическим подходом (выявляются так называемые репрезентации, лежащие в основе в с е х употреблений данной языковой единицы в речи); в рассматриваемой монографии Потье уделяет больше внимания порождению речевого смысла, отталкиваясь от экстралингвистической ситуации, в связи с чем здесь преобладает ономасиологический подход.

Общим для методологии Гийома и Потье является и то обстоятельство, что они не ищут новые факты в языке и речи, но часто совершенно по-новому осмысливают уже известные данные. Кроме того, важнейшей особенностью их описания является применение графического языка, позволяющего наглядно и сжато показывать тот путь, который проходит мысль при построении языкового и речевого смысла. В основе графических схем, характеризующихся, в отличие от схем Л. Теньера, значительной простотой, лежит убеждение в том, что "основополагающие операции, на которые опирается структура языка, не слишком многочисленны и отнюдь не разнообразны, не обладают излишней сложностью, а наоборот, малочисленны и в основном минимально вариативны, отличаясь поразительной однородностью" [4, с. 51].

Отличительной чертой варианта общей семантики, предлагаемого Потье, является динамичность. Ведь язык для Потье не только потенциальная система выразительных средств, но и механизм энонциации (от франц. *énonciation* "произнесение, сказывание"), позволяющий реализовать возможности, предоставляемые системой, в дискурсе. В соответствии с этим "общая семантика занимается смысловыми м е х а н и з м а м и и о п е р а ц и я м и (выделено нами – С.О., Н.Б.), исследуя их через функционирование естественных языков. Она стремится выявить связи, существующие между дискурсивным

поведением, погруженным в постоянно обновляющееся окружение, и ментальными репрезентациями, которые, по-видимому, являются общими для всех пользователей естественных языков" (с. 11).

К сожалению, одно из центральных понятий теории Потье – ментальная репрезентация – не получает в книге эксплицитного определения; из только что приведенного определения общей семантики и из описания "хронологии мысли", помещенного в заключительной главе, следует, что ментальные репрезентации относятся к долингвистическому уровню, являются общими для говорящих на разных языках; при этом "каждая ментальная репрезентация может манифестироваться лингвистически множеством способов" (с. 33). Отметим, что в [1, с. 124–125] Потье говорит просто о репрезентации, совершенно однозначно относя ее к сфере языка и понимая ее как совокупность релевантных дифференциальных признаков, присущих языковой единице в трех типах употреблений: пространственном, временном и понятийном (*notionnel*); репрезентация – это "глобальное" значение языковой единицы (в отличие от "основного"), настоящая "субстанция языка", семантический потенциал единицы до ее реализации в речи [там же, с. 268–269]. Примечательным образом при переходе от семасиологического анализа в [1] к ономазиологическому анализу в рецензируемой монографии статус репрезентации радикально меняется, и из языковой сущности она превращается в ментальную, в один из этапов концептуализации, предшествующих семиотизации (см. ниже). Впрочем, на приводимых автором схемах порождения речевого смысла ментальная репрезентация отсутствует, в тексте употребляются и другие термины (ноэма, ментальный образ), каким-то образом связанные с репрезентацией, и лишь в заключительной главе содержатся кое-какие уточняющие намеки. В результате при чтении работы часто трудно понять, о какой семантике – сублингвистической или лингвистической – идет речь.

Хотя в начале работы Потье рассматривает схемы как производства, так и восприятия речи, а также позицию лингвиста, объединяющего в своем анализе ономазиологический и семасиологический подходы, основное внимание он уделяет, как мы уже сказали, тому "пути" (*parcours*), который проделывает говорящий: от экстралингвистической реальности через желание что-то сказать к концептуализации этой реальности в соответствии с ракурсами будущего высказывания (*visées énonciatives*), а затем и к семиотизации, т.е. выбору языкового знака, и, наконец, к

произнесению (или написанию) этого знака. Чрезвычайно важным представляется нам разграничение этапа концептуализации и этапа семиотизации, что в настоящее время делается лишь в немногих семантических концепциях.

Не имея возможности воспроизвести здесь схему "пути высказывания" (*parcours énonciatif*, с. 224), охарактеризуем кратко ее основные компоненты. Первым компонентом является так называемая аналитическая схема события, в которой отражаются его существенные черты, "основные линии". Отбор существенных черт события уже на этом, первом, этапе предопределяется рядом ракурсов будущего высказывания, к которым Потье относит актантную рамку, детерминацию, аспект, время и модальность. Таким образом, намерение говорящего произвести то или иное высказывание предопределяет весь ход концептуализации и семиотизации. Пример события: в результате действий Жана прямая линейка оказалась погнутой (каузация изменения свойства).

Второй компонент – это построенная аналитическая схема; она отражает тот момент события, о котором говорящий собирается сказать, причем событие в целом служит как бы фоном высказывания. В нашем примере этим моментом может быть момент сгибания линейки. Как указывает Потье, построенная аналитическая схема является наиболее адекватным представлением ментальной репрезентации (с. 226), но понятие об этой схеме появляется лишь в заключительной главе, а в основном тексте оно не используется.

Третий компонент схемы относится уже к сфере языка; это то, что Потье называет "*schème d'entendement*" (неясно, следует ли это переводить как "схема понимания" или "рассудочная схема", поскольку автор никаких пояснений к своей терминологии не дает). На этом этапе происходит выбор лексем: *Jean* "Жан", *règle* "линейка", *tordre* "гнуть", и в соответствии с лексическим выбором происходит иерархизация партиципантов события.

Четвертый компонент – предципируемая схема; она отражает выбор исходной точки для "диатезного пути" (*parcours diathétique*). В нашем примере, если взять за исходную точку линейку, то схема примет следующий вид: *règle/fêtre tordue par Jean* "линейка/быть погнутой Жаном".

Пятый компонент – результирующая схема; здесь добавляются уже упомянутые ракурсы высказывания: время, аспект, модальность, детерминация. В нашем примере это может

быть прошедшее время (*a été* "была"), завершенность (*avoir tordu* "погнуть"), вопросительность и фокализация агенса (относимые Потье к широко понимаемой категории модальности). На "дискурсивном выходе" получаем тогда следующее высказывание: *Est-ce que c'est par Jean que la règle a été tordue?* букв. "Жаном была погнута линейка?"

Проводимое Потье различие между языковой концептуализацией и семиотизацией важно и в том отношении, что семиотизация по существу предполагает ряд новых этапов концептуализации, и каждый из них вносит свой вклад в то, как будет представлено в речи описываемое событие. Так, компоненты аналитической схемы иерархируются на последующих этапах в зависимости от выбора лексем. Например, отражающие одно и то же событие высказывания *A et B s'échangent des idées* "А и Б обмениваются идеями" и *A échange des idées avec B* "А обменивается идеями с Б" являются результатом выбора говорящим в одном случае глагола *s'échanger*, а в другом – *changer (avec)*.

Таким образом, переход от концептуальных схем к собственно языковым характеризуется явлением, названным Потье полисемиозисом – множественностью выбора в рамках формальных возможностей данного языка при обозначении одного и того же события. Поэтому важное место в семантической концепции Потье занимает понятие парасинонимии, которое он определяет следующим образом: "Если [речевые] последовательности отсылают к одной и той же концептуальной схеме, они парасинонимичны" (с. 34). Анализ понимаемой таким образом парасинонимии предполагает выход за пределы слов и текстовых структур на уровень, независимый от конкретных естественных языков (с. 64). Отметим, однако, спорность отнесения к парасинонимичным таких высказываний, как *la vache est un herbivore* "корова – травоядное животное" и (*regarde!*) *la vache mange de l'herbe!* "смотри! корова есть траву!". Наличие общих сем ("есть", "трава") вовсе не предполагает тождества концептуальных схем, к которым отсылают два высказывания.

Описание этапов пути, который проходит говорящий, слушающий и лингвист, коррелирует у Потье с делением семантики на отдельные поддисциплины. Он выделяет следующие виды семантики: 1) референциальная семантика изучает отношение между миром, концептуализацией и системами естественных языков (с этой областью исследований свя-

зано прежде всего явление десигнации, обозначения); 2) структурная семантика изучает мотивы выбора знаков в определенном языке и устанавливает деление означаемых на семы; 3) дискурсивная семантика описывает механизмы перехода от языка к дискурсу и обратно (по выражению Потье, речь идет о двух дополнительных ноу-хау, о переходе от означаемого в языке к значению в дискурсе и наоборот); 4) прагматическая семантика изучает связь между знанием и желанием говорящих; 5) независимые семантики: а) семиотика текста изучает целостные речевые произведения; б) параллельные семиологии изучают семиологические системы, используемые параллельно с языковой системой (иллюстрации, интонация, типы шрифтов, жестикация и т.д.).

Поиски универсального (общего) в языках могут идти разными путями. Своеобразие концепции Потье заключается в том, что он ищет его прежде всего в грамматических понятиях, причем обращает особое внимание на системные совпадения. Он проводит разграничение между общими концептами (*concepts généraux*), в которых отражены одушевленные и неодушевленные предметы, их свойства и характерные для них действия (общечеловеческий опыт), и универсальными концептами (*concepts universaux*), или нозмами, которые он определяет как абстрактные реляционные репрезентации человеческого опыта, находящие чрезвычайно разнообразное языковое выражение (с. 71), или как универсальные абстрактные отношения, лежащие в основе общих семантических операций (с. 78). Он также обращает внимание на то, что ядро концепта часто одинаково во всех языках, но при этом оно оказывается окруженным множеством дополнительных ассоциаций, характерных для данной культуры (например, концепт солнца в разных языках и культурах).

Визуальное (графическое) представление универсальных концептов занимает, как уже было сказано, важное место в теории Потье, поскольку последние лежат в основе многообразных семантических операций. Следует подчеркнуть, что выбранный Потье ракурс рассмотрения, когда делается попытка выявить именно семантические процессы, позволяет увидеть, что сходные операции лежат в основе весьма разнородных значений. Отсюда неожиданные сопоставления на первый взгляд далеких друг от друга языковых фактов, что делает чтение книги Потье увлекательным, хотя и нелегким занятием. Например, на основе "нозмической фигуры", названной Потье триморфом:

можно, по его мнению, изучать самые разнообразные варианты концептуализаций *apprendre* "учить" – *savoir* "знать" – *oublier* "забывать", *se marier* "пожениться" – *vivre en couple* "жить супружеской жизнью" – *divorcer* "развестись", *arriver* "приехать" – *se trouver* "находиться" – *partir* "уехать" и т д

Огромную роль в процессе семиотизации играет метафоризация, при этом свойственная лексеме репрезентация сохраняется во всех ее употреблениях, например, глагол *arriver* во фразах *Jean arrive au Lycee* "Жан приходит в лицей", *Je n'arrive pas a y clore* "Никак не могу в это поверить" имеет "глобальное" значение достижения предела в обиходных случаях

Не имея возможности подробно рассказать о том, как Потье анализирует структуру события и такие ракурсы высказывания, как детерминация, актантная структура, аспект, время и модальность (этим категориям посвящены отдельные главы), отметим такую особенность семантического анализа Потье, как использование категории понятийной хронологии, характерной для теории Гийома. Под понятийной хронологией подразумевается порядок следования семантических процессов, имеющих место при построении речи, и, как бы мы сказали, застывших процессов, которые можно разглядеть за семантической организацией синонимических групп или отдельных означаемых. Отсюда представление семантических признаков в виде континуума, например, движение от максимума качества А до максимума качества анти-А и обратно, расположение различных видов актантов по линии ослабления признака активности и нарастания признака пассивности, расположение эпистемических предикатов по

степени солидарности я с содержанием собственного высказывания и т д

Итак, оригинальный метод исследования Потье позволяет увидеть в новом свете многие языковые явления. Стремление обнаружить ментальные операции, процессы, как совершающиеся при построении речи, так и отраженные в организации семантических микросистем и отдельных означаемых, может принести интересные результаты. Вместе с тем представляется, что роль ментальных операций в семантике языка несколько преувеличена. Их поиски, по-видимому, могут быть плодотворными при описании некоторых типов микросистем (например, частиц), но вряд ли дадут интересные результаты для всех типов языковых единиц. Кроме того, при описании ментальных операций чрезвычайно важны сами концепты, включенные в картину мира, создаваемую языком. В заключение еще раз подчеркнем, что способ изложения, избранный Потье, делает чтение его книги нелегким делом для всех, кто плохо знаком с предыдущими работами автора и с теорией психосистематики в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Pottier B. Systematique des elements de relation. Paris 1962
- 2 Pottier B. Linguistique generale. Theorie et description. Paris 1974
- 3 Pottier B. Theorie et analyse en linguistique. Paris 1987
- 4 Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. Сб. неизданных текстов. подготовленный под рук. Р. Валена / Перевод с франц. П. А. Скрелина. Общая редакция, послесловие и комментарии Л. М. Скрелиной. М. 1992

О. Н. Селиверстова, Б. П. Нарумов

A. Erhart. Das indoeuropaische Verbalsystem. Brno, 1989 (Opera Universitatis Purkyniae Brunensis. Facultas Philosophica, N 190)

Рецензируемая книга выдающегося чешского лингвиста А. Эрхарта – итог многолетней работы. Уже свыше трех десятилетий автор публикует исследования, посвященные индоевропейской глагольной флексии и деривации, отличающиеся четким и продуманным системным подходом и нетривиальностью наблюдений.

Автор подчеркивает немалые трудности, встающие перед исследователем индоевропейского глагола. Монументальное исследование К. Бругмана [1] (1052 стр. его работы посвящены непосредственно глаголу) способно породить иллюзию полной исчерпанности данной темы. Но уже через полвека после выхода Очерка появилось множество других

исследований, предлагавших новые, нередко противоречащие друг другу системы реконструкций. Объясняется это прежде всего новыми данными, поступившими в распоряжение исследователей: дешифровкой тохарских и особенно анатолийских языков. Их глагольная система оказалась значительно проще, чем реконструированная на базе санскрита и древнегреческого. Данные хеттского и тохарских языков заставили по-новому взглянуть на соотношение меди и перфекта, аориста и перфекта и т.д. При сопоставлении анатолийского глагола с другими языковыми группами предлагались самые разные гипотезы. Признание их правомерности зависит от общих теоретических установок, разделяемых авторами. Следовательно, вопрос реконструкции – это прежде всего вопрос метода. Реконструкция должна быть системной и подчиняться требованиям выводимости. Вслед за Л. Ельмслевом [2] автор определяет грамматику как систему, характеризуемую отношениями как между грамматическими категориями так и между граммемами, внутри категорий. В соответствии с этим возникает задача структурного описания данной системы. Поэтому А. Эрхарт разработал для всех реконструированных им категорий свои наборы дифференциальных признаков, в рамках которых любая грамма может быть описана как пучок ДП. Заслуга в применении ДП в морфологии принадлежит Р.О. Якобсону [3–4]; в исторической морфологии этот метод впервые использовал Е. Курилович [5]. Но Курилович к различным категориям (аспекту, залогу, модусу, падежам) применял в общем один и тот же (с модификациями) набор ДП (ср. [6–7]). Напротив, А. Эрхарт не использует одну априорно взятую систему, а разрабатывает для каждой категории адекватное ей описание. Так автор рассматривает систему флексии (категория лица и ее выражение), аспекта и времени (выражение глагольными основами грамматического времени и аспекта), систему глагольных диатез (в том числе соотношение диатезы с некоторыми видо-временными формами), личных окончаний (единственное и множественное число; дуалис; "первичные" и "вторичные" окончания), времени и наклонения. Специальные главы посвящены глагольной системе в западных индоевропейских языках (латинском; германских; кельтских; тохарских; балтийских и славянских), а также анатолийской глагольной системе.

Уже композиция книги А. Эрхарта свидетельствует о четкой и продуманной концепции, лежащей в ее основе. Автор показывает развитие глагольных категорий, отвечающих его наборам ДП, во времени. Бла-

годаря такой процедуре объяснения А. Эрхарта приобретают особую доказательную силу.

Для описания лиц глагола предлагались различные классификации: 1 и 2 л. противопоставлялись 3-му как участники диалога – неучастникам; 1 л. противопоставляется 2-му и 3-му как субъективное – несубъективным. Автор практически объединяет эти две классификации, предлагая следующий набор ДП, использованный им ранее для описания системы личных местоимений [8]: субъективность (идентичность с говорящим); конкретность (участие в диалоге), индивидуальность (единичность). По мнению автора, в праиндоевропейском различались "конкретное" и "неконкретное" 1 л. ед. и мн.ч. Система же глагольных окончаний имела следующий вид: **m/W(V)* "Я/Мы конкретное" (Я конкретное и Мы эксклюзивное); **H(V)* "Я неконкретное" (Я как член коллектива, не выделяющегося из него; лежит в основе флексии перфекта и тематического спряжения); **ni(V)* "Мы инклюзивное" (лежит в основе 3 л. мн.ч.); **i(V)* "Не–Я" (при отсутствии в предложении именного подлежащего); **Ø* "Не–Я" (при наличии подлежащего); **r* – показатель неопределенно-личного предложения. На наш взгляд, по поводу этой реконструкции надо сказать следующее. Во-первых, чрезвычайно важно разграничение "конкретного" и "неконкретного" 1 л. (проведенное уже в работе автора [8, с. 32]). А. Эрхарт ссылается на существование этой оппозиции в некоторых полинезийских языках. В праиндоевропейском следов именно таких граммем не обнаружено, но можно полагать, что данное противопоставление трансформировалось в оппозицию агентивного и неагентивного 1 л. При этом А. Эрхарт считает ларингал фонологической реальностью. Но если его реконструировать как особенность ударения [9], то 1 л. перфекта оказывается маркированным только суперсегментно. Иными словами, древнейший тип перфекта оказывается морфологически неоформленной категорией, что полностью соответствует инактивному характеру перфекта [10]. Кроме того в схеме А. Эрхарта не находится места для аффикса 2 л. В этой связи автор замечает, что реконструируемое по данным всех индоевропейских языков окончание **s* не соотносимо ни с каким местоимением (анафорическое и возвратное *se* слишком далеко по семантике). Другая флексия 2 л. **-tha* (перфектная), по-видимому, представляла собой местоимение 2 л., приобретенное придыхание под влиянием формы 1 л. перфекта **-Ha* [11]. Впрочем, сам А. Эрхарт полагает, что *-H-* было принадлежностью сугубо 1 л., а придыхание объясняется экс-

прессивностью, разграничившей конкретное 2 и неконкретное 3 л. Тем самым для 2 и 3 л. восстанавливается единая праформа **t*, связанная, с одной стороны, с местоимением 2 л. **teltu*, с другой – с указательным местоимением **to*. Форма же *-s*, по мнению автора, возникла как эпентеза между консонантным ауслаутом основы и флексией: *C-t > C-st*. Заметим по этому поводу, что **-s* известно не только в 2, но и в 3 л.: факультативно – в аористах ведических глаголов на долгий гласный (*āprās, ādās, ādhās*), облигаторно – в 3 л. хеттского протерита спряжения на *-hi*: *dāš (= ādās), daiš (= ādhāš)*, а также в древнеперсидском у атематических глаголов (*akunauš*) [12]. То, что *-s* встречается именно у основ на долгий гласный, заставляет усомниться в предложенной автором этимологии: ср. в этой связи [13], где сделан вывод о том, что *-t* изначально относилось к 2 л., а *-s* – к 3-му. На наш взгляд, для такой реконструкции нет достаточных оснований; *-t* и *-s* следует, по-видимому, рассматривать как разные морфемы, значение которых могло существенно совпадать. Вероятно, морфема 2-го л. омонимична морфеме 3-го л.; если перфектное **tha* действительно восходит к местоимению 2 л., то для 3 л. **-ti* логично предположить именное происхождение. Ср. в этой связи существенные совпадения: **-ti* – флексия презенса, т.е. наклонения с нейтральной модальностью и суффикс объективного имени действия, **-tu* – флексия 3 л. императива и суффикс "субъективного" имени действия (см. об именных суффиксах: [14]).

Далее, предложенное автором описание 2 л. как несубъективного конкретного объясняет не только модели 1, 2 vs. 3 л., 1 vs. 2 и 3 л., но и противопоставление 2-го л. остальным. Именно такая модель представлена в германском претерите, где 1 л. идентично 3-му (нем. *hatte – hattest*). Тезис же о флексии как показателе отсутствия субъекта, на наш взгляд, недостаточно обоснован. Скорее ∅ окончание, свойственное перфекту, способно образовывать безличные предикаты; в этой функции часто выступают именно стативные и пассивные формы [15]. В целом же, за исключением вышеуказанных спорных моментов, система глагольных флексий в реконструкции А. Эрхарта выглядит чрезвычайно логичной и убедительной.

В главе "Аспект и время" автор присоединяется к точке зрения, согласно которой категория времени развилась в индоевропейском глаголе позже, чем аспектальная (В пользу такого предположения свидетельствует то, что неличные и неиндикативные формы глагола в греческом имеют сугубо аспекти-

туальный характер: аорист – однократность, перфект – состояние в настоящем в результате действия в прошлом.). Автор по сути исходит из известного определения А. Мейе, согласно которому презенс – это основа, принимающая как "первичные", так и "вторичные" окончания, аорист – только "вторичные" [16]. Внедрение "первичных" окончаний в глагол и сформировало категорию времени.

Что же касается аспекта, то автор отмечает значительный разноречивый в описании этой категории и предлагает следующую систему ДП: компактность и "множественность" (ср. [17]), понимая под первой однократность под второй – многократность действия. Таким образом, несовершенный вид глагола – некомпактный, немножественный; совершенный – компактный, немножественный; итератив – множественный, не имеющий отношения к компактности. Такая система оказывается изоморфной системе чисел, в рамках которой противопоставлены единственное, множественное и нейтральное число (т.е. не единственное и не множественное). В соответствии с этим автор сопоставляет суффикс сигматического аориста *-s* с флексией номинатива как показателем единичности; аналогичная семантика приписывается и суффиксу *-i* как показателю пассивного аориста в древнеиндийском¹. Другой способ образования компактного аспекта – передвижение ударения на конец основы. Ср. греч. презенс *λεῖπω* – аорист *εἵλιπον*, др.-инд. *vēti – āvidati*. По мнению автора, высказанному в ранней публикации [20], перфективирующую функцию здесь несет не столько передвижение акцента, сколько выделяемый им суффикс-детерминатив. В доказательство этого положения автор приводит глаголы без детерминативов или с другими суффиксами: *λεῖπω*, др.-инд. *rinakti* – гот. *letan*, лит. *lièsti*; др.-инд. *yunakti* – *yauti* "связывать"; *bhinati* – слав. БИ-ТИ; к упомянутому *vēti – āvidati* существует параллель с другим детерминативом – авест. *vaenaiii*; объединение детерминативов из корня **vei-d/-n* – др.-инд. презенс *vindati* (сходную процедуру реконструкции см. в: [21]).

Образование же итеративов возможно

¹ По мнению С. Инслера, *-i* в аористе типа *ācṛāvi* "он был услышан" развился из *ḍ* как показателя инактивно-перфектной парадигмы [18]. Возможно также отождествление аористного пассивного *-i* с суффиксом др.-арм. пассивного аориста (*berim* "меня несли") и др.-инд. суффиксом пассивного презенса *-ya-* (*huyate* "его зовут"). Ср. литературу в [19].

двойное. Перфективные² корни могут приобретать различные аффиксы: либо редуплицироваться (др.-инд. *ādāt* – *dadāti*), либо осложняться назальным инфиксом др.-инд. *aśrot* "он услышал" – *śṛnoti* (греч. ὤρτο "он поднялся" — ὄρνυμι). Как показал еще Ф.Б.Й. Кёйпер, назальный инфикс есть собственно суффикс, к которому присоединяются другие [21]: NA + TA > NAT (7 класс санскритского глагола), NA + WA > -no/-ni- (5 класс санскритского глагола), NA + NA > > -nā/-nī- (9 класс). При этом именно назальный инфикс имеет строго презентное значение (все вышеперечисленные назализованные формы суть презенсы), и в аористе он выпадает. А. Эрхарт предложил для этого факта оригинальное и интересное объяснение: именно накопление суффиксов приводит к развитию в глаголе итеративного значения, которое затем в оппозиции к перфективному может ослабевать до имперфективного.

Другой способ образования итеративов – глаголы со ступенью *o* корневого вокализма и суффиксами: *-eio-* в восточном индоевропейском ареале, *-iīl-*, *-ā-* в западном. Ср. греч. φορέω "носить", повέω "заботиться"; лат. *dicare* "возглашать", *educare* "воспитывать", гот. *miton* "обсуждать", др.-в.-нем. *zogon* "двигать", лит. *ganai* "отгоняю", *variai* "поворачиваю", слав. ГОНИТИ, НОСИТИ³. Эти итеративы частично деградировали, т.е. превратились в имперфективы, частично перешли в каузативы. Формирование же собственно времени связано с внедрением во флексию элемента *-i*, придававшего форме актуальное значение.

Таким образом, А. Эрхарт исходит по сути из положения о немаркированности основы перфектива по сравнению с имперфективной. Однако есть факты, говорящие о том, что здесь были более сложные отношения. Прежде всего – наличие небольшого, но чрезвычайно архаического класса корневых атематических аористов в др.-инд. и греч. Презенс может образовываться путем присоединения к этим аористическим корням "первичных" окончаний: упоминавшимся аористам *ādāt*, *ādhāt* соответствуют и простые презенсы

dāti, *dhāti*. Тем самым вышеупомянутый тезис А. Мейе не может считаться полностью релевантным, по крайней мере для древнейшего состояния. Показатель актуальности (связанности с моментом речи) способен переводить глагольную форму не только из претерита в презенс, но и из аориста в не-аорист. Другой грамматический способ представлен в хеттском, где корневые глаголы упомянутого типа спрягаются по парадигме на *-hi*. В этом спряжении репрезентируются флексии индоевропейского перфекта [22–23], которые в данном случае имеют не столько стативное, сколько дуративное значение.

Два этих грамматических способа показывают, что в праиндоевропейском существовала привативная оппозиция аорист: презенс, причем немаркированным членом был аорист. Видимо, ему нельзя изначально приписывать перфективное значение. Его развитие было связано с внедрением в глагольную систему ряда аффиксов (и здесь можно согласиться с автором, полагающим, что сигматический суффикс *-s-* является показателем однократного действия). При этом многие аффиксы, как показал Ф. Кёйпер [21, с. 60] могли иметь не перфективирующую, а, напротив, дуративную или итеративную функцию. Изначальную не грамматическую, а лексическую функцию того же сигматического суффикса позволяло установить некоторые сигматические презенсы: др.-инд. *bhāvati* "становиться" – *bhūṣāti* "стремиться; украшать" (к тому же корню, по-видимому, относится русск. *быстрый* и *бушевать*: **bhū-s-ro-* и **bhū-sie-*). Трансформация глагольной системы привела к тому, что в центре системы встал презенс как немаркированная форма (непретеритальная, нефутуральная, немодальная); ряд аффиксов, варьировавших лексическое значение корня, приобрел аспектуальную функцию.

В описании глагольной диатезы автор использует с видоизменениями набор ДП, предложенный им в ранней работе [22]: прогрессивность (pg) – направленность действия из субъекта, регрессивность (rg) – направленность действия на субъект, трансгрессивность (tg) – наличие при предикате двух актантов – субъекта и объекта. Прогрессив – это активный залог, регрессив – пассивный, прогрессив-регрессив – медиальный, отсутствие обоих ДП – статив. Трансгрессивность отличает собственно медий от непрямого возвратного залога и реципрока (взаимного залога). Так, в предложении *Мальчик моется* нет трансгрессивности, так как субъект и объект выражены единым термом, а в предложениях *Мальчики моют друг друга* и *Мальчик моет себе руки* субъект не адек-

² Следует различать перфективы – глаголы с однократным значением – и перфекты – древние стативные формы глагола, развившиеся затем в результатив.

³ В латинских *dicare* и *educare* представлена не ступень *o*, а *Ø*. Ср. *dīco* < **deico* и *dūco* < **deuco*. Это показывает, что, как и у перфекта, у глаголов на **-a-* изначально *Ø* ступень, что открывает новые пути в реконструкции индоевропейских неагентивных глагольных форм.

вaten объекту, поэтому данные предложения трансгрессивны. Различаются же они благодаря ДП интровертности/экстравертности: непрямой медий интровертен, реципрок экстравертен. Отдельные ДП оказываются нерелевантны при определенных граммемах – трансгрессивность при активном залоге (так как в индоевропейских языках нет формального различия переходных и непереходных глаголов), интровертность при стативе.

Залоговые формы могут менять свое содержание: медий переходит в актив (депонентные глаголы в греческом, латыни, древнеиндийском, тохарских), в пассиве (ср. возвратные формы в славянских и скандинавских языках), пассив – в статив (пассивные причастия в немецком: *das Brief wird geschrieben* "письмо пишется" – пассив; *das Brief ist geschrieben* "письмо написано" – статив), статив – в пассив. Последнее означает, что исчезают специальные способы выражения стативной грамлемы. Основные же грамматические способы выражения залога следующие.

Актив: глагольные корни разных типов и времен с активными или медиальными окончаниями.

Медий: те же корни с медиальными окончаниями; активные глаголы с возвратными частицами.

Пассив: особые глагольные корни типа др.-инд. *diyáte* "дается", греч. *ἐδόθη* "он был дан" (аорист) с медиальными или активными окончаниями; иногда неотличим от медия.

Статив: особые корни с особыми аффиксами (перфектная серия), особый презенс (с долгим гласным или йотовым суффиксом) и активные или медиальные окончания.

Восходя от обрисованной выше картины залогов в зафиксированных языках, автор предлагает следующую праиндоевропейскую систему граммем (указаны 1, 2, 3 л. ед.ч., 3 л. мн.ч.; 1 и 2 л. мн.ч. сформировались позже): актив – *m, s, t, nt*; реципрок – *me/we(+s, m); telthe(+s, m)*; медий – *Ho, so, to, nto/o*. Флексии медия отличаются от актива только полной ступенью своего вокализма. Это обусловлено передвижением акцента, выступающего здесь как грамматический способ, образовавший самонаправленную функцию глагола [24–25]. Иной тип флексии обнаруживается у пассива, статива и непрямого рефлексива. Пассивные флексии, по мнению автора, суть те, которые приписаны перфекту: *Ha, iHa, e*; статив же характеризуется структурой корня *С°Сé* (окисителностью) и флексиями *H, Ø, Ø*. Иными словами, элемент **-e* в пассиве (= перфекте) присутствует в качестве флексии, а в стативе – в качестве элемента основы. Это – вывод чрезвычайной важности, к которому мы еще вернемся. Особая же серия флексий реф-

лексива, по мнению автора, появилась в результате контаминации активной и стативной серий: 1 л. ед.ч. **-Hem* отраженное в греч. *-μην* (дор. *-μιν*) – 1 л. ед.ч. медиального имперфекта и аориста; 2 о. *thēs* (др.-инд. 2 л. пассивного аориста *-thah*, греч. *-θης* – 2 л. пассивного аориста, из которого выделился формант *-θη⁴*). По аналогии автор восстанавливает 3 л. как *-ēt*. Такую флексию можно предположить в качестве прототипа греч. 3 л. пассивного аориста. Далее рассмотрены сочетания этих серий с различными вариантами корней (с полной и Ø ступенью, ступенью *o*, редупликацией и т.д.). Эти варианты корня и образуют три рассмотренных выше глагольных аспекта. Особо отмечается, что аористные корни (с активным формантом *-s* и пассивным *-i*) поначалу не имели личных окончаний. Представляется, что этот вывод хорошо согласуется с мнением Ю.С. Степанова о том, что неизменяемые сигматические глагольные формы со значением сверхкраткого действия (*kāls* "скок", *kils* "стук") суть древнейшие формы сигматического аориста. К этому же классу можно отнести некоторые сигматические неизменяемые глагольные формы типа лат. *fas* "божественное право", греч. *μῖξ* "вперемешку", *πύξ* "кулаком". Из этой реконструированной системы выводятся глагольные парадигмы древнеиндийского, древнеиранских и древнегреческого языков, чему посвящена следующая глава. В ней упор сделан на трансформацию окончаний. Интерес представляет идея автора о том, что окончания дуалиса восходят к реципрокальным: 1 л. **wes* – скр. дв. ч. – *-vah*, церк.-слав. *-Bѣ*; 2 л. **telthe-s* – скр. *-thah*, слав. *-TE*, греч. *-tov*, 3 л. **te-m* – скр. *-tam*, слав. *-TE*, греч. *-tov*.

В следующей главе ("Время и наклонение") автор подчеркивает, что в различных наклонениях различается желающий и действующий. В любой модальной форме можно обнаружить следующие оппозиции: желающий Я (-говорящий)/Иной; действующий Я/Иной. Исходя из этого, автор предлагает пятичленную оппозицию: *V₁* (Я-желающий, Я-действующий), суффикс *-H(e)s-* (дезидератив – древнеиндийский; также лат. футурум II); *V₂* (Я-желающий, Он-действующий); суффикс *-ieH/iH* (прооптатив), *V₃* (Иной-желающий, Я-действующий), суффикс *-(I)en(i)-* (так называемый Я-дебитив, прилагательные долженствования, др.-инд. прилагательные на

⁴ Иначе объясняет этот аорист П. Шантрен: аористный терминативный формант *=θ-* (*κίω* "двигаться" – *κίθον* "они бросились") + показатель пассива *-η* [26].

-*anya*-, лат. герундивы на *-nd*⁵, лит. — на *-ina*), V₄ (Иной-желающий, Он-делающий), суффикс *-tu* (3 л. императива), V₅ (Ты-делающий), суффикс Ø (2 л. императива). Ср. в этой связи мнение Е. Куриловича о том, что императив в 2 л. так же немаркирован, как и индикатив в 3 л., поэтому обе формы характеризуются нулевым аффиксом [29].

В дальнейшем система модусов оказалась связана с системой времен: в число ДП вошли такие, как реальность, претеритальность. Автор рассматривает историческое развитие соответствующих глагольных граммем. Выражением ДП претеритальности был аугмент, и только в более позднюю эпоху, в связи с развитием показателей презенса (элемента *-i*) он мог отпадать. Однако этот тезис, на наш взгляд, не вполне убедителен. Во-первых, аугмент не встречается нигде за пределами греко-индоирано-армянского ареала (составляющего диалектную общность и по многим другим изоглоссам); попытки выявить следы аугмента в других диалектах (албан. *hëngra* "он съел", лувийская частица *a-a* "вот") не могут быть признаны удачными. Во-вторых, следует отличать армянское отпадение аугмента от греко-индоиранского. В первом случае мы имеем дело с настоящей инновацией, обусловленной структурой слова: многосложные формы теряют аугмент (нечто похожее наблюдается и в новогреческом). Напротив, в микенском греческом отсутствие аугмента практически облигаторно, а сопоставление ведических и гомеровских аугментных и безаугментных (инъюнктивных) форм позволяет сделать вывод о том, что аугмент был изначально не столько претеритальной, сколько эмфатической частицей (подробнее см. [30]). В оппозиции к претеритальным формам инъюнктив приобрел значение ирреальности, в оппозиции презенсу (с постфиксом *-i*) — неактуальности. По мнению А. Эрхарта, эту функцию (неактуальность, нереальность) нес тематический аорист, который и стал предтечей конъюнктива. С нашей точки зрения, модальная функция

напрямую связана с теми значениями, которые придавало глаголу передвижение акцента на тематический гласный [31]. В сочетании с тематическими основами конъюнктивные суффиксы **-e/-o-* удлин timer.

В разделах, посвященных западным индоевропейским языкам (VII и VIII) отмечается существенная перестройка глагольной системы в этих языках: конъюнктив слился с оппозитивом и/или с футурумом, дезидератив превратился с субъюнктив и/или футурум, старый имперфект заменился новообразованиями (в итало-кельтском, славянском) или старым перфектом (в германских языках). Отметим новую этимологию германского дентального претерита и латинского имперфекта. Как известно, для первой категории предлагались три объяснения: 1) причастие на **-to* с личными окончаниями; 2) обобщенное 2 л. перфекта **-thās > da*; 3) вспомогательный глагол **dhē-* (последняя реконструкция основана на гот. 3 л. мн.ч. *habadedun*). Латинский имперфект считался соединением глагольной основы с вспомогательным глаголом *bhūā* "быть, стать". Автор же полагает, что обе формы восходят к архаическому претериту, в котором на стыке вокального ауслаута основы и суффикса произошло зияние, устраненное глайдом **-dh-*.

На наш взгляд, латинский имперфект здесь остался все же необъясненным. Дело в том, что и.-е. **dh* переходит в латинское *h* в строго определенных условиях (после *u, r*), тогда как суффикс имперфекта появляется после ауслаутов *-a-, -e-*. Старая этимология объясняет его более убедительно. Кроме того, большую роль в разрешении этого вопроса могут сыграть данные других италийских языков. Так, в оскском известен дентальный претерит: *dedikatted* = лат. *dedicavit* "посвятил", *prufatted* = лат. *probavit* "испытал". Дентальный претерит давно сравнивался с причастием на *-to* [32]; он, по-видимому, и является непосредственным аналогом слабого германского претерита.

Последняя глава (X) посвящена анатолийской глагольной системе. К ее архаизмам автор относит: окончание 1 л. ед.ч. *-h*, принцип накопления флексий грамматических значений (когда флексия без помощи суффиксов выражает и диатезу, и время), факультативность частицы *-r* в медиопассиве, оппозиция *nt/r* в 3 л. мн.ч. Инновации — исчезновение аспектуальной оппозиции, объединение аориста и перфекта в едином претерите, новые окончания претерита; распространение итеративов на *-ske-* и спряжения на *-hi*. Принцип накопления грамматических значений привел к инновации — исчезновению конъюнктива и

⁵ Любопытно, что исследуя модальную систему глагола, А. Эрхарт включил в свой обзор и прилагательные должностования. На наш взгляд, это доказывает ограниченность его установок рассматривать только личные глаголы. В действительности неличные формы сохраняют много формальных и семантических архаизмов, мимо которых исследователь не должен проходить. Именные же суффиксы сами по себе могут быть немодальны; модальное значение им придает передвижение акцента на ауслаут и тематизация. Ср. хеттские отглагольные имя на *-tar* и связанный с ним гетероклисей суффикс герундия *tanpa* [28].

оптатива⁶. В целом анатолийский глагол свидетельствует о раннем отделении аналогийской ветви от индоевропейского континуума, но не о правомочности "индо-хеттской" гипотезы.

Работа А. Эрхарта без преувеличения может быть названа выдающимся исследованием. Несмотря на спорность отдельных положений (отмеченных в нашей рецензии), строгий структурный метод реконструкции позволил автору сделать ряд ценных наблюдений и сформулировать свою концепцию глагола. Собранный и проанализированный автором материал не только подтверждает известную гипотезу о бинаризме индоевропейского глагола (где противопоставляется "примитив", или агентивные формы глагола, и статив), но и обрисовывает дальнейшее развитие системы, формирование новых парадигм на основе старых форм. Особое значение имеет реконструкция древней морфологической неформальной формы статива с ударением на вокальном ауслауте. Переразложившись, она стала основой перфекта, без переразложения – прототипом всех видов тематического спряжения, а также – конъюнктива. Очевидно, изначально имела место оппозиция двух форм: баритонной, немаркированной, и окситонной, указывавшей на внутренние состояния и потенции субъекта. Из нее развились, с одной стороны, стативные, неагентивные глагольные формы, с другой – модальные. В литературе неоднократно указывалось, что подобная форма была по сути отглагольным прилагательным [5, с. 56; 7, с. 48]. Аргументы в пользу именно такого толкования могут быть найдены в литовском, где стативные глаголы и наречные формы (восходящие к ср. роду прилагательных) весьма близки морфологически (Ø аффикс), семантически (состояние), в управлении (образуют безличные конструкции). Ср. *šiai dien šalta* "сегодня морозит" (глагол) и *šiai dien šalta* "сегодня холодно" (прилагательное). Вместе с тем К. Уоткинс с полным основанием объявляет рассматриваемую форму первичной глагольной [7, с. 47]. Как показывает изучение корневых глагольных имен, именно окситонность вводит в словоформу идею изменения во времени. Такие имена, как греч. *σκολός* "стражник, цель", *ἀμοιβός* "сменяющийся", др.-инд. *bhojá* "щедрый", *yodhá* "боец; сражающийся" обозначают временные признаки предмета. Дальнейшее изучение этих проблем приводит к

отвержению априорных, заимствованных из синхронной типологии схем и позволяет правильно понять истоки и развитие индоевропейской глагольной системы. Ценность рецензируемой книги – непреходяща.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brugmann K Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen; Bd. II, H. 2. Strassburg, 1893.
2. Ельмслев Л Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I, М., 1960.
3. Якобсон Р О К общему учению о падеже // Якобсон Р.О. Избранные работы. М., 1985.
4. Jakobson R Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // TCLP. 1936. V. VII.
5. Kurylowicz J L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
6. Фортунатов Ф Ф Избранные труды. М., 1956. Т. I.
7. Watkins C Indogermanische Grammatik. Bd. III: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.
8. Erhart A Studien zur protoindoeuropäischen Morphologie. Bmo, 1970.
9. Герценберг Л Г Вопросы реконструкции индоевропейской просодии. Л., 1981.
10. Красухин К Г К вопросу о системе личных показателей индоевропейского глагола // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9 "Филология", 1986, № 6
11. Гамкрелидзе Т В, Иванов Вяч Вс Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси, 1984.
12. Бадер Ф Флексии сигматического аориста // НЗЛ. XXI. М., 1989.
13. Бомхард А Р Развитие личных показателей атематического глагола в праиндоевропейском // ВЯ, 1993, № 4.
14. Benveniste E Noms d'agent et noms d'action P., 1948.
15. Rosén H Uterum dolet und Verwandtes Zu einen übersehenen frühlateinischen Zeugnissen impersonaler oder intransitiver Verbal konstruktion // East and West. Selected writings in linguistics by H.B. Rosén. I, General and Indo-European linguistics. I. München, 1982.
16. Meillet A Remarques sur les desinences verbales de l'indoeuropéen // BSLP, 1922. V. 23, f. 1.
17. Dressler W U Studien zur verbalen Pluralität. Wien, 1968.
18. Insler S Origin of Sanscrit Passive Aorist // IF, 1968, Bd. 73.
19. Серебrenников Б А Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
20. Erhart A Der indoeuropäische Akzent und seine Funktionen // Sbornik prací filosofické fakulty Brnenské university, 1975, A 22–23.

⁶ Следы индоевропейского тематизирующего конъюнктива сохранились в 1 л. ед.ч. хеттского императива: *ašalli* "я бы был", ср. вед. *asat* "то же", лат. *ego* < **eso* "я буду".

- 21 Kuiper F B J Die indogermanische Nasalpräsentia Amsterdam, 1937
- 22 Erhart A Zur Entwicklung der Verbaldiathese im Indoeuropäischen // SPFFBU, 1981, A 29
- 23 Stang Ch Perfektum und Medium // NTS, 1932, V 6
- 24 Kurlowicz J Les désinences moyennes de l'indoeuropéen et du hitite // BSLP, 1932, V 33, fasc 1
- 25 Красухин К Г К вопросу о соотношении индоевропейского активного и среднего залога // ВЯ 1987 № 6
- 26 Chantraine P Les verbes grecques en-ῥω // Mélanges J Vendryès P 1925
- 27 Степанов Ю С Индоевропейское предложение М, 1989
- 28 Красухин К Г К вопросу о происхождении латинских герундиев-герундивов и соотношении их с другими отглагольными наречиями // ВЯ, 1992, № 5
- 29 Kurlowicz J The inflectional categories of Indo-European Heidelberg, 1964
- 30 Красухин К Г Дейктические элементы в категориях времени и наклонении (на материале древних индоевропейских языков) // Человеческий фактор в языке Коммуникация Модальность, Дейксис М, 1992
- 31 Красухин К Г Значение оппозиции тематических и атематических глагольных основ для индоевропейской реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры М, 1989
- 32 Buck C D A Grammar of Oscan and Umbrian Chicago, 1903
- 33 Schwyzer E Griechische Grammatik Munchen 1939 Bd I

К Г Красухин

Анна А. Зализняк. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. Verlag Otto Sagner Munchen 1992, 201 S

Проблема описания слов, выражающих человеческие эмоции и ментальные состояния (в терминологии Анны А Зализняк, "предикатов внутреннего состояния"), стара как сама семантика и, как всякая классическая проблема, встает перед каждым новым поколением лингвистов, все еще далекая от окончательного разрешения. Анне А Зализняк удалось найти собственный подход к этой вечной теме, оставаясь в то же время в рамках семантической традиции, восходящей к работам А Вежбицкой и Московской семантической школы. Чтобы определить место предложенного автором подхода полезно в самых общих чертах вспомнить, в каком направлении развивалась лингвистическая семантика в последние десятилетия.

На первоначальных этапах развития семантики значение слова представлялось в виде неупорядоченного набора семантических элементов. Затем было обнаружено, что эти элементы не образуют простую совокупность, а складываются в структуру, в которой каждый из них занимает определенное положение. Следующий шаг состоял в выделении разных частей такой структуры – появились презумптивные и ассертивные компоненты значения, которые, в свою очередь, впоследствии оказались разных типов. Тенденция очевидна: идет все большее усложнение семантического описания, все более детальная дифференциация типов значения.

Одно из направлений развития этой тенденции, нашедшее наиболее полное отраже-

ние в работах Ю Д Апресяна (см, например, [1–3]), привело к появлению двух взаимосвязанных понятий – лексикографического портрета и лексикографического типа. Лексикографический портрет – это такое описание слова, при котором все его свойства представлены во всем богатстве и многообразии. В частности, толкование слова должно в идеале давать исчерпывающее представление обо всех тонкостях его значения. Понятие лексикографического типа, напротив, призвано отразить нетривиальные, лингвистически интересные общие свойства различных лексем, будь то тождественный компонент толкования, близкое синтаксическое поведение, одинаковая просодическая характеристика или что-либо еще. Эти два понятия в совокупности дают возможность, с одной стороны, зафиксировать все лингвистически существенные сходства между словами, а с другой стороны, в полном объеме отдать должное своеобразие каждой отдельной лексемы.

Анне А Зализняк ближе первый из этих аспектов. Она сознательно отказалась от полноты представления лексического значения и стремится строить свое описание главным образом из тех семантических компонентов, которые релевантны для многих слов данного лексического класса. В этом отношении она продолжает линию, начатую в англо-русском словаре синонимов [4], где провозглашается и проводится принцип описания близких по смыслу слов в терминах общего набора семантических признаков. Из

современных лексикографических проектов, в которых пристальное внимание уделяется сквозным семантическим признакам, можно отметить такие разные работы, как новый толковый словарь синонимов русского языка, составляемый под руководством Ю.Д. Апресяна [5], и семантический словарь, разрабатываемый Е.В. Падучевой и ее сотрудниками [6].

Результат применения этого подхода оказался неожиданным (не удивлюсь, если и для самой Анны А. Зализняка). Выяснилось, прежде всего, что значения таких семантически нетривиальных слов, как предикаты внутреннего состояния, покрываются выделенными ей сквозными компонентами с весьма хорошей полнотой. Во-вторых, обнаружилось, что обширный класс предикатов, связанных с довольно разнообразными внутренними состояниями, можно представить с помощью очень небольшого числа повторяющихся семантических компонентов. Такое описание оказалось не только весьма компактным, но и обладающим значительной объяснительной силой. Повторяющиеся семантические компоненты позволяют предсказать большое число свойств слова, относящихся к очень разным аспектам его поведения. Перечислим несколько из таких предсказаний.

Если в толковании слова есть компонент "говорящий знает, что Р", то можно гарантировать, что у этого слова есть фактивная презумпция. Наличие компонента "мнение" (т.е., 'Х считает, что...') определяет то, каким образом слово семантически взаимодействует с некоторыми операторами, в частности, с наречием *напрасно*: одно из значений этого наречия "нацелено" именно на компонент мнения и поэтому сочетается только с такими глаголами, у которых этот компонент имеется (*Напрасно думают, что романы могут быть вредны для сердца* = 'мнение о том, что романы могут быть вредны для сердца, ложно'). Если же в значении слова присутствует ментальный компонент типа 'Х считает, что...' или 'Х знает, что...', то тем самым обеспечивается управление придаточным союзом *что*. Простое наличие в толковании элемента 'возможно' (в отличие от 'вероятно') блокирует применение к данному слову трансформации "подъем отрицания" (так, предложение *Я думаю, что дождя не будет* практически синонимично предложению *Я не думаю, что дождь будет*, в то время как *Я уверен, что дождя не будет* значит совсем не то, что *Я не уверен, что дождь будет*).

Опора на повторяющиеся семантические признаки обеспечивает системный подход к лексике и облегчает сопоставление близких

по смыслу слов (например, *бояться*, *пугаться*, *опасаться*, *страшиться* и т.п.) и разных значений одного слова (ср., например, такое многозначное слово, как *бояться*: *Она боится¹ тебя ударить* vs. *Я боялся² ее огорчить* vs. *Он боится³, что его не понимают* vs. *Он боится⁴ перемен*).

Более того. Выделение крупных повторяющихся компонентов значения, как известно, позволяет построить соизмеримые описания одного и того же круга слов из разных языков. Анна А. Зализняк блестяще продемонстрировала это, привлекая к анализу данные как русского, так и французского языков. Здесь автора подстерегала серьезная опасность. Хорошо известно, что описание неродного языка через призму родного может принести больше вреда, чем пользы, навязывая неродному языку несвойственные ему черты. Особенно легко впасть в этот грех, когда речь идет о такой трудноуловимой материи, как лексическое значение, и когда оно прослеживается на такую глубину, до которой доходит в своей работе Анна А. Зализняк. Исследователь, для которого описываемый язык не является родным, невольно склонен "вчитывать" в него те противопоставления, с которыми он сталкивается в родном языке, и одновременно подвергается опасности упустить такие особенности языка-объекта, для которых нет аналога в языке-источнике. Однако если обращаться с неродным языком вдумчиво и тактично, постоянно проверяя себя добротным языковым материалом, можно добиться надежных результатов, как это наглядно показывает рецензируемая книга. В данном случае дело облегчается еще и тем, что анализируемая Анной А. Зализняк лексика описывает своего рода константы человеческой психики, а это дает основания рассчитывать на высокую степень универсальности соответствующих понятий (таких, как страх, надежда, сожаление и т.п.) и тем самым на соизмеримость их семантических воплощений в разных языках. Впрочем, универсальность подобных понятий не следует и преувеличивать. Как показал Ю.Д. Апресян [7], даже такие близкие по смыслу слова, как русское *хотеть* и английское *want* совпадают не полностью: в первом из них ошутим компонент воли, в то время как во втором присутствует идея потребности.

Описание лексического значения в терминах небольшого числа исходных семантических компонентов предъявляет особые требования как к принципам описания, так и к выбору и обоснованию самих этих компонентов. Эта задача решается в первых двух главах книги.

В главе I, посвященной общим проблемам анализа предикатов внутреннего состояния, мне хотелось бы выделить одну тему, представляющую интерес, выходящий далеко за рамки предикатов внутреннего состояния. Выше уже упоминалось об идущем в лингвистике процессе дифференциации статусов, которые может иметь некоторый семантический компонент в составе толкования слова (ср., например, ассертивный и презумптивный статус). В этой связи необходимо отметить введение и последовательное использование Анной А. Зализняк важного теоретического понятия – "неустойчивый семантический признак".

Понятие неустойчивого семантического признака возникает при наблюдении над тем, что происходит, когда слово, содержащее некоторый семантический компонент F, попадает в контекст, несущий противоположное значение – не –F. Как известно [8], в подобных случаях обычно возникает семантическая дефектность того или иного типа – от противоречия или бессмыслицы, уместающей в рамках норм языка (типа *Река течет в гору*), до языковой аномалии (типа **Даже Иван-то придет вовремя*). Бывают, однако, ситуации, когда противоречие между семантическими признаками каким-то образом снимается, и предложение остается абсолютно корректным. Анна А. Зализняк выделяет три механизма восстановления языковой правильности в подобных ситуациях.

Главный из них состоит в том, что семантический признак может быть неустойчивым, т.е., попадая в противоречащий ему контекст, он легко исчезает. Предикаты внутреннего состояния предоставляют много примеров неустойчивых семантических признаков. Такова, в частности, положительная оценка пропозитивного объекта у глагола *ждать*. Слово, само по себе не несущее никакой оценки, оказавшись в позиции дополнения при *ждать*, приобретает оценку "плюс": *Он все еще чего-то ждет* 'ждет чего-то хорошего'. Между тем в контексте с явно выраженной отрицательной оценкой объекта это свойство глагола *ждать* легко подавляется: *Жди беды*.

Интересно заметить в этой связи, что неустойчивые признаки могут не только подавляться, но и, наоборот, актуализироваться, создавая широкие возможности для языковой игры. Например, выражение *проходить мимо Р* подразумевает, что субъект не заходит в Р. Однако вполне можно сказать: *Идя с работы, я прохожу мимо булочной и всегда в нее заглядываю*, т.е. признак 'не

заходя в Р' может сниматься. (Отметим, кстати, что это происходит только в несовершенном виде. Предложение **Я прошел мимо булочной и заглянул в нее* неправильно.) С другой стороны, этот признак может быть высвечен и помещен в фокус сообщения. Есть старая английская шутка о том, как некий управляющий отправляет мальчика-посыльного со срочным поручением и дает ему такое напутствие: *On the way, you will pass the park. – Yes, sir. – Well, pass it.* 'По дороге ты будешь проходить мимо парка. Так вот, пройди мимо'.

Устранение неустойчивого семантического компонента – лишь один из способов снятия конфликта между противоречащими смыслами. Автор указывает еще два – переосмысление противоречащего признака и изменения под воздействием признака в семантической структуре элементов контекста.

Правда, примеры, приводимые автором на первую из этих стратегий, не кажутся мне убедительными. Интерпретация сочетаний типа *Надеюсь на поражение* (с. 27) как будто не нуждается ни в каком переосмыслении признака оценки. Просто противоречащие оценки приписаны разным субъектам: то, что, вообще говоря, оценивается людьми со знаком минус, в данных обстоятельствах оценивается говорящим со знаком плюс. Что касается последнего из упомянутых механизмов – трансформации значения контекста под влиянием данного признака – то тут автор находит очень изысканный пример с наречием *нарочно*, которое в норме сочетается с контролируруемыми действиями (признак "+контроль"), но возможно и с неконтролируемыми ("–контроль"). В этом случае в значение предложения "вчитывается" какое-то контролируемое действие, не упомянутое эксплицитно: *Она нарочно уронила платок* 'Она бросила ("контроль") платок, но так, чтобы казалось, что уронила ("–контроль")'.

Понятие контроля – еще одно теоретически важное понятие, которое Анна А. Зализняк удалось сделать логически более прозрачным. Автор дает ясное определение контроля, которое достойно того, чтобы его выписать: "про человека X можно сказать, что он контролирует ситуацию Р (или что ситуация Р является контролируемой для X – а), если X является в Р субъектом намеренного действия, результат которого совпадает с объектом намерения и рассматривается как однозначно определяемый предшествующим действием" (с. 64). Многочисленные трудности, связанные с применением понятия контроля на практике, сни-

маются благодаря тому, что предлагается строго различать контролируемость в жизни и в языке (ср. формулировку "рассматривается как" в определении).

В жизни, т.е. на уровне денотатов, контролируемость ситуации – понятие градуальное, и практически полностью контролируемых ситуаций в жизни не бывает: любое, даже самое элементарное действие может, как всем известно, неожиданно натолкнуться на непреодолимую преграду. Что касается языка, т.е. уровня концептов, то здесь выделяется лишь два полярных случая: "+контроль" – ситуация, рассматриваемая как полностью определяемая намерениями субъекта, и "–контроль" – ситуация, рассматриваемая как не полностью определяемая (или вовсе не определяемая) намерениями субъекта. Существование, что это разбиение в значительной мере носит конвенциональный характер. Так, выражение *поступить в институт* трактуется языком как контролируемое, а выражение *попасть в институт* – как неконтролируемое, хотя в обоих случаях может иметься в виду одно и то же событие.

Для обоснования правомерности введения в инвентарь лингвистических понятий некоторого понятия, в данном случае – понятия контроля, необходимо показать, что оно лингвистически значимо. Иначе говоря, следует убедиться в том, что существуют языковые правила, чувствительные к данному понятию. Иногда говорят, что целесообразность введения признака "контроль" подтверждается некорректностью сочетаний глаголов, обозначающих неконтролируемые ситуации, например, с целевыми обстоятельствами (**он очутился там, чтобы нас встретить*). Однако подобные аргументы нельзя считать убедительными. Достаточно признать, что значение слова *очутиться* содержит компонент типа 'не в результате намеренного действия' (компонент, который должен быть включен в толкование даже при наличии признака "–контроль"), а этот компонент противоречит значению цели.

Более серьезными являются аргументы, демонстрирующие ограничения, не мотивированные лексическим значением столь прямо. Анна А. Зализняк указывает на несколько таких ограничений. Например, у ряда глаголов контролируемая ситуация может быть описана формой как несовершенного, так и совершенного вида, а неконтролируемая – только формой совершенного вида: *Я боюсь у него об этом спрашивать/спросить* (подчиненная предикация описывает контролируемую ситуацию) vs. *Я боюсь разбить /*разбивать чашку* (подчиненная ситуация

неконтролируема и поэтому не может быть оформлена несовершенным видом).

Отметим одну легкую непоследовательность в трактовке понятия контроля в разных разделах книги. В предложении *Я нечаянно выбросил нужные бумаги* (с. 27) противоречие между признаками "–контроль" в наречии и "+контроль" в глаголе разрешается за счет того, что глагол выводится из сферы действия наречия *нечаянно* и тем самым оказывается вне зоны конфликта. Между тем, ниже, подробно характеризуя понятие контроля, автор отмечает, что признак "+контроль" всегда неустойчивый, то есть может подавляться противоречащим контекстом (с. 66). Зачем же тогда нужно постулировать выход глагола из сферы действия наречия?

Вторая глава книги подробно характеризует компоненты семантической структуры предикатов внутреннего состояния, главные из которых – эпистемический и оценочный. В этой связи нужно отметить, что автору удалось внести новую порцию ясности в извечный спор о соотношении знания и мнения. Решение, предлагаемое Анной А. Зализняк и подкрепляемое серьезными аргументами, состоит в том, что знание следует считать неразложимым семантическим понятием наряду с полаганием.

Интересные наблюдения делаются и над синтаксическим поведением соответствующих глаголов. Например, глаголы *знать* и *считать* различаются способом местоименной замены подчиненной предикации. При *знать* подчиненная предикация может заменяться местоимением *это*, а при *считать* – местоимением *так*, но не наоборот: *Я это знаю* vs. *Я так считаю*. Выражение *Я так и знал*, внешне противоречащее этому утверждению, в действительности представляет собой идиоматичный способ выдавания мнения за знание (и этим отличается от *Я это знал*).

Итак, если говорящий имел мнение и оно подтвердилось, то вместо *думал* можно сказать *знал*. Интересно, что здесь имеется красивая симметрия: если говорящий имел знание, которое позже оказалось ложным, то вместо *знал* следует употребить глагол мнения. Так, предложение *Я думал, что он был в театре* не обязательно свидетельствует о том, что говорящий имел мнение. Оно может описывать и такую ситуацию, когда говорящий оценивал свое эпистемическое состояние как знание [9].

Третья глава занимает в книге центральное место. В ней дается подробное и систематическое описание нескольких классов предикатов внутреннего состояния, группирую-

щихся вокруг понятий 'бояться', 'надеяться', 'ждать', 'сожалеть' и 'подозревать'. Описание выполнено по следующей схеме. Предлагается схема соответствующей прототипической ситуации в терминах релевантных для нее семантических компонентов. Затем показывается, каким образом эта прототипическая ситуация преломляется в конкретной лексике. Различия между конкретными словами, покрывающими одну и ту же прототипическую ситуацию, могут касаться как самого набора (факультативных) семантических компонентов, так и их статуса в толковании. В разных словах (или в разных значениях одного слова) на первый план могут выходить разные семантические компоненты. Например, различие между *бояться*² (например, *боюсь шума*) и *бояться*³ (*боюсь отказа*) состоит в том, каким образом распределены по ассерции и презумпции компоненты 'Р вероятно' и 'Р плохо'. В *бояться*² первый компонент является презумптивным, а второй ассертивным, в то время как для *бояться*³ распределение обратное. Иначе говоря, *бояться*² приблизительно означает 'осуществление вероятного события Р плохо', а *бояться*³ – 'осуществление плохого события Р вероятно'.

Выскажу некоторые сомнения, возникшие у меня при чтении описания значения 'ждать 1' (*Я буду ждать тебя в 7 часов у входа в кинотеатр*) – основного значения в группе 'ждать'. Прежде всего, трудно согласиться с формулировкой ассертивного компонента значения 'ждать 1' – 'Х находится в промежутке времени $t_0 - t_1$ ' (то есть, в промежутке от начала ожидания до наступления ожидаемого события). Сама идея нахождения лица в некотором промежутке времени кажется семантически некорректной. Кроме того, неясно, как интерпретировать отрицание такого ассертивного компонента, например, в предложении *Я не буду ждать, пока ты соберешься вымыть посуду*. В этом предложении утверждение говорящего состоит, очевидно, не в том, что он не будет находиться в данном промежутке времени, а скорее в том, что он вымоет посуду сам. Состояние ожидания, как кажется, связано не только с тем, что субъект считает наступление события Р возможным и не может его контролировать, но и о т к а з ы в а е т с я от каких-то действий, пока это событие не произойдет. Чаще всего речь идет о неподкидании того места, где он находится в момент ожидания *буду ждать тебя у входа* значит 'не уйду, пока ты не придешь'.

С этим же связано и второе мелкое за-

мечание. На стр. 107 для иллюстрации случая, когда местонахождение ожидающего субъекта не совпадает с локализацией ожидаемой ситуации, приводится пример *Я подожду тебя на улице*. Мне кажется, что если дополнение *ждать* выражено именной группой, то ожидаемое событие (в данном случае, приход адресата) локализуется в том же месте, где находится ожидающий. Примером на несовпадение этих двух локализаций может служить предложение, где дополнение выражено иначе *Я подожду на улице пока ты кончишь работать*.

Очень существенно и для концепции автора весьма принципиально, что отдельные значения слов всегда рассматриваются на фоне более общей прототипической ситуации. Благодаря этому автору всегда удастся сохранить наглядность и соразмерность описания, не потеряться в деталях и во многих случаях найти убедительное инвариантное значение.

Можно еще долго бродить по книге Анны Андреевны, отмечая тонкие наблюдения, восхищаясь примерами и превосходным языком, которым написана сама книга. Однако лучше предоставить это сделать самому читателю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Апресян Ю.Д. Лексикографический портрет глагола *выйти* // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М. 1990.
- 2 Апресян Ю.Д. Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*) // Научно-техническая информация, 1992. серия 2. № 3.
- 3 Апресян Ю.Д. Синонимия ментальных предикатов. Группа *считать* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М. 1993.
- 4 Апресян Ю.Д. Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь. М. 1979.
- 5 Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М. 1994.
- 6 Paducheva E.V., Rakhilina E.V., Filipenko M.V. Semantic dictionary viewed as a lexical database // Proceedings of the Fifteenth International Conference on computational linguistics (COLING-92). Nantes. 1992.
- 7 Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // ИАН СЛЯ. 1994. № 4.
- 8 Апресян Ю.Д. Языковая аномалия и логическое противоречие // Text. Język. Poetyka, Wrocław. 1978.
- 9 Дмитриевская М.А. Глаголы знания и мнения (значение и употребление). Дис. канд. филол. наук. М., 1985.

И.М. Богуславский

Одной из актуальных задач дериватологии на современном этапе ее развития является создание объяснительного описания словообразовательной системы русского языка, в котором бы исследовалось соотношение и взаимодействие фактов истории языка и его современного состояния, выявлялись все причины и условия происходящих изменений, их механизм [1]. Очевидно, что такое описание словообразовательной системы русского языка может быть создано только путем обобщения результатов описаний словообразовательных типов в рамках семантико-словообразовательных категорий, где была бы представлена исчерпывающая характеристика факторов развития анализируемых элементов, тех процессов и отношений, в которые они вовлечены. Основной предпосылкой создания описаний эволюции словообразовательных единиц является наличие исследований по исторической грамматике и лексикологии, в которых бы содержался материал письменных памятников различных жанров и тематики, относящихся ко всем периодам истории русского языка. В последние десятилетия появились исследования такого характера. Это "Очерки по исторической грамматике русского языка XIX века", "История лексики русского языка конца XVII – начала XIX века", "Лексика русского языка XIX – начала XX века", "Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века", "Лексические новообразования в русском языке XVIII века", книга Ю.С. Сорокина "Развитие словарного состава русского языка в 30–90 гг. XIX в." и др.

Особое место среди работ по исторической лексикологии и историческому словообразованию занимают монографии Г. Елитте, посвященные истории абстрактных существительных русского языка XI–XX вв. [2–7]. Рассматриваемая в данной рецензии книга, представляет собой седьмой том исследований абстрактных существительных русского языка. Предшествующие шесть томов опубликованы с 1982 по 1991 г. в IV, VI, VIII, IX, XII и XV выпусках серии "Beiträge zur Slavistik" (издатель Г. Елитте, издательство "Peter Lang"). В первом из опубликованных томов (состоящем из двух частей) содержится словарь абстрактных существительных древнерусского языка и его анализ. Остальные тома (за исключением рецензируемого) представляют собой словари абстрактных существительных, возникших, по материалам автора, в ту эпоху, которой посвящен каждый из томов.

В рецензируемой книге анализируются новообразования XVIII – нач. XIX в., т.е. того лексического состава абстрактных существительных русского языка, которые представлены в [3].

Книга состоит из трех глав, библиографии и словоуказателя. В первой главе ("Русские nomina abstracta XVIII – начала XIX в. как объект исследования") дается обзор литературы, посвященной исследуемому материалу. Автор справедливо полагает, что "до сих пор отсутствует такой анализ, который бы учитывал как структурные факторы, так и историко-лексикологические, и который бы сравнивал описываемую словообразовательную систему с предыдущей" (с. 21). Такое положение объективно объясняется отсутствием полных исторических словарей древнерусского и старорусского языка и невозможностью в этой связи достаточно достоверно описывать словообразовательные системы XI–XIV вв. и XV–XVII вв.

Характеризуя в общих чертах новообразования XVIII в., Г. Елитте связывает их рост с происходившими в это время жанровыми и стилистическими преобразованиями, формированием научной терминологии, широко развернувшейся в XVIII в. переводческой деятельностью, в процессе которой возникали новые слова для передачи новых для русского читателя реалий. Автор книги отмечает, что существенной причиной активизации словопроизводства в анализируемый период явилось проникновение в русский язык большого количества заимствований: появление значительного числа русских эквивалентов связано в XVIII в. с потребностью передать средствами русского языка значения иноязычных слов.

Во второй главе ("Словообразовательный анализ") дается характеристика основных понятий и терминов, употребляемых автором, излагается методика деривационного и структурного анализа, рассматриваются статически-синхронные словообразовательные отношения nomina abstracta, описываются существующие в данный период типа и модели имен на *-ство*, *-ость/-есть*, *-изна*, *-ина*, *-отал-ета*, *-щина*, *-ность*, *-ствие*, *-ыня*, *-ба*, *-да*, *-знь*.

Характеризуя словообразование как систему, содержащую в равной степени динамично-диахронические и статически-синхронные элементы (с. 53), Г. Елитте соотносит каждое анализируемое им слово с однокоренным словом, которое он называет

производящим или мотивирующим, не ставя вопроса о возможном несовпадении производящего и мотивирующего слов. Интерпретации некоторых слов, например, *кротость* < *кроток*», показывает, что в этом случае автор приводит мотивирующее, а не производящее (*кроть* – др.-русск.). Это вполне возможно в рамках анализируемого синхронного среза, но автор не пояснил свою позицию по вопросу о соотношении производности и мотивированности, не разграничил термины, обозначающие данные явления.

Анализируя с точки зрения синхронной производности понятия базиса и форманта, их отношения, Г. Елитте поясняет, что решающее значение отводится им вопросу о грамматической форме, т.е. о морфологической категории и связанной с этим грамматической самостоятельности/несамостоятельности базиса. По мнению автора, в отдельных случаях (слова типа *присутствие*, имеющие связанные корни) базис оказывается несамостоятельной формой, которая не обладает грамматической категорией (ср.: базис – самостоятельная форма: *вдова* > *вдовство*). Однако критерии разграничения самостоятельных и несамостоятельных базисов не совсем ясны. Так, к числу несамостоятельных базисов относятся базис *куп-* в производном слове *единокушество*, базис *болѣзн-* в *безболѣзность*, базис *дар-* в *противодарство* (с. 55, 56), хотя эти базисы употребляются и в свободном виде.

Автором выделяются регрессивные (*кротость* < *кроткий*) и нерегрессивные (*покорность* < *покорный*) базисы. При этом под регрессивностью понимается деструктуризация (усечение) определенного суффиксального элемента, обусловленная в основном экономией языковых средств и никак не отражающаяся на семантическом содержании производящего слова. Устанавливается, что деструктуризации, как правило, подлежат базисы с суффиксальными элементами -к- (*кроткий* > *кротость*), -н- (*сродный* > *сродство*), -ск- (*мотовство* > *мотовской*), -а- (*воровать* > *воровство*).

Несомненным достоинством монографии Г. Елитте является признание множественности мотивации и производности. В работах по историческому словообразованию это явление учитывалось недостаточно. Как отмечает автор рецензируемой книги, многие образования оказываются нередко многозначными деривационными формами, т.е. особенности их структуры и семантики позволяют считать эти слова полимотивированными (например: *укрывательство* < ук-

рывать или *укрывательский*, *вольнодумство* < *вольнодумец* или *вольнодумный*). По мнению Г. Елитте, в качестве мотивирующих (производящих) необходимо указывать только те слова, которые обнаружены в исследованных памятниках данного периода; автор отказывается от реконструкции потенциально мотивирующих – и это, безусловно, оправданно. Однако в некоторых случаях в качестве мотивирующих могли бы быть приведены слова, имеющиеся в источниках XVIII в., например: *столярный* [8], а не только *столяр* для *столярство*; *ломать голову*, а не только *головоломъ*, *головоломный* для *головоломство*; *озлобить*, а не только *озлобительный*, *озлобитель* для *озлобительство* и др.

Г. Елитте выделяет два типа деривационных процессов – линейные и нелинейные. При линейных процессах происходит присоединение формантов к базису (речь идет, как видно из приводимых автором примеров, о суффиксации), ср.: *духъ* + *ота* > *духота*, *тать* + *ство* > *татьство*).

Нелинейные процессы характеризуются протезом формантов (имеется в виду присоединение префиксов и соединение компонентов в сложные слова): а) *пре* + *празднество* > *препразднество*; б) *мало* + *прозрачность* > *малопрозрачность*.

Совмещение линейных и нелинейных процессов в пределах одного производного слова Г. Елитте не описывается, несмотря на наличие в русском литературном языке XVIII в. композитов типа *головоломство*, образованных сложосуффиксальным способом (причины, по которым автор отказывается от такого рода описания, не указаны).

Детально анализируется Г. Елитте соотношение суффиксальных формантов, продуктивных в русском языке XVIII – нач. XIX в., в частности -ство и -ость, -ствие, -ина, -ота/-ета, сравнивается количество новообразований с этими формантами в XVIII – нач. XIX в. с количеством одноструктурных слов, появившихся в древнерусский период. В рецензируемой книге убедительно показывается, что в новое время в области абстрактных существительных имеет место сложившееся уже в древнерусском языке соотношение между суффиксами (в терминологии автора – суффиксальными категориями) и частями речи производящих слов. Так, суффиксы -ота/-ета, -ство, -ствие соединяются с основами прилагательных, существительных и глаголов (*тощета*, *духота*, *чихота*; *хорошество*, *скражество*, *забивство*; *благоумствие*, *рабочество*, *продовольствие*). Суффикс же -изна соче-

тается только с основами прилагательных (*голубизна, драговизна*) и т.д.

Сравнивая функции формантов различного типа, Г. Елитте подчеркивает при этом, что в области значения суффиксу присуща синсемантическая функция: он влияет на значение деривата и вводит его в определенный понятийный класс (конкретных, абстрактных, одушевленных существительных), а также и в определенную семантическую категорию ("вещественность", "предметность", "явление", "свойство", "состояние", "действие" и др., например, "принадлежность к определенному религиозному направлению": *магометанин > магометанство*).

Форманты, выполняющие функцию протез (префиксы, отрицательные и составные элементы), хотя и не оказывают влияния на грамматическую форму базиса, способствуют его четкой семантической модификации (термин "семантическая модификация" используется Г. Елитте иначе, чем это принято в работах чешских и российских дериватологов: так автор обозначает любое изменение семантики производного слова по сравнению с производящим).

Заметим, что далее, при описании модификационных дериватов, остается непонятным, чем они отличаются от мутационных (этот термин тоже используется автором), поскольку в одном ряду рассматриваются слова типа *генеральство* "генералы" и слова типа *консульство* "обязанности консула" и "учреждение" (с. 73–74).

Неясной остается и сущность транспозиционных отношений, так как в одну группу включаются пары типа *густой – густота* и пары *духъ – духота* (в последнем случае не происходит изменения категориального значения производного слова по сравнению со значением производящего).

Не совсем понятны различия и между выделяемыми Г. Елитте *Kategorien des Merkmals*. Так, к категории *Eigenschaft* отнесены существительные типа *дурнота, взаимность, дичество* и под., а к категории *Besonderheit* (*Eigenart, Beschaffenheit*) – семантически аналогичные *густота, знатность, надобство* и др. (с. 72–73). Вероятно, следовало бы специально оговорить критерии, которые кладутся в основу классификации семантических категорий.

Вторая глава книги завершается краткой характеристикой словообразовательных типов и моделей, по которым образуются *nomina abstracta* в XVIII – нач. XIX в., при этом отмечается степень их продуктивности, анализируется словообразовательный потенциал различных базисов; подчеркивается, что

исключительно важную роль в образовании абстрактных слов играют базисы прилагательных, которые содержат древнерусские суффиксы *-л-, -лив-, -н-*, а также базисы с формантами, возникшими в новое время: *-анн-/-янн-, -енн-, -тельн-*.

Большую ценность для исследователей исторической лексикологии и словообразования представляют полные списки словновообразований рассматриваемого периода, произведенных по той или иной словообразовательной модели. Богатый материал собран автором из многочисленных и различных по жанру и тематике источников XVIII – нач. XIX в., а также из словарей.

Несомненный интерес представляет собой приводимая автором сводная таблица, где сопоставляются словообразовательные варианты с точки зрения особенностей их словообразовательной структуры и семантики, указывается степень их продуктивности в древнерусском языке и в русском языке XVIII – нач. XIX века (с. 154–179).

В третьей главе рецензируемой книги ("Историко-словообразовательный анализ") описывается генезис новообразований XVIII – нач. XIX в., лексические группировки этих новообразований, исследуются формальные и семантические деривационные отношения, существовавшие между базисами, или производящими основами, и формантами. На основании структурного критерия и с учетом происхождения производящих слов выделяются следующие группы новообразований анализируемого периода: 1) производные от старославянизмов; 2) производные от древнерусских слов; 3) производные от заимствованных слов: а) грецизмов; б) латинизмов; в) полонизмов и слов западноевропейских языков. По поводу некоторых из производных, образованных от заимствованных слов, хотелось бы высказать несколько частных замечаний.

1) Слово *варварство* появилось в русском языке не в XVIII в., как это следует из материалов Г. Елитте (с. 65), а значительно раньше. Оно отмечено в тексте Ефремовской кормчей XII в.: "... до *нога варъварьство* же наречеса ..." (л. 249 а) [9].

2) Слово *фиглярство* "скоморошество, фокусничество", трактуемое Г. Елитте как производное на русской почве от заимствованного из польского *фигляр*, может быть рассмотрено не как дериват, а как польское заимствование, поскольку в польском языке XVIII – нач. XIX в. существовал его структурно-семантический прототип *figlarstwo* [10]. Безусловно, грань между русским словообразовательным дериватом и самостоятель-

ным заимствованием далеко не всегда ясна, когда это относится к разграничению процесса словообразования на польской почве (с последующим заимствованием в русский язык) и на почве русской (при оформлении полонизма на *-stwo* с помощью суффикса *-ство*) [11]. В таких условиях далеко не всегда возможны однозначные решения, что и необходимо, на наш взгляд, показать, характеризуя слова типа *фиглярство*.

Историко-словообразовательный анализ новообразований XVIII – нач. XIX в., по мнению Г. Елитте, будет поверхностным, если эти новообразования не будут рассмотрены с точки зрения функционально-стилистической. В этой связи автором анализируются новообразования, появившиеся в художественной литературе (например, в сочинениях Кантемира, Тредиаковского, Новикова и др.), в частной переписке, публицистике, в научных исследованиях, исторической литературе, словарях XVIII – на i. XIX в.; определяется их частотность в текстах различных жанров. Отмечаются те слова, которые в дальнейшем закрепились в составе узальной лексики русского языка. Среди новообразований выделены потенциальные, окказиональные и индивидуально-авторские слова.

Проанализированы и описаны Г. Елитте отношения синонимии и антонимии, возникающие у новообразований – *nomina abstracta* –, процессы развития у них полисемии, установлены причины употребительности словообразовательных вариантов и синонимов с суффиксами *-ость*, *-ство*, *-ствие*, префиксами *не-* и *без-* в различных языковых стилях в период XVIII – нач. XIX в.

В заключение отметим, что исследование, оsumщенное Г. Елитте, представляет собой фрагмент фундаментального оsumнения эволюции *nomina abstracta*, развития их словообразовательных связей на протяжении всей истории русского языка.

Благодаря многотомному труду Г. Елитте, частью которого является рецензируемая книга, историческая лексикология полу-

чила новые данные о процессах обогащения абстрактной лексики, о ее семантических и стилистических преобразованиях, а историческое словообразование – данные о развитии словообразовательных процессов и отношений, в которые были вовлечены *nomina abstracta*, о характере продуктивности тех словообразовательных типов и моделей, по которым они создавались.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Улуханов И С Мотивация и производность (о возможностях синхронно-диахронического оsumнения языка) // ВЯ. 1992. № 2.
2. Jelitte H Die abstrakten Nominalbildungen im Russischen Ein Beitrag zur altrussischen Wortbildung und Wortforschung // Beitrage zur Slavistik. Bd IV. Frankfurt-am-Main, 1982.
3. Jelitte H Die russischen Nomina abstracta des 18 und beginnenden 19. Jahrhunderts // Beitrage zur Slavistik. Bd VI Frankfurt-am-Main, 1984
4. Jelitte H Die russischen Nomina abstracta des 19. Jahrhunderts. // Beitrage zur Slavistik. Bd VIII. Frankfurt-am-Main, 1987.
5. Jelitte H Die russischen Nomina abstracta des 19. Jahrhunderts. Tl. 2: Der lexikalische Bestand der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts // Beitrage zur Slavistik. Bd IX. Frankfurt-am-Main, 1988
6. Jelitte H Die russischen Nomina abstracta des 20. Jahrhunderts. // Beitrage zur Slavistik. Bd XIII Frankfurt-am-Main, 1990.
7. Jelitte H Die russischen Nomina abstracta der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts. // Beitrage zur Slavistik. Bd XV. Frankfurt-am-Main, 1991.
8. Мальцева И М , Молотков А И , Петрова З М Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975 С 194.
9. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1. М., 1988. С. 372.
10. Linde S B Słownik języka polskiego. T 1 Warszawa. 1807. S. 638.
11. Биржакова Е Э , Войнова Л А , Кутина Л Л Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 97.

Е И Коряковцева

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

1–5 июня 1994 г. в Петрозаводске состоялась международная конференция "Язык и этнический менталитет", организованная кафедрой русского языка филологического факультета Петрозаводского университета.

В программу конференции было включено около 100 докладов, представленных учеными университетов, педагогических институтов, академических учреждений России, Украины, Белоруссии, Латвии, Польши и Германии. К сожалению, по разным причинам не все докладчики смогли приехать.

Конференцию кратким вступительным словом открыл председатель оргкомитета проф. З.К. Тарланов (Петрозаводск). Подчеркнув актуальность темы конференции, он обратил внимание на недостаточность и эпизодичность исследований, в которых последовательно и на разнообразном материале рассматривалась бы роль языка в созидании этнической культуры, в формировании того, что обычно квалифицируется как национальная (этническая) ментальность. Смысл подобного рода изысканий сводится не столько к тому, чтобы понять самобытность этнических языков и представляемых ими "картин мира" (хотя это само по себе весьма существенно), сколько к тому, чтобы уяснить механизмы, обеспечивающие взаимопонимание между народами в процессе обмена культурными ценностями и опытом жизни.

Участников конференции приветствовал ректор университета проф. В.Н. Васильев (Петрозаводск).

На конференции, проходившей почти в форме активного диалога между докладчиками и слушателями (нередко каждому из докладчиков приходилось отвечать более чем на десяток вопросов), было заслушано и обсуждено 22 доклада, построенные на материале разных языков. Однако чаще всего вопросы языковой обусловленности/необусловленности менталитета освещались на

материале данных русского языка, русской словесно-художественной и устнопоэтической культуры.

В докладе З.К. Тарланова "Этнический язык и этническое видение мира" на фоне краткого обзора основных этапов в истории освещения языковых фактов с позиций этнолингвистики прослеживались возможные пути и направления интерпретации разнородного морфологического и синтаксического материала ряда индоевропейских и восточнокавказских языков в аспекте соотносительности содержательных структур языка с составляющими этнической ментальности; развивалась мысль о том, что язык, складываясь как форма и орудие этнической культуры, постепенно, по мере утраты им внутренней формы, приобретает новые качества, все более нейтрализуясь в степени этничности и трансформируясь в обычное средство общения. С этой точки зрения выявлялись различия между такими разновидностями языка, как народные говоры, интраэтнические литературные языки, межэтнические и международные языки, метаязыки науки и т.д.

Оживленный интерес вызвали доклады В.В. Колесова (С.-Петербург) и Л.В. Савельевой (Петрозаводск), в которых содержался анализ категорий, представлений русской ментальности по данным языка памятников древнерусской письменности и в контексте этических норм православной культуры. Так, В.В. Колесов, рассматривая *честь* и *совесть* в русской ментальности как бинарную оппозицию, демонстрировал соотносительность ее с бинарной же оппозицией *герой: святой*. Принципиально аналогичны были результаты, полученные на ином материале Л.В. Савельевой, которая убедительно показала детерминированность этнических представлений о мире естественно складывавшимися семантическими структурами соответствующих слов. Зна-

чительное место в докладах занимало исследование роли и места православной книжности в формировании русского этнического менталитета в исторический период.

Многие доклады опирались на фольклорные материалы. Н.А. Кричинная (Петрозаводск) посвятила свой доклад рассмотрению элементов магии в семантических структурах языка, используемых в русском народном этикете. Структурные особенности русских народных сказок как отражение этноменталитета, формуляр белорусских народных проклятий и принципы организации текста в их соотносительности с белорусским народным характером, типология представления временных отношений в русской народной сказке – эти и другие вопросы нашли свое отражение в докладах Н.В. Лозовской (С.-Петербург), Е.И. Янович (Минск), Т.А. Будановой (С.-Петербург).

Ряд участников конференции представили интересные наблюдения над текстами профессионального характера, которые играли активную роль в формировании этнического менталитета. Имеются в виду результаты, полученные Л.В. Савельевой по раскодированию целостного текста, заключенного первоучителем славян Кириллом в азбучный именник глаголицы; доклады Г.В. Звездовой (Липецк), В.В. Семанкова (Петрозаводск), посвященные соответственно выявлению языческих и христианских элементов в русском народном месяцеслове и поэтике глагольной формы в старообрядческом стихе.

Проследивание исторических связей между этническим менталитетом, мотивами, символами и традициями художественной литературы было предметом рассмотрения в докладах Л.И. Мальчукова (Петрозаводск), представившего свои соображения о семантике национальных кодов в культуре на основе сопоставительного анализа произведений Федора Сологуба и Генриха Манна; Н.В. Патроевой (Петрозаводск), остановившейся на "сумеречных" мотивах в лирическом цикле Е.А. Баратынского, а также Е.О. Ковыршиной (Воронеж) и О.В. Рисиной (Воронеж). В последних двух докладах речь шла о национальной специфике фразеологической символики в глагольно-именных фразеосочетаниях русского и немецкого языков и поэтических трансформациях в русской лирике. Классические литературные тексты составляли и основу доклада Л.В. Стиж-

ко (Петрозаводск), содержавшего анализ значимости и коннотаций слова *черт* в русской и чешской национально-поэтических традициях.

Во многих докладах освещение основной проблемы конференции подкреплялось данными диалектов. Полностью диалектному материалу были посвящены доклады И.С. Просвирниной (Екатеринбург), предложившей свое видение русского топонимического типа, Л.П. Михайловой (Петрозаводск), которая *руку и ручные движения* в вербальном отражении русского этнического сознания интерпретировала в сопоставлении с данными прибалтийско-финских языков и в контексте межэтнических контактов.

С интересом были встречены доклады культурологического и социолингвистического плана. Т.В. Матвеева (Екатеринбург), характеризуя разговорный текст как источник культурологической информации, представила перечень текстовых свойств диалога, позволяющих рассматривать его как разновидность текста в обычном смысле слова со своими специфическими содержательными параметрами Н.Г. Пригоди (Минск) обрисовал общую картину национального самосознания белорусов, поставив в центр внимания белорусский язык как фактор национального возрождения. Отталкиваясь от языковой ситуации и культурно-языковой политики в Чеченской республике, М.М. Юсупов (Грозный) остановился на проблеме этно-социальной обусловленности языковых процессов, роли письменных традиций в истории культуры. М.И. Румянцев (Петрозаводск) и А.Г. Стихин (Петрозаводск) представили результаты своих наблюдений соответственно над степенью адаптации русских православных заимствований в американском варианте английского языка и некоторыми социолингвистическими процессами в США. Ш.В. Хайров (Петрозаводск) проанализировал высказывания некоторых деятелей литературы и культуры славянских народов в аспекте этнокультуры.

Конференция прошла активно и плодотворно. Подведены итоги ее работы. Решено в 1995 г. опубликовать отдельной книгой все доклады. Участники конференции выразили благодарность ее организаторам и ректорату Петрозаводского университета за внимание и ощутимую поддержку.

З.К. Тарланов (Петрозаводск)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражения типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. N 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – *Universals of human language*. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – *Universals of human language*. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

V.V. Vinogradov. The word and its meaning as objects of historical lexicography; Yu.D. Apresjan (Moscow). The image of man: an experiment in systemic description based on linguistic data; T.M. Nikolaeva (Moscow). The theory of functional grammar as a representation of linguistic reality; B.A. Uspenskij (Moscow). The history of the Russian literary language as an inter-Slavic field of research; V.M. Alpatov (Moscow). The literary language in Russia and Japan (an experiment in comparative analysis); I.G. Dobrodomov (Moscow). On the sources for contemporary Russian historical lexicology; **From the history of science:** Ya.G. Testelec (Moscow). I.Š. Kozinskij and the linguistic typology from the seventies to the nineties; V.P. Nedjalkov (St.-Petersburg), V.A. Alpatov (Moscow). I.Š. Kozinskij; I.Š. Kozinskij. Three notes on typology; **Reviews:** O.N. Seliverstova, B.P. Narumov (Moscow). *Sémantique générale*; K.G. Krasuxin (Moscow). A. Erhart *Das indoeuropäische Verbalsystem*; I.M. Boguslavskij (Moscow). Studies on the semantics of predicates denoting inner emotions; E.I. Korjakovceva (Moscow). *H. Jellite. Die russischen Nomina abstracta des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Scientific life.*

Технический редактор Н.С. Евсеева

Сдано в набор 25.10.94 Подписано к печати 8.12.94 Формат бумаги 70×100 1/16
Офсетная печать Усл.печ.л. 14,3 Усл.кр.-отт. 26,2 тыс. Уч.-изд.л. 17,6 Бум. л. 5,5
Тираж 1838 экз. Зак. 1900

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6